Новый Журнал

125

THE NEW REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U.S.C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review.

2. Date of Filing — [Sept. 30. 76.]

3. Frequency of issue — Quarterly.

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of toal amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc.—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Peter Muraviev, President. 316 Monroe Ave. Wyckoff, N.J. 07481 Zoya Yurieff, Secretary 46-04, 196th- Street Flushing, N.Y. 11358.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Actual number copies of single issue published nearest to filing date*
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	*1600*	*1600*
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	*100*	*115*
2. Mail Subscriptions	*1265*	*1265*
C. Total paid circulation	*1365*	*1380*
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	*30*	*20*
E. Total distribution (Sum of C and D)	*1395*	*1400*
F. Copies not distributed	*205*	*200*
1. Office use, left over, unaccountred, spoiled after printing		
2. Returns from news agents		
G. Total (Sum of E & F 1 and 2— should equal net press run shown in A)	*1600*	*1600*

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete. (Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121 Postal Service Manual).

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

Тридцать пятый год издания

Кн. 125 НЬЮ ЙОРК 1976

РЕДАКЦИЯ:
Г. Андреев (Хомяков), Р. Гуль (главный редактор), Л. Ржевский
Секретарь редакции: Зоя Юрьева

NEW REVIEW, December 1976
Quarterly No. 125
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price $20 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Дм. Кленовский — Стихи 5
Л. Ржевский — Конец Сергей Сергеича 6
А. Величковский — Стихи 44
В. Шаламов — Рауш-наркоз 45
Е. Таубер — Стихи 50
И. Б. Зингер — Друг Кафки 51
Л. Алексеева — Стихи 63
М. Крепс — Стихи 64
Ю. Мамлеев — Сказка 65
Ю. Иофе — Стихи 72
В. Вейдле — Мнимые вымыслы 74
Г. Раевский — Стихи 85
А. Франк — Бред 86
И. Чиннов — Стихи 93
Г. Андреев — Минометчики 95
Ю. Иваск — Стихи 113
С. Голлербах — Заметки художника 115
В. Перелешин — Стихи 125
В. Зубов — Сергей Параджанов 126
А. Волохонский — Стихи 134
Б. Нарциссов — Под знаком дифференциала 135
М. Добужинский — О рисунках Пушкина 145
Ю. Зорин — Балет "Паганини" 160
А. Хвостенко — Стихи 173

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Прот А. Киселев — Облик ген. А.А. Власова 174
Новое о "Тресте" — (публ. Г. Струве, коммент. С. Войцеховского) 194

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

А. Федосеев — Очень краткая, но достаточно исчерпывающая история Советского Союза 215
В. Варшавский — "Родословная большевизма" 234
И. Мацкевич — Дело не в средствах, а в принципе 251
Н. Ульянов — Роковые войны России 258

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

Р. Гуль — М. С. Цетлина 271
А. Раннит — Е. М. Мицкевич 273

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Письма в редакцию — В. Рудича и Н. Нефедова 275
А. Кузнецов — Вместо рецензии 278

БИБЛИОГРАФИЯ: *В. Зубов* — А. П. Федосеев. "Социализм и диктатура". *Ю. Иваск* — Георгий Иванов. Собрание стихотворений. *И. Одоевцева* — Б. Нарциссов. "Шахматы". *Ек. Филипс* — В. Скорняков. "Дверь с фокусами". Книги для отзыва 279

Printed in U.S.A., by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011

*

Не Вечный Город под подушкой
Для сна сегодня сберегу,
А маленькую деревушку
На генуезском берегу.

Туда взобраться мне придется
По руслу старого ручья
И неожиданно найдется
Все то, что там оставил я.

Головоломка коридоров,
Ступенек, арок приведет
Туда, где старая сеньора
Все ту же комнату сдает.

Где та же самая мадонна
С прозрачной бледностью лица
Теперь все так же умиленно
Глядит на нового жильца.

Откуда из оконной ниши
Совсем по прежнему видны
Обрывок неба, выступ крыши,
Сверканье вспененной волны.

И мнится: если бы оттуда
Я никогда не уезжал —
Причастником того же чуда
Неизменяемости стал.

Остался бы навеки юным,
Все ту же девушку любил
Перебирал все те же струны
И тех же голубей кормил.

Все сохранилось бы как было
И даже — кто подумать мог! —
Не потускнели бы чернила
Тогдашних, юношеских строк.

Дм. Кленовский, 1976

Copyright by The New Review, 1976.

КОНЕЦ СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧА

ВТОРОЙ ОПУС ПОЧТЕННОГО М. М. ДАБЛЯ, УЧИТЕЛЯ ЧИСТОПИСАНИЯ*

Вижу его, Сергей Сергеича, в воображении своем, как живого, рядом, рукой дотянуться! Вижу округлым, боевым, как перед взрывом лимонка — из трубки искры и шип, чубчик торчком... И другим: жизнь едва уже брезжит из-под опавших век, да уж и не жизнь это — дух один неугасаемый, без телесности; и полушопотом: "Запишете, М. М., дорогой, последние мои слова на земле?". Ну, значит, и о нем самом напишу ли? — так следовало понимать.

Сказать надо, что после моего для самого меня неожиданного "Симпозиума", который я чуть не под диктовку его сочинял, вообразил он меня литератором. Ложно, конечно, и я не считал бы это ни во что и за перо снова нипочем бы не взялся, если бы не этот его вопрос из полумертвых губ, вспомню — и нет мне покою... Сам я человек вполне немудрёный, в глубокие воды сетей своих не закидывал и вот завершаю теперь архивам одним ведомую древнюю ветвь одного родового древа, завершаю без подвигов и добра, но, хвала Господу, и без бесславия. Он же, Сергей Сергеич, был — весь блеск и надежды, буйным даром речи был одарен; помню, где-то писал о Константине Леонтьеве Розанов: "был в словах — весь, как Адам без одежды", — и как позабыть его просьбу, как слова его не продлить!..

И вот — собрался, пишу. Знаю, что беспомощно и никакой

*См. "Симпозиум", "Н. Ж." № 109.

не выйдет "постройки", как говаривал Достоевский, но словно бы снова с ним в беседе побуду, памятничек малый ему сложу...

А начну — как еще приготовишкой учили, с главного признака, который, главный, в нем был: наскок! петушиный наскок на всех и на вся, яростный, без оглядки — и скольким Додонам этим наскоком темечко он проклевал — числа нет!

Политику — крупнейшую у нас, эмигрантов, кость в горле — надо бы миновать, но как минуешь ее, когда о ней у меня его монологов, вчерне позаписанных, как говорят, завались! И которые темы особенно его распаляли — по специальности или о жизни "там" — как их обойдешь! С них и начну, озаглавив соответственно:

О "ТАМ"

На выдержку — один эпизод. Было незадолго уж до его болезни, а может, болезнь и начиналась уже, кто знает, только забежал он ко мне почти что в полночь и весь не в себе — полчаса отходил перед тем как рассказывать. Замечу, что в последнее время интересовался гостями и переселенцами с Большой Земли до чрезвычайности. Встречался, расспрашивал, спорил, хватался за голову, вопрошал сам себя и меня, как объяснить их иные слова, — велели им этакое говорить, или от доброхотного это у них самоискажения. На сей раз сцепился с кем-то из них позначительнее:

— Критик, говорит о себе, и писатель, хотя я ни строчки его никогда не читал. И весь, по обычаю ихнему, в суперлативах, как мухомор в сметане. "Удивительнейшие, говорит, в нашей советской прозе повествования о войне! Гениальнейшие!". — Гениальнейших — говорю ему — не встречал, но есть среди монбланов на эту тему написанного кое-что недурное. Объяснение этому, кстати сказать, для советской литературы нелестное.

— Как это? — спрашивает.

— Так. Есть в одном тургеневском романе персонаж, который утверждает, что высокое качество русского сырья обусловлено другими прескверными обстоятельствами; щетина, например, велика и жестка, потому что свиньи плохи; кожа толста оттого, что тощи коровы. Иные военные повести кажутся

удачей лишь на серейшем фоне, потому что единственно здесь доступна была авторам правда личных переживаний и дум, а в остальных темах искренность запрещена, поэтому выходит всё скудно талантом и лживо.

— Да что вы! — вскинулся он. — Наш метод дает богатейший выбор...

— Вот именно, говорю ему, выбор! Барыня прислала сто рублей; что хотите, то купите, черного и белого не покупайте, "да" и "нет" не говорите. То есть как раз ничего не дает, но отнимает! Ну, тут же ввернул ему елагинский катрен, который привожу всюду, потому что точен и выразителен:

Ах, для того социалистический
И существует реализм,
Чтобы никто не мог реалистически
Изображать социализм!

Неужели, говорю, вы вправду не понимаете, что запретительность — главная суть партийного "метода"? Или прикидываетесь? Возьмите-ка бумажку — продиктую вам дюжину тем, которые "табу" для советского писателя, — тем, без которых живая мысль невозможна, без которых мыслящий человек — кастрат духа, морлок, сосущий портянку. А теперь — давайте, соберите любых героев из советских романов. Стройте в шеренгу и начинайте опрос: кто из них хотя бы разок, хотя бы мельком высказался, к примеру, о том, что Высшее Существо, может быть, все-таки существует и властвует в обезбоженном воинствующими материалистами мире? Кто позволил себе предположить, что колеса истории вовсе необязательно катятся в коммунизм? что "непогрешимое учение" — вздор и обман, и гекатомбы трупов принесены в жертву ничему, то есть суть неслыханное злодейство и преступление?.. Ну, ладно, в годы сталинских зверств авторы надевали на своих героев наглазники, дрожа за жизнь. А теперь, в наши дни?.. Кто возмутился хотя б вполголоса подлым отторжением страны от свободного мира? полицейским сыском? ложью убогих газет? пошлостью будней под окликом партийных помпадуров, тыкающих своих подначальных, как не тыкал никто из привилегированных до великой исторической катастрофы? Куда там! Протест и не ночевал в душах ваших героев, холуйских образцов для холуй-

ского подражания. Духовный их потолок, какими их вывели авторы, — потолок лилипутов; для мыслей и высказываний отпущены им "воки-токи" радиусом из цеха в цех и до ближайшего партийного секретаря. Они по существу полукретины, эти герои, если рассмотреть беспристрастно, и это клевета авторов на них и на наш народ. Он умней!

— Это вы, — кричит, — вы клевещете на нашу литературу. Я литературовед, я...

— Вот именно, говорю, литературовед! То есть как раз ваша братия и называет "творческим методом" партийную дыбу, запрет себя выразить, политику кнута и пряника, строчит об этом статьи и целые монографии. Фридрих Великий говаривал, что блядь и профессора можно всегда купить. Вот не предвидел, как дешево будет продаваться совесть иных литературоведов и писателей.

— Я кандидат наук. Я вам докажу!..

— Тем хуже, говорю ему, что кандидат, ибо гуманитарные науки на вашей земле подневольны, дышат по партийной указке. А настоящий учёный ни под чью дудку плясать не станет. Что за честь быть кандидатом пресмыкающихся наук!

Чуть он меня не зарезал...

*

Запальчивость в наскоках его была непомерная, но — утробная, не на показ, — потому, хоть, бывало, и отрицаешь ее при споре, внутри самого себя ей как-то верится.

Тем не менее, замечаю ему: "Вердикт ваш советским авторам суров, но как насчет смягчающих обстоятельств? Полвека пришибеевщины разве не сломили волю к творческому сопротивлению? Да что там!.. прямо спрошу: останься вы дома, не сочиняли бы и сами литературные книксены?"

— Может быть, говорит, может быть... Но книксен книксену рознь, книксены — это еще не ползанье на четвереньках. А там именно — на четвереньках, до совершенного самостушевания. Я имею в виду таланты. "Зависть" Олеши, к примеру, — это ведь подлинное харакири автобиографического героя в угоду

партийным сосискам! Достоевский говорит где-то, что природа человеческая не выносит богохульства и рано или поздно сама себе непременно отомстит за него. Проституция творческого слова — то же богохульство. Предсмертный облик Олеши вызывает жалость и отталкивание. Но, разумеется, харакири благороднее смердяковщины, ее же непревзойденный шедевр — шолоховская "Судьба человека". И что поразительно: этот литературный силос получил необыкновенное распространение и на Западе — переведен, адаптирован, и в университетах русопятые учителки рассюсюкивают его студентам. Герой там, вы помните, вполне лубочный, кустарной, как складная матрешка, выделки и вполне партийного образца, над чем увенчанный лаврами смердяков потрудился особенно. Героя этого, например, запирают вместе с другими военнопленными в церкви. И оказывается среди них один верующий, которому ночью приспичило по нужде, но который страшится осквернить место, плачет, просит выпустить, и немцы убивают его. И что, думаете вы, по уверению автора, делают его товарищи? А? — Смеются! Да, так и рассказывается: "Развеселил он нас всех"... Любопытен я знать, растолковывают ли учителки своим студентам природу этого смердяковского веселья... Дальше — больше: в ту же ночь герой собственноручно душит одного из товарищей-русаков, который собирается выдать немцам взводного-коммуниста. Я сам был в плену и знаю, что немцы партийцев вовсе необязательно уничтожали, во власовских частях было их, как известно, немало, но смердякову-лауреату необходимо придать своему герою еще и чекистскую добродетель, для коей, конечно, убийство — наиболее устойчивая примета. Подконец душителю присваиваются и притягательные черты — жертвенность, сострадание — без сопливости русская прописная душа убедительно не получается... Бондарчук в фильме смердяковщину одухотворил, но — неужели судьба этого недочеловека в самом деле типична? Или — всё-таки?..

*

Вместе с этим вопросом перекидываюсь я в один поздний август, в отчасти необычную для записок моих декорацию. Была у С.С. дачка, часа полтора езды, куда он неоднократно меня

угрожал спроворить, а я всё отнекивался, но вот в ранний один листопад все же попал. Расположение, надо сказать, редкостное, бойкая речка с рыжеватой водой по камням — и вдруг дает кругаля, а на самой луке — избушка, коя есть главный сюрприз: настоящая русская, из бревен в лапу, коломенской, либо чуть к северу, рубки; и узорчатости: конек и очелье, сиречь наличники, особенно их верхний убор — все в резьбе, по фронту пропильной, с зеленой исподу фольгой; подле — голо, но дальше вокруг и на том берегу — лес стеной: клены, сосны, березы до самого неба, и от них желтый в воздухе и по дранке летучий лист. "Ну, — говорю ему, — вот где память России!", а он морщится: "Я, говорит, это а ля рюсс не искал и не выдумывал. Готовым случайно купил у какого-то в третьем уже поколении славянина, а тот заказал по картинке".

Наловили мы с ним на мух карандашиков, а когда, попоздней, начал жечь нас комар, пошли в хату уху варить — внутри горница с кирпичной плитой и два спальных закута. Под вечер, за ухой, поглядеть из окошка — стволы понизу заливает сизь, а повыше на них пунцовые кляксы заката, и всё рушится в плёс, переливается и рябит. Ну, в точности — сидишь где-нибудь под Можайском, у верхней Москва-реки....

Говорю ему об этом — морщится снова. На этом клавише постоянный разыгрывается у нас спор.

По мне эмиграция — рок, несчастье, и будь безопасно и обеспеченней — обнял бы я непременно последним объятием родное свое Подмосковье. Что тут говорить!..

— Куда, куда вы спрячете память? — взрывается вдруг С. С. — О тех, кого хотели бы встретить, но которых не встретите, потому что тем или иным манером отправили их в небытие? Знаете ли вы, что, например, мой мартиролог двадцать семь содержит имен! Да, двадцать семь скорбных душ, родных мне по крови и духу, замученных или убиенных в пору разгула заплечных дел мастеров. Значит, не сам-одинешенек, не сам-друг, не сам-пят, но сам-двадцать восемь ворочусь я на родину. Что скажу я им, моим двадцати семи?.. Эти новые там теперь, молодые — они воочию зверств не видали, ужасов в памяти не таят, да и отшибают им эту память заранее. Они, к примеру, искренне и со слезой читают псевдогероический брёх о ленин-

градской блокаде и будто кремлевский злодей проливал по поводу жертв крокодиловы слезы, и им невдомек, что эти жертвы — тоже его, этого злодея, великое преступление, что не разори он страну колхозами, — было бы что и как с неба бросать голодающим. Но познать это им не дано, и они не различают кровь на волосатых лапах, поглаживающих их по головкам, а я ее, кровь эту, вижу. Отмстить мне ее нечем, но мои двадцать семь повернутся в гробах, если я эту лапу приму для пожатия...

— Гробы их, — возражаю ему, — не здесь, но в своей земле, среди своего народа.

— Ах, хоть бы вы не произносили этого слова: народ! Какая бесконечно пустая пропись!

— Почему это?

— Почему? — переспросил он и, трубку свою сосанув, перешел вдруг на шепот (я замечал: когда самые заветные выдавал свои ереси, то всегда — шепотом, словно полным голосом сам себя совестился расслышать). Так и теперь:

— Потому что это самый ничтожный, самый подлый народ изо всех цивилизованных! Разгул сталинизма так только и объясним. Сталинизм и был прежде всего апелляцией к подлости и потому в России одной мог с такой пышностью осуществиться.

Снова — за трубку, и таких над столом полотнищ напустил, что не продохнуть. Потом — я ему:

— Народ, давший миру Толстого и Достоевского, — ничтожный народ? Бога вы не боитесь!

— Сливки бывают и на недоброкачественном молоке, притом и не своего национального настоя. У великих русских почти всегда капля нерусской крови — литовской, немецкой, французской, еврейской... Ломоносовы редки!

— Мудрейшие душеведы разглядели духовное богатство нашего народа, а вот Сергей Сергеич одним махом сводит его нанет.

— Так ведь это такая мода была — народ сусалить! От жалостливости, укоров совести и французских идей. И мужик Марей, и дядя Том в сладкой хижине Бичер Стоу — чистые пряники, а вы обратитесь-ка к их потомкам! Слушайте: не

примиримся ли с вами, если я скажу, что столетний, а то и давней, к расколу, народный облик был, может, и в самом деле привлекательнее. А за века рос и перескладывался, как какое-нибудь златокудрое дитятко выкатывает вдруг в низколобого, с опухшими зенками золотородца-погромщика. Не забудьте октябрьских компрачикосов, которые положили воспитать младенца по своим габаритам. В пряничном нашем отношении к народу мы его душу прозевали. А компрачикосы — нет, эти выпестовали в ней черты, раскрытые Достоевским в четвертом карамазовском, то есть смердяковском, воплощении...

Дальше, помнится, я уж и спорить не мог — стало от табачного дыму чудить сердце; потянулся за своими таблетками — он увидел, схватил полотенце, начал в окно дым выгонять.

Легли спать по закутам — никак не засну: шебаршит шустрая речонка по камням, сон перешибает. Спасибо, нашлась у него в аптеке мастика — затыкать уши.

*

И еще — эпизод, вскоре после избушки, уже у меня.

Кто-то прислал мне сборничек "Песни Второй отечественной войны", и под гуд охладителя — необычайно жаркое было бабье лето — я вписал туда еще одну песню об отечественной же войне, но — Первой, сочиненную, вероятно, лет полтораста назад. Слыхал я ее еще в детстве от древнего старичка, который, хоть и не мог по годам участвовать в кампании, но была она еще недавней для него былью. После песни этой нигде не слыхал и кто автор, не знаю.

Годах же в пятидесятых, еще в Европе, встретил я московского своего приятеля, певчего, тоже выметенного судьбой в эмиграцию, намурлыкал ему мелодию и в его исполнении записал эту песню на ленту.

И вот, только вставил я в сборничек напечатанный на машинке листок — звонит в дверь Сергей Сергеич. Глянул на сборник и, по всегдашней своей манере, — бурк что-то насмешливое, — как костер поджег: когда зудит в ушах охладитель, всегда мне не по себе. А тут — вдвойне стало!

— Послушайте, — говорю ему, — у вас свои счеты с

прошлым и родиной, но патриотизм других — разве он тоже заслуживает насмешки?

— "Патриотизм требует рассуждения, и потому не все люди имеют его", — писал еще Карамзин. "Рассуждения" — сиречь рассудка. Разумный, критический патриотизм мне вовсе не чужд. Но не ностальгические березки, о которых, как вы, верно, помните, четверть тысячелетия назад писал еще Тредиаковский: "Начну на флейте / Стихи печальны/ Зря на Россию/ Сквозь страны дальни". И тутошний патриотизм бывших дворцовых полотеров и жертвенных устроительниц блинов и буфетов, — нет, от него увольте!

— А по-моему, патриотизм — это не цитаты, а то, что у нас в жилах, как кровяные тельца — чувство принадлежности не какому-нибудь, а единственному в мире своему небу, земле, по которой еще в утробе своей носила тебя мать и на которой говорят родным тебе языком... Услышишь хотя б и слабый голос оттуда — и сердце отбивает чечётку...

Не помню, долго ли, коротко ли мы с ним пререкались, но чем кончилось — осталось у меня в памяти, потому что было вполне неожиданно. Почему-то, по какому-то наитию, предложил я ему прослушать песню, от которой зачался спор, в певческом исполнении, помянутом выше.

Исполнение же, скажу вам, было несравненное: голос щедрый, густой, как сыта медовая, душевный — с холодком слушать совсем невозможно. Начиналось с решения героя идти защищать родную страну:

Тоска мне душу каменила,
Всяк в бой за родину спешил.
"Останься!" — мать меня молила,
Но я пошел.
Я русским был!

Рефреном этим: "Я русским был!" кончался каждый куплет. Дальше шло — про Ульмское сраженье, в котором доброволец потерял ногу, и — как дотащился он до родных мест и нашел лишь материнскую могилу: "Ее под липой схоронили / И плющ могильный крест обвил"... Мне послышалось на этих словах движенье в стороне, где сидел С.С., но не видел, какое — прикрывши глаза слушал этот за душу бравший голос, был он

мне — из давнего близкого и будто про меня самого. Особенно последние строки:

Я стар, я слаб, я плохо вижу,
Отвык от бранных я пиров.
Но всё, как прежде, ненавижу
Всех родины моей врагов.

Пусть сабля не по мне стальная,
Пускай ружья носить нет сил,
Но, те же чувства сохраняя,
Таким умру, каким я был.
Я русским был!..

А когда кончилась лента и взглянул я на С.С. — глазницы у него были мокрые. Тут же отворотился он и пошел в кухню курить. "Я сейчас постоянно на грани слезы, — сказал, задержавшись, с порога. — Как Горький. Нервы! Стишок какой-нибудь памятный, шарманочная мелодия — и заплачу... Не обращайте внимания!".

О "ТУТ"

Наскок у Сергей Сергеича был всеобъятный, в любую сторону. Эмиграция, как я отчасти в "Симпозиуме" уже рассказал, — мишень номер первый; здесь нашим с ним прениям не видно было конца. "Вы же, дорогой, говорю ему, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сами себя сечете; вас-то самого от эмиграции — как отключить?"

— Эмиграции, отвечает, нет. Та эмиграция, которая заслуживала так называться, кончилась. Теперь у нас здесь — обывательское нацменшинство, втиснутое в толкучку быта и доллара, евнухи духа, расщепленные вдобавок на кланы склоками и взаимной враждой. Постойте, не вскидывайтесь! Знаете ли вы, что они ничего, так-таки ничегошеньки не читают; выйдет чудом хорошая книжка — продастся едва десятка три экземпляров, а журналы подыхают без подписчиков. И, Боже, какие вкусы! Колхозная самодеятельность богаче и приличнее иных здешних излюбленных зрелищ. Самозванцы русской культуры, они выдувают из ее прошлого мыльные пузыри, бьют в ладоши и тискают сами на себя кукушечьи рецензии. Нет,

эмиграция — fuit! Где-то у Окуджавы: "Плачет старушка — мало пожила. А шарик вернулся"... Нет, не вернется, конечно, — лопнул!..

— Бойкий и колючий, говорю ему, вам отпущен язык, да неправедный. Верно: много у нас дорогих покойников, но ведь не всё же прах-тлен, есть поэты, ученые — светлые головы, милые люди. Да и обывателя, как вы его называете, неужто за то упрекнуть, что он после колючей проволоки счастлив своей здешней жизнью. Согласитесь: несправедливо!

— Соглашаюсь, говорит, только насчет своего языка. Еще отец мой покойный любил повторять: "Эх, Сергей, родись ты заикой — большая бы была у тебя судьба". А бывшего запроволочного, ваше снисходительство, жалеете совершенно напрасно. Он нас с вами, "очкариков", как тогда, так и теперь, презирает одинаково. Недавно после одной моей лекции насчет литературы 30-х годов встает в зале один, мрачный, как туча, и вместо вопроса: "А все-таки, — заявляет, — вы тогда в столицах с кафедры разорялись, а мы на лесосеках вкалывали". А от самого за версту несет уголовщиной... Тоже насчет здешних ученых: есть, конечно, одна-две личности, и труды, но больше — "Волга впадает в Каспийское море", энциклопедические в статьях клистиры и менторский перст. Смыслит перст в том, о чем пишет, не щедро, а если и смыслит, так в таком смысле, что лучше, если б не смыслил совсем; самовлюбленность же — чисто Фомы Опискина... А то и вовсе бывает липа, — вот из литературной области, если хотите, пример. Представьте себе, что какой-нибудь стиховед взялся бы разбирать настроения Пушкина на разных этапах творчества и, одурев от ученой натуги, привел бы для иллюстрации примеры из одного и того же стихотворения. Взял бы, скажем, пушкинский "Зимний вечер" и написал бы так: "Если молодой Пушкин в Михайловском с такой созерцательной грустью описывает свое окружение: "Наша ветхая лачужка И печальна и темна" и его обращение к няне так лирически кротко: "Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?", — то в поздние годы невзгод и предчувствия гибели он ищет забвения в алкоголе, и его слова к няне звучат теперь трагически и надрывно: "Выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей!". Что бы вы сказали о таком исследователе?

Разве не ясно, что заниматься литературой ему противопоказано? А у нас сочинят этакое за милую душу и с тем лезут в учёность, у жучки заняв глаза. Как-нибудь покажу вам... Литературоведение тут вообще из рук вон, а иные из новичков, из русских митрофанушек заграницей, с таким пишут прононсом, что от самых великих имен начинает припахивать падалью...

*

По поводу прибывающих с Большой земли:

— Диссиденты, говорите вы? Тут разногласий не может быть — честь им и слава! Они смывают с нас стыд покорности, они — последки славной нашей интеллигенции, добиваемые травлей и высылкой. Но встречал много и не протестантов — "здесьсидентов", по слову одной остроумной личности; "здесь" у них самоцельно и не продлевается ни в какую идеологию. Нравится мне у иных московское — в развалочку — аканье и молодой задор, правда, кое-у кого и развязный. "Я, мол, гений, только покуда никто меня не открыл", — говорит этот кто-то, чаще всего из поэтов, и — пошел пришивать стих к рифме, как штаны к пуговице. Я читал кое-что — слова в строке кувырком, капустное сечево, сказать же совершенно нечего. Скрывая это "нечего", объявляет себя новатором в духе крученыхов начала века, о которых впрочем, по всей вероятности, не слыхал. "Оставьте, твердит, мне право на гениальный эксперимент!". "Гениального эксперимента, говорю ему, не существует, гениальным бывает только законченное свершение". В строфах отказывается от знаков препинания, хотя, спрашивается, что это ему прибавляет? Если стриптизка освобождается от одеяний, зритель приобретает остроту зрелища, а что приобретает стишок, освобождаясь от запятых?

— К поэзии, по-моему, вы вообще равнодушны?

— Да, потому что ее больше нет. Как бы вы посмотрели на человека, ходящего в гости к знакомому, которого уж давно похоронили? Поэзия умерла. То есть живет в бессмертных, как принято выражаться, творениях прошлого, но ее нет в живых в писаниях современных стихотворцев. Исключения редки. Писать

о звучащих тайнах, душевной расщепленности после "Девушка пела в церковном хоре" или пастернаковского "Гамлета" немыслимо, тут возможно лишь подражание. Но почему, например, в спорте мы руководствуемся высшими достижениями и после того, скажем, как поставлен рекорд прыжков в длину, все недобирающие его решительно никому не интересны... Напиши, сказал бы я поэту, такое прощанье с любимой, которое было бы сильнее пушкинского "Для берегов"... А если не можешь — а ты конечно не можешь, — то с этой темой не суйся! Нет, современное стихотворство — почти сплошь беспомощные ощупи, занимательные разве что для самих авторов; мы пишем на них кукушечьи похвалы, но все это по существу решительно ни к чему, нечто вроде ритуальных танцев над гробницами великих покойников.

— Пастернаковский "Гамлет" тоже сложился на тысячах ощупей. Кто-то, не помню, говорил, что у людей, даже и не верующих, есть внутренняя потребность молитвы, и они выражают эту потребность в стихах. Поэтому — будьте милостивы! Кстати, нашему славному старцу Р. вы всегда прощали его эпигонство из человеколюбия.

— Кончено! Отворачивается от меня при встрече. Написал на него эпиграмму и прочитал одному, а тот точас же и перенес — у нас ведь переносить любят до смерти.

— Что за эпиграмма?

— Вот:

Совсем тебе, брат, не к чести
Стихи под Тютчева плести!
Совет полезный подскажу ль:
Держись-ка графика пилюль
Для очищения мочи.
"Питайся ими — и молчи!"

— Грубовато, Сергей Сергеич!

— Может быть, может быть...

*

Был у нас с С. С. общий друг — отец Анатолий из ...ской церкви. По воскресеньям, если ноги несли, ездил я к нему на богослужения. А ввечеру иногда навещал он меня. Ну, конечно,

приходил и С. С. Он, хоть и не из безбожников, но церкви чурался, оступался слегка в пантеизм и вообще в вопросах веры полон был ересей. Кое-что из мыслей его и наших споров хочу здесь привести. Например:

— Понятия Бога нет, есть *чувство* Бога; поэтому богословия как науки, для меня по крайней мере, не существует. Бог непознаваем (познанный, вероятно, тотчас бы и перестал быть Богом), и не жалкому двуногому познать его! С досады на свое бессилие двуногий заполняет пустоту непознанности выдумками в свою пользу — будто бы он, двуногий, есть соль земли и чуть ли не божественен, будто бы Бог создал его по своему образу и подобию, хотя Бог — совершенная и непостижимая Гармония — не может быть похож на то чудовищно негармоническое и порочное, что представляет собой человек. Существо наглое и самовлюбленное, человек выдумывает для себя и загробную жизнь, словно бы и бессмертие! Я лично отрицаю эту выдумку не потому, что мои убогие знания реальности и ирреального мешают мне представить себе воскресение мертвых из бесследно исчезнувших прахов и памяти их на земле. Нет, я готов верить, что, скажем, излучение духа так же реально, как радио- или телеволны рядом с тобою в комнате, и так же, стало быть, материально, поскольку никакая энергия не пропадает; но я не верю, что, скажем, публицист М. после смерти может жить в творческих вибрациях, которые он потратил на полтыщи своих статей, потому что эти вибрации никогда никакой цены не имели и никому не были нужны, значит не могут и "духоматериализоваться". А у миллиардов других умерших не было и этих малых вибраций, жизнь их была абсолютно нища, и из чего бы могло сложиться их "воскресение"? Чем оно естественней, чем воскресение всех замученных вивисекторами морских свинок?

— Вот, говорю ему, вы какой еретик?

— Да, еретик, если защищать Бога от корыстного искажения — ересь. По-моему, создав человека наряду с другими непостижимыми свершениями Бог, вероятно с грехопадения в Эдеме, махнул на него рукой как на свою неудачу и теперь интересуется судьбой человечества не больше, чем судьбой подопытных кроликов. А то, может быть... — здесь С.С.,

отложив трубку, перешел на шепот, — может быть, Бог даже настроился противучеловечески и нас, сотворенных им, теперь наказует... В общем, — закончил он уже полным голосом, — наше толкование отношения человека с Небом лилипутно и возмутительно; наша система эксплоатации Бога оправдана, может быть, в смысле утилитарной этики, но в смысле познавательном она — нуль.

— Система эксплоатации Бога — это что же: церковь?

— Приблизительно.

— Отрицаете?

— Как камень вместо хлеба. И — за отсутствие самокритики. Вот отец Анатолий, как вы знаете, трудится сейчас над историей русской церкви. Уверен, что всё порочное, ошибочное замолчит. А разве не растворялась она, наша церковь, в пустой внешности, мелкословной обрядности, нетерпимости и суете, за которыми евангельская глубина так до паствы и не доходила. Помню, например, нянька моя так учила меня, пятилетнего, петь пасхальный канон: "Христос воскресе из мертвых; смерть и усмерть поправь; Исусе во гробех живот даровах". Что, спрашивал я ее, значит "усмерть"? Не могла сказать. А была не из самых темных. И не потому ли, когда отменил Октябрь обряды и колокола, другой религиозной сути у верующих не оказалось? Не потому ли и протеста не раздалось, когда скидывали с куполов кресты, когда взорвали самый большой в стране храм, памятник национальной победы?.. Нет, мои представления о вере — с церковью, таинствами ее и обрядами не в ладу. Конечно, для слабых, которые считают ее пастырей, так сказать, офицерами связи между собой и Небом, исповедь, например или причастие умилительны, но... Вот недавно совершенно фуксом попал на свадьбу. Двое переживших уже третью молодость жизнелюбцев и блудников решили пощекотать поздние свои дни венцом. Детей у них, по возрасту, быть уже не могло, опыт супружеского счастья — в прошлом... "Батюшка, — говорю отцу Анатолию на другой день. — Как можете вы приглашать Господа на такое позорище. Он, конечно, всеблаг, но ведь не всеяден же! Неужели вы действительно верите, что к этому дрянному действу Он хоть мало-мальски мог быть причастен?". Старик милейший и умница откликнулся

конечно вполусерьёз: "За горячность, говорит, только не отлучаю вас от церкви, но страницы такие-то и такие-то непременно прочтите в помощь своему неверию". "Не прочту, говорю, потому что Бог для меня чувство, а не книжное понятие, и страницы ваши мне ни к чему". Ну, вот, высказался! Audiatur et altera pars! — "Ваше слово, товарищ маузер!" — в переводе на русский. Что скажете?

"Дерзок ты, ох, и дерзок!" — подумал я про себя. "Смирись, гордый человек!". Но возразить ему мне все же хотелось.

— А вы не сознаете, — спрашиваю его, — что сами себе противоборствуете в таком своем утверждении?

— Это ж как?

— А так. Бог, говорите вы, для вас чувство, а не понятие, и посему отвергаете богословие и церковный устав. Но Бог есть чувство и для меня, и у меня это чувство воплощается в зримом облике Церкви, ее истории, ее соборности, ее служителях и обрядах. Вы же в вашем отвергании вовсе не чувством руководитесь, но умствованием, то есть, выходит, богословием же, только со знаком минус, наоборот.

— Гм!.. — сказал он.

*

Увидавши у меня на столе Евангелие с закладкой на Откровении св. Иоанна Богослова: — Не толкуете ли? — спрашивает. — Для меня апокалипсис — слишком мрачно. Кроме повторенного дважды: "...И отрет Бог всякую слезу с очей их", где особенно это "всякую слезу" умилительно. Впрочем апокалиптическое нечто можно усмотреть в одержимости иных особей злом. Знаете: принято противопоставлять так называемого "прометеевского" человека — "иоанническому" в смысле бурной инициативы у первого и жажды действовать. Но жажда деятельности двояка по природе; многие прометеевцы дара созидания лишены начисто, иначе сказать — безнадежно бездарны. Эти, стремясь обрести поле действия, где могли бы утвердить себя, кидаются в разрушение. "Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust", — утверждал, говорят, Бакунин. Но я сейчас — не о партийного типа разрушителях, но о бездарностях повсеместных, которые, карьеры ради, объявляют себя

реформаторами и либералами. Кажется, у Розанова где-то читал: "Ни ум, ни талант, ни богатое сердце не давало того, что всякий тупица имел в жизни, в печати, если во лбу его светилась медная бляха с надписью: "Я либерал". Злой тупица — особенно...

— В апокалипсисе, говорю ему, — вы не смыслите. И, как о многом другом, по обычаю своему, высказываетесь, так сказать, с налету и мимо.

— С налету, — соглашается, — с налету! Но разве так уж всегда — мимо? Вот недавно с пастырем одним вышел спор. "Никогда, заявляет, в дореволюционные времена церковь из-за мирской власти ни строчкой святой не поступалась". А у меня в Евангелии моем, ему больше ста лет, к посланию апостола Павла к филиппийцам, главка 2-ая, есть вставочка, один из предков моих собственноручно вписал: "Вы сняли с себя обветшалые одежды, духовным помазались миром (через ижицу), стали свободными. Пусть же никто не возвращается к прежнему рабству: ваши дела — борьба и подвиг!". Были эти слова, спрашиваю его, крамольности ради опущены? — "Посмотрю", говорит, и до сих пор ничего не ответил...

— Ох и задираетесь вы, Сергеич! — пенял я ему не раз, — ох и задираетесь! Этакую тягу отрицания на себя взвалили. И критики. А сами не такой уж и геркулес. Выдюжите ли?

— Как-нибудь! — говорит.

"О ТОМ И О СИОМ"

Кроме наших с Сергей Сергеичем бесед, привожу я (тоже на выдержку и где мог разобрать: почерк был у него злодейский) кое-что из записных его книжек. Заметки эти, конечно, вовсе не почитаю мудростию, скорей — спорностями, но без них облика С. С. не передашь. Название главки: "О том и о сиом" тоже взял у него — он любил старую письменность. На одной страничке "К эмигрантскому самолюбованию" сделал, вроде эпиграфа, выписку из Даниила Заточника: "Жене безобразной не стоит смотреться в зеркало, дабы не впадать в еще большую печаль, видя безобразие лица своего". Или еще так: "Демократия есть решение вопросов большинством дураков", "оных же не сеют, не жнут, но сами родятся".

Среди записей нашел я две-три поцельнее, вроде рассказа, с чего и начну.

КАК Я МОНАСТЫРЬ ГРАБИЛ

Году в двадцатом жили мы с матерью в Истре, иначе Воскресенске, иначе — Новом Иерусалиме, подле самой почти монастырской стены с растреллиевой за нею ротондой. Время было голодное, мать моя ведала местным домом подростков, поэтому разных важных гостей из Москвы направляли к нам харчиться. И так вот уселся однажды за наш обеденный стол средних лет в полувоенном мужчина с сонным лицом и собакой, черной в подпалинах, доберман-пинчером. Вначале только жевал и глотал, без единого слова, но потом вытащил из кармана с чем-то манерку, стал проглоченное запивать и вскорости оживился. Оживившись, сказал нам, что приехал из какого-то самого высокого центра расследовать ограбление, которое произвел кто-то в монастырской опечатанной сокровищнице. А собака его — сыщик первейшей марки, дочь знаменитой Стрелки, — от нее ни один мошенник не улизнет... Опорожнив манерку, уже вставая, вдруг обернулся ко мне: "Хотишь, — спросил, — пойдем со мной в монастырь на обсмотр?". Было мне тогда лет четырнадцать, держался я по-солидному, но от этой сыскной авантюры глаза у меня разгорелись — без слов схватился за шапку.

Склад сокровищ помещался в сводчатом подземельи, и когда вошли туда, сломав свежего сургуча печатку на кованной медью двери, — со скирды паникадил, крестов, дароносиц и прочей церковной как попало сваленной утвари такое потекло на нас золотое бурленье, что саму Шехерезаду, верно, ошеломило бы...

Говорили, будто богаче этого Никоном основанного монастыря была на Руси одна только Троице-Сергиевская лавра, — щедрые жертвователи и завещатели задарили его совсем. Замысел создать храм наподобие Иерусалимского осуществлен не был, но сад вокруг белых стен звался Гефсиманским, повторяя многие примечательности подлинного; камень моления о чаше на бугре особенно мне запомнился. Бегал я там еще

мальчишкой, робея монахов, черных, жердистых, плывучей иноходью бродивших по аллеям со сложенными подложечкой кистями рук. Входил с богомольцами и в скит, где грузный патриарх когда-то с трудом великим протискивался по кирпичным виткам ужайших лестниц и только сложившись мог уместиться на каменном ложе, над которым начертал Лермонтов:

Оставленная пустынь предо мной
Белеется вечернею порой...

И дальше — о том, как входит в грудь созерцателя нечто —

...чему нет слов,
Что выше теплого участья,
Святей любви, спокойней счастья...

Увы! всё в ските — и лестницы, и келья, и само патриаршье ложе были загажены в самом зловонном смысле этого слова сорвавшимся с цепи кощунством. Но — возвращаюсь к рассказу.

— Гляди: засекла! — толкнул меня локтем хозяин ищейки, и когда она, подбежав, совсем человечьим выражением глаз спросила, что делать дальше, — "Лазы, лазы!" — крикнул он ей (или что-то в этом роде, не помню) и объяснил, что это значило найти и показать весь маршрут грабителя, от истоков. Истоки оказались в соседнем подсводье, где в двери был обнаружен пробой. Там же, до верха навалом грудились иконы, кубометры икон — лак и тлен дерева, бархат и прелая кожа вперемежку с серебром и золотом риз.

— А ну... — кивнул мне на них собачий начальник, — возьми себе на память пяток. Чего мнешься? Завтра будет сюда комитет с Троцкой, отделят, что поценнее, а прочее — всё на растопку, понятно? Выбирай, сколько унесешь, покуда закуриваю!

Свернул он самокрутку, как говорится, в два счета, но если б и дольше крутил, не было у меня для выбора ни духу, ни толка. Едва что перебрав, взял я медный впрозелень триптих (оказался: Никола Зарайский с житием, 16-ого, не то 17 века), маленькую, без ризы иконку Богоматери "Взыскание погибших", пленившую меня светским складом письма, и еще три иконы, не вспомню теперь, каких. Всё едва умещалось подмышкой.

— А как грабитель? — спросил я его на обратном пути.

— Наш будет! Больше суток ему не гулять...

Наутро дожидался его я к обеду от нетерпения сам не свой.

Он и явился, чуть запоздав, с собакой и красным в руке узелком, как я потом разглядел — из церковного шитого узорочья. Опять молчал до подпития, а кончив — поднял узелок с полу и, брякнув на стол, развязал, — был там золотой лом с самоцветами, образки-медальоны, усыпанные алмазной крошкой, бриллиантики, выломанные с оправой и без, и несколько пригоршней разного калибра жемчужин. "Стамеской выковыривал земчуг, сучий сын!" — сказал песий начальник.

— Как же вы его?..

— Очень просто. Уперся было сперва, но посулил ему амнистию — раскололся, всё выдал!

— Значит, помилуют его?

— Шлепнут, чего там!..

. . . . . .

Образ "Взыскание погибших" оставил я у себя, и вполне чудесным зигзагом оказался он после войны снова со мной. А три других иконы и складень подарил двум любимым московским теткам, существам большой веры и бесстрашия.

— Ах, ты, грабитель! — сказали они, но радовались по-детски.

ТРИ МЕШКА СЕРЕБРА

Пригласили меня как-то эти любимые мои тетки в свой домик у церкви Успенья на Могильцах — борщ есть. Кроме меня еще — древнего, высоких церковных чинов, старца со служкой.

Обе смолянки, ученые бактериологи, тетки мои сопротивлялись воинствующему безбожию с редкой отвагой — закрытую свою церковь возрождали у себя на дому: хор спевался у них вполголоса и вполголоса же бывали службы.

А на столе подле тарелок — вологодской полусъеденной росписи (охрой и сусалем) деревянные ложки.

— Опрощение? — спрашиваю, или стиля ради?

— А вот пойдем — покажем тебе этот стиль.

В узком коридорчике — три огромные, в рост человека, куля, полные в распор — я потрогал — металлическим звоном.

— Тут всё наше серебро, до последней застежечки, — сказала старшая тетка. — Выкуп антихристам.

Я понял: в те дни весь этот сегмент Старой Москвы между Пречистенкой и Арбатом тайно бурлил и рыдал в ожидании судьбы Храма Христа Спасителя.

— Избегались, исхлопотались... И получили ответ: соберете столько-то (она назвала астрономическую цыфру) пудов серебра — оставим придел вам молиться. Видишь: насобирали часть... Этот вот мешок — с Покрова Лёвшина прихода, этот — Николы Плотника, этот — от нашей церкви.

— И вы верите, что отдадите — оставят?

— Надо верить, другого выхода нет. Тоже ведь и атеисты серебру цену знают.

— Так ведь они не главное, что атеисты, а главное — жулики! — сказала младшая тетка со вздохом.

Запомнился мне этот маленький эпизод на всю жизнь. Храм, как известно, погодя немного, взорвали. Мрака покорности и безмолвия, которые сопровождали этот чудовищный акт, я не мог понять никогда. История с тремя мешками осталась у меня в памяти единственным лучиком...

*

Дальше идут заметки.

Обращенность эмиграции в прошлое пахнет ладаном. "О прошлом, — говорил Наполеон, — разговаривают глупцы, умные беседуют о настоящем". Недавно в стихах Андрея Вознесенского, умницы среди Швейков советской поэзии, нашел аналогичное:

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию,
ностальгию по настоящему.
Будто послушник хочет к Господу,
ну, а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

*

Что выше русской литературы? Достоевского — по глубине, Чехова — по выразительной поэтичности и краткости? Перечитал недавно "Очарованную душу" Ромена Роллана. Какое утомительное многословие! Чисто "Клим Самгин"!

. . . . . .

О Гоголе — множество книг. Но все кружатся около того, что Гоголь собирался написать и не написал; трясут его письма и ищут символов. А он никакой не был символист, но гений сам по себе, ни на кого не похожий; и провидец: разглядел, что главный седок на российской бешеной тройке — жулик. Тоже и — будущее разглядел русской литературы, то есть что Петрушка и Селифан, принятые в Союз писателей, за сходные чаевые станут писать романы. Когда-то об этом обо всем говорил я А. М. Ремизову, и он соглашался...

*

У Блока есть в дневнике: "Русский народ блажит тупо, подловато, себе на уме... глупый, корыстный, тупой, наглый" ... Одно качество Блок позабыл назвать, и может быть самое ведущее: зависть! На зависти выехал весь успех Великой Октябрьской, в ходе которой были устранены все объекты этого национального недуга: помещики, финансисты, аристократия, торговая гильдия, хозяева ресторанов, отелей, домовладельцы и прочее... Устранение объектов зависти стали называть социализмом и, хотя в части бытового благополучия оказались отброшеными лет на полсотни назад по сравнению с цивилизованным миром, — вздохнули свободно! И самая знаменательная в советской литературе книга, которую сравню разве с "Что делать?" Чернышевского, — это кочетовский роман "Чего же ты хочешь?". Ибо чего в самом деле хотеть сглоданному завистью Сидору, когда всё кроме картошки, убрано с доступных его обозрению столов? Он, этот советский Сидор, продолжает, конечно, завидовать — соседу, у которого есть холодильник, сослуживцу с секретаршею посмазливей, но этого рода зависть ни в какую идеологию не обуешь и под "передовое учение" не подведешь. Она к тому же легко заливается водкой...

*

"Беспачпортный бродяга". Оказывается, эту анафему выдумал не Иосиф Сталин, а Белинский.

*

Отец Анатолий уверен, что действительное единение масс возможно только на вере. Когда веру сжирает рационализм, образуется не единение, но подчинение, то есть деспотия. Третьего, по его мнению, не дано, ибо если массы не послушны в вере, то необыкновенно требовательны в своем праве мыслить, чуждом им органически, так как мыслить они не могут, но внушенном им демократией, научившей их мыслить демагогически (демагогически мыслить умеет каждый). Демократия в результате этого — временный и уже изживающий себя компромисс.

*

Гадко это частое у эмигрантов представление, что мы-де, русские, намного иностранцев башковитее. Думаю, что например, англо-сакс до того издавна и прочно чувствует личную свою независимость и гражданское достоинство, что постоянная настороженность в отношении ближнего совершенно ему чужда; отсюда его доверчивость, даже наивность в общении с нами, иногда и смешная, но почти всегда великодушная. Русак же испокон веков видел, бедняга, в ближнем своего явного, либо возможного, врага и злодея — выдан был с головой старосте, уряднику, земскому начальнику и прочим сильным мира сего, как позже — партийному секретарю и стукачу из особого отдела; поэтому всегда подозрителен. От этой подозрительности — хитер и мелко смекалист, собеседника быстро угадывает и потому думает, что умней... Если слегка начитан, то и дерет перед иностранцами нос, ссылаясь на путевые записки русских туристов, начиная с Фонвизина.

*

Западный мир обречен — его взашей гонят к гибели. Из попытки спустить его в социализм на тормозах ничего не

выйдет, потому что сама идея социализма утопична и реализация ее неизбежно кончается курятником. Куры — дегенераты пернатого царства: ни летать, ни плавать, ни пересечь без паники улицу, и не это ли замысел "передового учения" в отношении масс?

Социализм — утопия, потому что пишет "человек" с самой маленькой буквы, и люди когда-нибудь все-таки об этом догадаются. Нельзя ведь представить себе, скажем, что где-то условились бы отрезать при рождении у каждого младенчика одну ручку. А при социализме так же заранее отрезают у человека право на автономию его "я", стадность объявляется обязательной. Где-то у Маяковского: "Единица вздор, единица — ноль. Один, если даже самый важный, Не поднимет простое пятивершковое бревно"... и т. д. Экая дичь! А вот пулю в лоб этот один может пустить себе без посторонней помощи. Сие доказано... Недавно на лекции спросили меня, почему так зверски пьют советские люди? Потому, что уже при рождении лишены самочинной жизненной перспективы — мечты о кругосветном, по собственному маршруту, путешествии, своей яхте, своей земле, своей независимой практике — врача, инженера, изобретателя или организатора чего-либо не из-под палки. Даже ведь самостоятельным портным или сапожником немыслимо стать! Как тут не запить?.. Возвращаясь к Маяковскому: что в самом деле делать творческой личности, если не хочет продаться? "Искусство, — писал Флобер, — лучшее свидетельство, которое мы можем дать в подтверждение своего достоинства". А что за достоинство у продавшихся?.. Недавно совсем узнал о самоубийстве одного старого друга на Дальнем Востоке. До высылки, помню, всё писал в ящик стола. Говорил: "Я — мышкина дудочка. Безголосый. Пишу и щурюсь вселенским презрением к социалистическому рабству". А теперь вот — выстрелил в этот свой презрительный прищур...

*

"Его снисходительство" (это он так меня называл) проповедовал мне на днях любовь к ближнему.

Увы! любовь к ближнему — вещь, конечно, неосуществимая. Кто-то говорил, что если бы Лев Толстой жил в ком-

мунальной квартире, то вышел бы из него Салтыков-Щедрин. Но Толстой, слава Богу, жил в Ясной поляне; а когда в Москве — то в городской усадьбе в Хамовниках. Иными словами, было у него то, что на здешнем языке называется privacy*, а не было бы — тщетно ломал бы голову, как перестать ненавидеть соседа, запускающего ночью во всю мощь людоедский "там-там"; или соседку, оставляющую на целый день выть рядом под дверью свою истеричную болонку; или — двенадцатилетнего сопляка, который перед вашим лежаком на пляже, где собрались вы насладиться тишиной и голубым лоном вод, боронит это лоно ревущим в триста лошадиных глоток мотором, пуская вокруг синюю ядовитую простыню выхлопов... Это "или" можно множить до бесконечности. И как быть тут с любовью? Нет, полюбить ближнего можно разве что при расставании с жизнью; например — по дороге на виселицу...

*

Застрявши как-то минут на сорок в туннеле подземки, Сергей Сергеич мне:

— Сатана пожелал устроить ад на земле и сочинил Нью-Йорк!

— Как вам не стыдно! — говорю ему. — Чудо-город! Какое богатство творческой жизни на все потребы души! А по зодчеству — какой размах, какая смелая рукотворная красота! Вообще странно слышать от вас, урбаниста, без городского комфорта ведь жить не можете.

— Ах, оставьте!.. Комфорт — это в мелочах и за счет главного. Охладители воздуха: посидишь, вот как у вас тут, рядом — и готов насморк. Платки из бумаги: сморкнешься — и все сопли в ладони! А на улицах — старухи, вооруженные болонками, собачьи кучи на каждом шагу и адов шум. Знаете ли вы, что один

---

* Слово без точного перевода на русский, а толковать лучше всего наглядно: в начале 30-х годов жил я на даче в Сходне, под Москвой, подле леса, объявленного заповедником. В нем, бродя за грибами, наткнулся на обнесенное рвом и забором пространство, откуда сквозила свежая дранка крыш. Знакомый лесник рассказал за поллитром, что это летнее убежище одного из самых высоких правительственных помпадуров. Privacy!

единственный сукин сын на мотоциклете дает сто децибелов грохота, то есть чуть поменьше, чем артиллерийская батарея? Или поезд в собвее. Или — поп-оркестр, если сунетесь в какой-нибудь притон. А 180 децибел при длительном вкушении вызывают уже ожоги и смерть!..

— Когда, спрашиваю его, перестанете вы трясти гиперболами? "Редкая птица долетит до середины Днепра" — это было хорошо для Гоголя. Вы же не Гоголь!

— Я сам по себе! — говорит.

*

Про женщин:

"Здешние женщины женственности лишены почти начисто, это — как свечка, из которой вытянут фитиль: стеарину много, а светить — нечему!".

По этому поводу, то есть о его, Сергей Сергеича, как бы женоненавистничестве, привожу целый рассказ.

"ОСЕЧКА"

Пригласил он меня как-то в приморский один ресторан, где, уверял, были редкие блюда, верх кулинарной выучки. Машину водил он проворно, чуть разве порывисто, но к движению уличному был совсем нетерпим — то и дело взрывался и автовстречных и поперечных костил отборным российским глаголом. Так и в этот раз поначалу случилось: славная русоголовая девчушка в ветровом нашем стекле на велосипеде зигзагами, а он: "У, раскоряка, трам-тарарам! С дороги!" — "Побойтесь Бога! — говорю ему. Чем это очаровательное создание вас прогневило? Почему, говорю, вы такой женоненавистник?".

Он в ответ промолчал, но, как это случается, я заметил, что тронул какой-то в нем клавиш, который вот-вот может быть и зазвучит.

Я знал, между прочим, что был он дважды женат, что обе жены ушли от него (очень могу себе это представить); что был у

него где-то сын, про которого он говорил: "Есть у меня не мой сын, скоро подарит меня не моим внуком"...

Когда, на месте уже, ухмыльчивая, с бойкими бедрами подавальщица принесла нам омаров, и, нацепив на грудь бумажный подгузник, начал он с ними орудовать — макать и обсасывать с придыханиями и причмоком, масляно лоснясь и сияя, — я вопрос повторил. "Чем, спрашиваю, вам женский пол не потрафил?". И слово за слово, разойдясь после третьего, должно. быть, скотча, который обожал, он, между прочими приключениями, рассказал, какая всего лет пять назад вышла у него, по его выражению, осечка.

— Очередная была глупость — заключительная в ряду, увы, многих... Был тогда редактором русского отдела одного американского библиографического ревю. И вот среди присылаемой в редакцию бестолочи — вдруг статья, поэтически подписанная "Дженни", — о переводах из Пастернака. Прочел. Поразился. Растаял. Еще одна — о Булгакове. Еще — об одном новом поэте "оттуда". Ум. Понимание. Тонкость чувства и вкус! Стилистический блеск. Смотрю адрес — рядом! Телефон — под рукой! Пригласил. Пришла. Нет еще тридцати или вроде. Черноглаза и гипнотична. Курит без пауз. Улыбается редко, но когда улыбается — у тебя рот сам растягивается в улыбку и радуешься на нее, как солдат в отпуску... О статьях своих — ни слова. Господи, думаю, вот чудо, уникум! Прочие разные уши все протрещат, а эта предпочитает слушать. Я перед ней — соловьем, сейчас вспомнить — краснею, хорошо, что никто не записывал. А она изредка словечко одно, и это ее словечко я со статейными мыслями ее сопоставляю, стиль сравниваю, нахожу свежесть и восхищаюсь. Ополоумел... Справки навожу. Секретарша моя — русская, под пятьдесят, просвирня и сплетница, рассказывает: есть друг, из газетчиков же, но начинает забирать в сторону, бросит того гляди; она, когда не дождется его, курит марихуану до заполночи, а когда оба вместе, чуть что не по ней — сейчас истерика и понос, шлют в аптеку, а то и амбуланс вызывают... "Напрасно изволите интересоваться, вам не по годкам"... Ехидная баба, она в самом деле для местной русской церковки просфорки печет, — такой, знаете, американизированный тип русской всезнайки-настав-

ницы: "С каждым куском сахару, Сергей Сергеич, вы съедаете свою память", и насчет натуральной пищи модные веяния: "Живем мы не стареем, питаясь сельдереем" и тому подобное. От нее, то есть по ее рекомендации у меня и Фемидовна, теперешняя моя квартирная хозяйка. Но ладно... "Не по годкам мне" -- она конечно права, но слово даю! хоть и вздымалось во мне всё от этой неожиданной авторши, но в высшем смысле был интерес! Талант ведь! и как не поддержать, не подогреть поощрением. Выясняю уже из других источников: учится в одном колледже по сравнительной литературе на степень, кажется, мастера и для получения этой степени представить должна работку, вроде диссертации. Тема -- это я уж у нее самой спросил -- Хемингуэй и советские прозаики. То есть о хемингуэевском на них влиянии: здешние литературоведы на влияниях помешаны и, кажется, кроме влияний другого ничего не умеют.

И вдруг однажды она звонит: "Давайте с вами поужинаем!".

А после ужина чуть не пустила к себе. То есть конечно бы и пустила, но в окнах был свет. В такси обнял ее и почти обезволел -- такой магнит с тобой рядом, хрупкий сахарный тростничок -- рук не оторвешь выпустить!..

А через день сам ее в ресторан пригласил. Спрашиваю: поедем после ко мне? "Может быть" — отвечает и очень много пила; я уж подзадерживал, воды подливал, но она заметила и, подозвав служку, заказала новый двойной.

— У меня, говорю, дома скотч лучше этого.

— Ладно, говорит, тогда поехали!

Фемидовну мою чуть удар не хватил. Я уж сочинил, что экстренную, мол, по работе обсуждаем тему, — не поверила, разумеется, но притворилась — ханжество свое прикрыть.

К полуночи оба мы набрались здорово, и вдруг она говорит:

— Слушайте, напишите мне мою диссертацию. А? Всего страниц шестьдесят.

И за вопросом такой в прищур взгляд, что всё во мне заколодило.

— Написать не могу, отвечаю, подумав, но если хотите — продиктую. Запишете, а потом будете расшифровывать и переводить.

Глаза загорелись у нее — не ожидала. Подвернула под себя, туфли скинувши, ноги, пододвинулась — сердце застучало у меня на всю комнату.

— А что мне за это будет? — спрашиваю. Понимаете: сам был более чем на взводе, и от этой ее близости и запаха — совершенное во мне бездумье, один позыв!

— А что хотите! Кроме, конечно, денег, потому что у меня их нет.

— Аванс! — говорю, и она стягивает через голову свитер.

Точки, точки, точки... От респекта перед вами пропускаю такое, что сам "Плейбой" с руками бы оторвал, несмотря на конкуренцию: такое богачество было сексуальной фантазии, что у меня сердце пошло вприсядку и дых иссяк...

В паузах постановили с ней на следующей же неделе отправиться, кажется, на Бермудские острова, на голландском прогулочном лайнере. Давно, оказывается, она мечтала, а мне было решительно все равно, все равно, абы с ней! В каюте, мол, и запишем половину работки, не то поболе. Назавтра, договорились, прошу я отпуск и звоню ей.

А когда оделись (из-за Фемидовны не мог оставить ее на ночь), завелся на лестнице уже такой пустельговый разговор:

— Что ж вы теперь для нас пишете?

— Ничего.

— Как — ничего? Хотите забросить свои чудесные очерки?

— А я никогда их и не писала.

— ???

— Писал мой бойфренд, которого третьего дня прогнала. Я только подписывалась.

— И это — со смешком. Ей-Богу, послышалось мне в нем что-то идиотское, не только цинизм.

Тут С.С. задымил неистово, пуская к потолку сизые обручи.

— Что же дальше? — спрашиваю его.

— Дальше, то есть назавтра и после, я ей не позвонил.

— Невероятно!

— Невероятно теперь и мне самому. Блеск статей! Господи, мало ли никудышников, способных их сочинять! Важно ли это?.. Но так случилось. Поздний пир крови победила схоластика, редакторская моралистическая слюнявость. Признак возраста:

Так узнал я, кем я стал.
Так узнал я, что я стар...

И еще через паузу:

— Захватило это меня тогда, как торнадо. Всё тут было: и хрупкое это тепло в отвыкших ласкать руках, и даже — вплоть до фантазии, будто нашел спутницу до конца своего, кто сможет мне пятаки на глаза положить... "Это жутко, как пропасть, Как саркома в крови, Эта острая лопасть Запоздалой любви!". Не помню, кто сочинил, но выражает... И вдруг сам всё разрушил! Три дня сидел дома, скотч тянул в одиночку. Просвирня моя пожаловала — помочь, может быть, говорит, но, конечно, разнюхать... Телефонов мне не было, ни записки...

В общем — не новый конфликт. Первая встреча у меня с ним была — литературная: толстовское "После бала". Помню, лет семнадцати прочитал — и не поверил. Потом, уже много позже, перечитал снова — и не поверил окончательно. Как! Обожание, нежность — и только потому, что папаша любимой распоряжался мелкой карательной экзекуцией, пропала любовь? Какая выдумка вдруг откачнувшегося от самого себя гения! Было бы так — невозможны оказались бы и Ромео с Джульеттой. Да, всегда убежден был, что художник Толстой здесь напутал.

И вдруг такое — со мною самим. Никаких, разумеется, не провожу аналогий, но только касательные. Литературщина победила сердце? Мне говорил когда-то один умный друг, ставший потом знаменитостью, когда показывал ему свои ранние опусы: "Знаете, вряд ли станете вы мастером пера из-за того, что слишком много прочли критических книг, из-за литературной оглядки". Угадал! Вот и тут из-за оглядки неожиданно осеклось...

Он кивнул подавальщице — этой самой, с ухмылкой и крутыми бедрышками, которая, я видел, с ним немножко заигрывала, — кивнул насчет пятого скотча, но в это время вошел, ища столика, по всей видимости именитый гость, и она перекинула нас своей помощнице. У Сергей же Сергеича почти детская проступила на щеках обида.

— Ну и конечно, — продолжал он, — не из-за оглядки только, но и из-за того неверного, предательского в женщине, что ощутив, вы уже не можете ее втайне не презирать. Рабство и

предательство — они ведь вместе живут, и как бесподобно сочетал это Лермонтов в своих строчках французам о Наполеоне:

Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили
И, как рабы, вы предали его!

В моих бунтах, или, как вы это называете, наскоках, антирабье и антибабье перекликаются...

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

Не совсем идет к тому, о чем хочу рассказать, но под перо просится так:

Всё началось с бороды.

Как-то после месяцев трех перерыва (разъезжались мы с ним на лето вразнокуда) явился ко мне Сергей Сергеич неожиданно в бороде веерком, и потрясла меня эта его борода знамением вдруг совершившейся с ним перемены: постарел пугающе, и словно погас в нем некий скрытый, прежде лучившийся свет. Даже и шутка приветственная у меня в горле застряла. "К вам из госпиталя, говорит, после "теста"... Трубку потянул из кармана, сунул обратно, снова потянул и по ребрам провел мундштуком: "Нашли тут у меня, знаете, нечто пакостное. Запрещено курить, и через неделю — вероятно под ножик".

И не забыть мне никогда его глаз над этой бородой, седой и сквозистой, — тоже потухших, и как хорошо я знал эту стеариновую вокруг зрачков грусть — верный признак проклятой болезни!

В подробности дальше вступать не стану — тяжко описывать, как вытекает из близкого тебе существа жизнь — за песчинкой песчинка, как из в последний раз перевернутых за партией в шахматы песочных часов!..

Из больницы то выпускали его домой, то укладывали снова надолго, и к концу зимы вижу себя постоянно в его палате, до самого темна, когда уже гонят посетителей прочь. Истончился он к этому времени и ослаб, а о смерти говорил уже не обиняками, а запросто. Вообще много говорил, хотя голос сдал тоже, поглушел и срывался.

— "Никогда, — говорил, — никогда не замечал я в себе непомерного честолюбия, но вот теперь, признаюсь вам, спазма тщеславия неотвязна во мне. Казалось бы, ясно: прожита жизнь без какой бы то ни было пирамиды, то есть, хочу сказать, без свершения, которое осталось бы после меня на земле. Ничего не совершил, ничего... Вот только теперь, на смертном одре, понимаю, как это мучительно. Ведь даже и многим, хлебнувшим признания через край, славы подконец не хватало. Помню тоску в глазах Бунина, когда казалось ему, что его как поэта больше не знают. Или — у Ремизова, который в последние годы тоже жил в страхе, что выбудет из памяти мира; присылал мне всё, что появлялось о нем в нерусской печати; "Вы писучий, — говаривал мне, — вам и пригодится, быть может", — то есть, если соберусь о нем написать. Но Бунин и Ремизов — классики, я пигмей перед ними, их из нашей великой литературной песни не выкинуть никому, не то что меня с моими тремя стами страниц пустяков... Как смешны и нелепы иллюзии современной нашей эмиграции, будто есть у нее место в истории! Сама природа ее отвержения антиисторична и чудовищна, так что всё, что сумеет творчески схлопотать, канет в совершенное никуда! Представляете себе это? А?.. Трудно в самом деле представить, что никакими, самыми мельчайшими крючочками в памяти мира не зацепился! А ведь было кое что дано"...

Насчет этого: "было дано" случалось у него и другое направление мыслей — записываю не по порядку, а лоскутками, как запомнилось:

"Четверть века назад, после плена, приговорили меня врачи к смерти, и из долгой больницы попал в мансардную комнатушку — разведя руки, не повернуться и совершенно похожую на гроб. Кроме топчана с соломенным тюфяком и столика — ничего. От такой голости было мне поначалу не по себе, и, знаете: иконку себе цветными мелками на картонке изобразил и в косой угол пристроил, а из картофельной слякоти и газет вылепил бюст Толстого — вы его у меня здесь видели, — да, под Альпами был сотворен, в австрийской глухой деревушке. Но прежде всего, помню, в окно посмотрел: небо, ниже — поле, жнивьё, за ним лес. И тогда осенило: смотри! снова дарится тебе

мир! Небо — то есть солнце и звезды; поле — то есть цветы и шмели! И три года почти был влюблен в это окошко. Каждое утро, глаза продрав, глядел в него, вставши со своего тюфяка. Было оно на северо-восток, и по ранней весне заползал на косяк легкий лучик пунцового цвета, тонкий, как карандашик; потом исчезал и возвращался наутро поярче чуть и пошире, с линеечку. Я слежу, слежу и мысленно: "Благодарю тебя, Господи, что снова живу и солнце для меня не погасло, и весна опять за окном, бесконечно значительна и дорога!". "Вся тварь разумная скучает!" — поручил Пушкин сказать своему Мефистофелю. Нет, я неразумный. Скука природе моей чужда; унынников и taedium-vit'-ников не любил и восторгаться небом ли, морем не уставал никогда! И — глазеть! Любовь к окну у меня до последнего. Здесь вот оно теперь точно на запад, к вечеру сероглазое, и плывут в нем розовые облака; плывут и на ходу выцветают... Снова весна и красочный мир, но теперь — возвращаю это назад, в руки Создателя. Жутко ведь, а? У шведского одного поэта припомнил этого ощущения стихи и на днях перевел. Прочесть?

Как прекрасны сумерки. Какая
в небе плавится любовь, стекая
светом хрупким, заплетенным в тень,
на земной,
    на уходящий день.
Словно чьи-то пальцы обласкали
эту глубь. Сам Бог приблизил дали;
звездный мир нам излучил из тьмы,
вечность дал мне, смертному, взаймы.
Всё моё!
    И всё возьмется снова;
скоро, скоро всё возьмется снова —
это небо, эти облака...
И уйду.
    И след сотрут века.

Будем однако самокритичны. Великое чувство благодарности не изменяло ли нам? Проходил миг — и начиналось

безрадостное отрицание жизни. Неужели же этим отрицанием кончить?".

В последние месяцы часто бил его кашель. Сухой, щелкающий, будто рвалось что-то у него в груди. Ввергал его в самые черные мысли. И однажды:

— Хотелось бы мне... а-кха-кха... именно вам ...а-кха-кха... произнести свои последние слова на земле. Последние слова, я думаю, произносят в совершенном сознании, как готовую для надгробия надпись либо афоризм для биографов; но иногда — на той тайной и непостижимой струе, когда отчленяется от тела душа, в ту паузу, какая, может быть, одна только и заключает в себе всё бессмертие, всю так называемую потустороннюю жизнь, вы не думаете? Впрочем, простите, это уже отвлечение, а я хочу ... кха-кха... примеры. "Какого великого артиста теряет мир!" — это нероновское несомненно от той только психологии нарцисса, которой жил этот тиран, а ныне живут бесчисленные подонки славы. Последние слова Гейне тоже плакатны чуть, но и трагичны в своем заиндевелом скепсисе: "Бог простит мне мои грехи — это в конце концов его профессия". Бывает и надрывнее: "Один только человек понял меня", — будто бы сказал умирая Гегель. И после паузы: "Да и тот понял неверно". Говорят, предсмертное слово Ибсена было: "Напротив!", то есть в смысле несогласия, и это шло многим другим больше, чем ему ... ...а-кха... а-кха-кха... Мне самому, например...а-кха...

Он кашлял долго, а потом снова принялся за чужое предсмертное, заставляя меня в который уж раз удивляться его ухватливой памяти. "У Гейнсборо, английского художника, было трогательно: "Ну вот я и встречусь наконец с другими даровитыми мастерами!". Англо-саксам очень удавались последние их слова. Даже незначительные были значительны: лорд Честерфильд, например, английский аристократ, отходя, приказывал слугам насчет одного полузнакомого, пришедшего его навестить: "Не забудьте дать Дейролсу стул!". С тем и помер. У американцев О-Генри изрек что-то крылатое, что попало потом в шлягер, не помню точно, но вроде: "Дайте свет! Страшно уходить одному в потемках!". Мультимиллионер Вандербильт, говорят, выразил напоследок удивление, что не был в жизни более счастлив, чем его сосед, оцениваемый только что в три

миллиона. Впрочем, много во всем этом, вероятно, позднейшей выдумки и просто фальшивок. Пушкинское, скажем, обращение к книгам: "Прощайте, друзья!" -- было на самом деле оно? Про Вильяма Питта рассказывают, что стонал умирая: " О Англия, моя бедная Англия!". А на самом деле последние его слова были: "Кажется, я могу съесть кусочек этого пуддинга"...

И, ослабев, на меня не глядя, с подушки:

-- Запишете, М. М., дорогой, последние мои слова на земле?...

Тут переметнусь я, чтобы не растягивать записи, собственно к концу.

Было уж к ночи, когда его хозяйка сказала мне в телефон: "Сейчас очень плохо, и он вас просит приехать".

Хозяйку эту, Александру Демидовну, звал он Фемидовной, потому что была прирожденный, как он уверял, прокурор и всякому случаю тотчас выносила приговор. "Тоже вполне американизированная просвирня — свой адвокат у нее и свой психиатр — эти, знаете, мастера теперь в моде и ловко, как баянисты, играют на пищиках вдовьих душ".

Ездил я к нему и без специальных звонков почти через день -- к этому времени дни его были уже почти сочтены; какой-то поворот в искаженных легких мог совершиться с часу на час, и из госпиталя, правдоподобно ободривши, отпустили его домой умирать. Пропускал я поездку только, если собственная моя хвороба затрудняла перегон между его краем Бродвея и моим; вспоминал Маяковского, который, воротясь из Америки, рассказывал нам, студентам: "Ничего себе размахнулся у них Бродвей! Живешь с приятелем на разных концах и не скажешь: "Забегай сегодня ко мне чай пить — мы с тобой на одной улице живем!".

Аккурат застал у него врача — длинный, мрачный, с головой, вытянутой на кривоватой шее к переду, похожий поэтому на семерку, он готовил шприц — набрав жидкость, ворочал туловом, ища, куда сбыть пустую ампулу, и Фемидовна, подсеменив, почтительно приняла ее в ладошку.

Кажется, перед этим они давали С. С. кислородную подушку.

Он вскинул руку, увидя меня, и мотнул в мою сторону кистью, но глядел совсем мутно, почти незряче из косматой поросли до самых обтянувшихся скул. Как для других — не знаю, но для меня руки — самый говорящий у больных аттестат: когда он поднял свою, рукав пополз вниз, и такая бледная, синеватая дряблость мне резанула глаза, что я отвернулся. Фемидовна тут же подхватила вскинувшуюся руку, и врач воткнул в дряблость шприц.

"Он сейчас заснет" — сказал врач мне с порога. — Нет — дайте таблетку. Но дело идет к концу. Будет задыхаться — звоните, пришлю амбуланс."

Я отправил Фемидовну спать и пристроился сам у его изголовья, на стуле-качалке. Различные моды и вкусы эпохи постигаются критически разумом, а тут они ощутимы попросту задницей: опустить бы усталое свое естество в пружинную феодальность кресла, так нет! под тобой — обтянутый кожей, как рептилия, клавиш, шибает вдруг вниз и вбок, так что ищешь руками, за что ухватиться и впору с испугу закричать.

Уняв под собою трясение, взял я книгу и наставил на страницы ночник. Вот тоже и с книгой шли размышления: как удержать на коленях семьсот страниц! Что это за мания грандиоза у наших даровитых соотечественников, как любил вопрошать С. С.? С этой как раз книгою был у меня эпизод. Прихожу к своему парикмахеру, а он, едва увидя меня: "Давно ждал, говорит, хотел спросить, что этот ваш автор (и показывает на книжищу, в английском переводе еще дородней) правду пишет или выдумывает? Пятьдесят страниц прочитал и решил у вас справиться". — Правду, правду, — говорю ему. — Можете продолжать. "Нет, говорит, куда там!.. Спасибо за справку, а больше прочесть не осилю. Откуда времени взять?".

Записываю всё это и понимаю: о трагедии речь, а я на такую отвлекаюсь петрушку; но потому ведь и отвлекаюсь, что стремлюсь передать всё правдивее: пустяки нарочно пускал в голову из ужаса перед старухой с косой. Полутьма вокруг, и впереди, перед глазами — тяжелая, во всю почти стену занавеска, и складки на ней шевелятся чуть, ровно от чьих-то шагов иль локтей... Поворочусь налево — вижу его лоб и скулы, желтые, как муляж.

Он спит и шумно дышит полуоткрытым, тоже будто восковым ртом. Слабым движком шевелит кадык клокастую бороду. Он дышит мучительно, и на крутизне вздоха что-то ёкает в его бронхах, и выдох возвращается гульче, со скрипом, почти что с голосом. Вслушиваюсь — и начинаю различать словно бы:

И-ий-ду-у... и-ий-ду-у...

Натужно упираю глаза в страницу. Строка за строкой, абзац за абзацем — голод, зверства, низость... Страшно! Я уже не ухватываю подробностей, ни отдельных судеб — только это одно сплошное "страшно!".

Но старуха с косой, шевелящая черные впереди меня складки, разве не страшнее того?

И-ий-ду-у... и-ий-ду-у...

Книга шлепается у меня с колен. Поднимаю. Падает снова. Оставляю ее на полу.

И-ий-ду-у... и-ий-ду-у...

Господи! если бы кто-нибудь шепнул мне тогда, что это не покой, за которым вернется вновь хотя бы короткое оживление, что он действительно уходит из жизни, что это уже агония...

Но похожий на семерку врач усыпил мою бдительность.

С какой тоской я после высчитывал, сколько времени мог проспать! Казалось, немыслимо, чтобы долго — в этом падучем кресле и в шорохах смерти рядом. Но около часу выходило наверняка. И никаких нелепых или вещих к случаю сновидений, но — качкая, словно мурлыкающая муть, и вдруг — тишина, неожиданная, как выстрел! Вздымаю предательские веки и вижу рядом его разверстые уже остекляневшие глаза...

Боже, как мог я!..

Чтобы продохнуть — две таблетки всухую, остальные рассыпав... Нужна была, может быть, помощь?

И: "Запишете, М. М., дорогой, последние мои слова на земле?"...

Не было последних слов?

Или были?...

Или были? Резучей боли этого вопроса не мог заглушить в

себе ни под "Вечную память", ни под сутолоку и гудки по дороге на кладбище.

За ним, этим вопросом, цеплялись прочие, колючими малмала меньше вопросительными крючками, по поводу многого, о чем рассказал выше, и по всякому другому мелочному поводу.

Смотрел на прильнувшие к розоватому песчанику памятников ожерелья весенних почек — и вспоминал Сергей Сергеичевы акафисты "распыленному в красоте окрест нас облику Творца"; видел бороду отца Анатолия и кадильный рядом дымок, треплемый ледовитым, не по сезону ветром; слышал ветром же растолканное: "...аще бо согреши, но не отступи от Тебе ... до последнего своего дыхания исповеда", — и вспоминал завещательный найденный мной на письменном столе С. С. пакет. В нем — квитки за купленное на кладбище место, за заказанное по рисунку, с нишею для иконки, надгробие, дары, просьбы и распоряжения насчет хора и панихид — словом всё то, чего никогда бы не смог примыслить Сергей Сергеичу при жизни...

Вспоминал и думал о том, что в самом деле, вероятно, нельзя спросить у человека до самого последнего его конца: "Како веруеши?".

Потому что он сам этого не знает.

И тоже не знает, будет ли подарено ему последнее слово.

Леонид Ржевский

*

Я люблю — когда далекий —
Белый парус — в Черном море
Одевает синий месяц —
В серебро зеленых звезд.
Керосин высокой лампы —
Загорается лилово.
И летит степная чайка —
Перед Муромцем Ильей.
И стоит перед глазами —
Дым отечества широкий —
Белым духом горькой правды,
Запахом далеких лет.

*

Вижу ручеек прозрачный,
Вижу, как водоворот —
Вдруг выносит лист табачный
Из глубин на лоно вод.
Да, у всех своя дорога.
И ненарушимый вес.
Открываю понемногу —
Тайный замысел небес.

А. Величковский

РАУШ-НАРКОЗ

На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяжестью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, не взлюбивший этого ленивого "лба" ("лоб" — это и значит "рослый" на местном языке) всякий раз ставил Мерзлякова "под комелек", заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно. Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорей добраться до барака, до еды, десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению — во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу — вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом — никаких средств для растирания на медпункте не было. Мерзляков все время лежал полусогнувшись, настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срослось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу. Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автомашины и вместе с другими больными увезли в районную больницу. Рентген-кабинета там не было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал так несколько месяцев не разгибаясь, был перевезен в центральную больницу, где, конечно, рентгенкабинет был и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палаты травматических

болезней, которые по простоте душевной больные называли "драматическими" болезнями, не думая о горечи этого каламбура.

"Вот еще этого", сказал хирург, указывая на "историю болезни" Мерзлякова, переводим к Вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего".

— Но вы же пишете в диагнозе: анкилоз на почве травмы позвоночника. Мне-то он к чему? — сказал невропатолог.

— Ну, анкилоз, конечно. Что ж я еще могу написать? После побоев и не такие штуки могут быть. Вот у меня на прииске "Серый" был случай. Десятник избил работягу..."

— Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю, зачем переводите?

— Я же написал: для обследования на предмет актирования. Потычете его иголочками, актируем, и на пароход. Пусть будет вольным человеком.

— Но вы же делали снимок? Нарушения должны быть видны и без иголочек.

— Делал. Вот, изволите видеть. — Хирург навел на марлевую занавеску темный пленочный негатив. — Черт тут поймет в таком снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света, хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать.

— Истинно, муть, — сказал Петр Иванович. Ну, так и быть. И он подписал на истории болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе.

В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями, вывихами, переломами, ожогами — северные шахты не шутили — в отделении, где часть больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой бесконечно утомленный хирург с четырьмя фельдшерами, — все они спали в сутки по три, четыре часа, — там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отделении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие.

Вся его арестантская отчаянная воля была сосредоточена давно

на одном: не разогнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал прииск, щемящий дыханием холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого забоя, миску "супчику", которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной ложкой, приклады конвоиров и сапоги десятников — и находил в себе силу, чтобы не разогнуться. Впрочем сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во сне. Он знал, что дежурным санитарам дано приказание следить за ним, чтобы уличить его в обмане. А вслед за уличением — и это тоже знал Мерзляков — следовала отправка на штрафной прииск — а какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерзлякова такие страшные воспоминания?

На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах икры, при постукивании резиновым молоточком, при надавливании, Мерзляков отвечал наугад.

Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкают заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей. Но он был врачем в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача — специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своих знаний, своего психологического умения расставлять западни, в которые

должны были, к вящей славе науки, попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все — и тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста — а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал ему силы для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение; еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а наоборот — отточил, отшлифовал ее, словом, что он "еще может"...

— Дураки эти хирурги, — думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. — Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном. А нет снимка — и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! Что Мерзляков симулянт — это Петру Ивановичу ясно, конечно. — Ну, пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме. Все бумажки в историю болезни подклеим. Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения. Через неделю в больнице собирали "этап" на пароход — переводя больных на Большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приезжий из управления председатель врачебной комисии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего "оформления" — личный осмотр больного отнимал пол-минуты.

— В моих списках — сказал хирург — есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку вот, заготовлены.

Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога.

— Приведите Мерзлякова, — сказал Петр Иванович.

Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него.

— Экая горилла, — сказал он. — Да, конечно, держать таких нечего. И, взяв перо, он потянулся к спискам.

— Я своей подписи не даю, — сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. — Это — симулянт, и завтра я буду иметь честь показать это и вам и хирургу.

— Ну, тогда оставим, — равнодушно сказал председатель, положив перо. — И вообще, давайте кончать, поздно уже.

— Он симулянт, Сережа, — сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты.

Хирург высвободил руку.

— Может быть, — сказал он, брезгливо морщась, — Дай вам бог успеха в разоблачении. Получите массу удовольствия.

На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно.

— Я думаю, — сказал он в заключение — что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет раушнаркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, — сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. — Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш- ничего не даст, тогда ... Петр Иванович развел руками, — тогда шоковая терапия. Это — занятная вещь, уверяю вас.

Рауш-наркоз — это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на пятнадцать-двадцать минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв.

Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщевые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу.

— Не надо, не надо, — закричал Петр Иванович, подбегая. — Вот лент-то и не надо.

Лицо Мерзлякова вывернулось вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром.

— Начинайте, Сережа!

Эфир закапал.

— Глубже, глубже дыши, Мерзляков! Считай вслух!

— Двадцать шесть, двадцать семь, — ленивым голосом считал Мерзляков и, внезапно оборвал счет, и заговорил сразу что-то непонятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью.

Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мертво и мягко упала на край стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули.

— Вот теперь привяжите его, — сказал Петр Иванович санитарам.

Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы.

— Ну, что, гадина, — хрипел начальник, — под суд теперь пойдешь.

— Молодец, Петр Иванович, молодец, — твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. — А ведь я вчера совсем собрался ему вольную выдать.

Варлам Шаламов

*

Равнина. Облака над нею.
Избушка и поля, поля...
Коснуться их теперь не смею,
О новой встрече не моля.

Лишь церкви бедной, деревянной
Мне купол видится в крови.
Ей кланяюсь смиренно, тайно,
Как первой кланяюсь любви.

Екатерина Таубер

ДРУГ КАФКИ

От друга моего Джека Кона — бывшего артиста еврейского театра — я слышал о Франце Кафке задолго до того, как прочёл хоть одну из его книг. Я говорю "бывшего", потому что в те времена, когда я знал его, он уже не был на сцене. Это было в начале 30-тых годов и еврейский театр в Варшаве уже начал терять свою публику. Джек Кон был больным и надломленным человеком. Хоть и было щегольство в его манере одеваться, — одежда у него была поношенная. Он носил монокль в левом глазу, высокий, старомодный воротник (прозванный "отцеубийцей"), замшевые полуботинки и котелок. Циники из Варшавского Еврейского клуба писателей — клуба, который оба мы посещали, прозвали его "лордом". Он сутулился всё больше и больше, но старался держаться прямо. То, что осталось от его когда-то золотых волос, он зачёсывал так, чтоб образовать как бы мост на голом черепе.

В разговоре он по традиции театра старых времён, то и дело переходил на онемеченный еврейский, — особено тогда, когда начинал говорить о своих взаимоотношениях с Кафкой. О нем он стал писать газетные статьи, но все издатели единодушно отвергали их. Жил он на мансарде, где-то на улице Лазно и постоянно болел. Среди членов клуба о нём ходила шутка: "Весь день он лежит в кислородной палатке, а к ночи появляется Дон Жуаном".

Мы всегда встречались в клубе по вечерам. Дверь медленно приоткрывалась, чтоб впустить Джека Кона. Вид у него был важной европейской знаменитости, удостоившей своим посещением гетто. Он обычно оглядывался по сторонам и делал

гримасу — будто хотел дать понять, что запахи селёдки, чеснока и дешёвого табака были ему не по вкусу. Он презрительно смотрел на столы, на которых лежали рваные газеты, поломаные шахматные фигуры, стояли пепельницы, полные папиросных окурков. За столами сидели члены клуба — пронзительными голосами они без конца обсуждали литературные вопросы. Джэк Кон качал головой, будто говоря: "Чего уж можно ждать от этих неудачников?". В тот момент, когда я видел, что он входил, я опускал руку в карман и приготовлял злотые, которые он неизменно у меня занимал.

В этот вечер Джек повидимому был в лучшем настроении, чем обычно. Он улыбался, выставляя напоказ свои дурно вставные, фарфоровые зубы, которые чуть шевелились, когда он разговаривал, и важной походкой приблизился ко мне, будто мы были на сцене. Протянув мне костлявую с длинными пальцами руку, он сказал: "Как поживает сегодня восходящее светило?".

"Вы уже принялись за своё?"

"Нет, я серьёзно. Совершенно серьёзно. Несмотря на то, что сам я лишён таланта, я чувствую талант, когда наталкиваюсь на него. Когда в 1911 году мы играли в Праге, никто даже не слышал ещё о Кафке. Он пришёл за кулисы и в тот момент, когда я его увидел, я уже знал, что нахожусь в присутствии гения. Я почувствовал это так, как кошка чувствует близость мыши. С этого началась наша тесная дружба".

Я слышал эту историю уже много раз, слышал в разных вариантах, но знал, что надо будет её слушать ещё не раз. Он уселся за мой стол и Маня, кельнерша, принесла нам стаканы чая и печенье. Джек Кон приподнял брови над желтоватыми глазами, в белках которых виднелись прожилки маленьких кровяных вен. Казалось, выражение его лица говорило: "Это то, что варвары называют чаем?" Он бросил в свой стакан пять кусков сахара и стал помешивать тонкой ложечкой, вращая её на поверхности стакана. Большим и указательным пальцем, ноготь которого был необычной длины, он отломал маленький кусочек печенья, положил его в рот и сказал "Nu ja". Это значило, что нельзя, мол, заполнить свой желудок прошлым.

Всё это была комедия. Он был родом из хасидской семьи из маленького польского городка. Имя его было не Джек, а

Джейнкил. Однако, он много лет жил в Праге, Вене, Берлине, Париже. Не всегда он был актёром еврейского театра: играл на сцене и во Франции и в Германии. Он был в дружбе со многими знаменитостями. Он помог Шагалу найти мастерскую в Бэлвиле. Он был частым гостем Израэля Цангвиля. Однажды выступил в постановке Рейнгардта, и ел вместе с Пискатором. Он показывал мне письма, которые получал не только от Кафки, но и от Якоба Вассермана, Стефана Цвейга, Ромэна Роллана, Ильи Эренбурга и Мартина Бубера. Все они обращались к нему, называя его по имени. Когда мы сошлись ближе, он даже показал мне фотографии и письма знаменитых артисток, с которыми он был близок.

Для меня "давать в займы" злотый Джеку Кону, значило приходить в контакт с Западной Европой. Уже одно то, как он держал в руке палку с серебряным набалдашником, казалось мне экзотикой. Он даже папиросы курил как-то особенно — не так, как мы. И он всегда был вежлив. Даже, иногда, укоряя за что-нибудь, он умел щадить мои чувства, отпуская мне тут же какой-нибудь элегантный комплимент. Но больше всего восхищало меня его умение обращаться с женщинами. Я был с ними стыдлив: краснел, чувствовал в их присутствии неловкость, — Джек Кон обладал самоуверенностью графа. Даже самым непривлекательным женщинам он всегда находил сказать что-нибудь приятное. Он им всем льстил, но делал это с добродушной иронией и видом гедониста, всё испытавшего в жизни.

Со мной он был откровенным. "Мой юный друг, я всё равно, что импотент. Это всегда начинается с того, что развиваешь в себе особенно утонченные вкусы. Если кто-то голоден, ему не нужны марципан и чёрная икра. Я дошёл до того, что ни одну женщину не нахожу действительно привлекательной. Ни один недостаток не может укрыться от меня. Это импотенция. Платья, корсеты — они прозрачны для меня. Меня больше не обманешь румянами и духами. Я потерял свои зубы, но стоит женщине открыть рот — и я вижу у нее пломбы в зубах. Это, между прочим, было проблемой для Кафки, когда дело касалось писания: он видел все недостатки — свои собственные и всех других. Большинство литературных произведений создано такими плебеями и "сапожниками", как Золя и Д'Аннунцио. Я в театре видел те же недостатки, какие Кафка находил в литера-

туре, и это нас сблизило. Но, как странно, когда Кафка начинал судить о театре, он становился слеп. Он до небес превозносил наши плохие еврейские пьесы. Он до безумия влюбился в бесталанную актрису — мадам Чиссик. Когда я думаю о том, что Кафка любил эту тварь, мечтал о ней, мне стыдно становится за человека и за его иллюзии. Ладно! Бессмертие не взыскательно. Каждый, кому случилось прийти в соприкосновение с великим человеком, вместе с ним марширует в бессмертие, — часто в смазных сапогах.

Кажется, вы как-то интересовались — что заставляет меня бороться за жизнь? Или мне показалось, что вы спрашивали меня об этом? Что даёт мне силы переносить нужду, болезни и — что хуже всего — безнадёжность? Это хороший вопрос, мой юный друг. Тот же вопрос я задал, когда впервые прочёл в Библии об Иове. Почему Иов продолжал жить и страдать? Для того ли, чтобы лишь иметь больше дочерей, больше ослов, больше верблюдов? Нет. Ответ тот, что всё совершалось ради самой игры. Все мы играем в шахматы с нашим роком — он наш партнёр в игре. Он делает ход; мы делаем ход. Он старается после трёх ходов объявить нам шах и мат; мы стараемся предотвратить это. Мы знаем, что выиграть не можем, но мы стараемся бороться. Мой противник сильный ангел.

В борьбе с Джеком Коном он употребляет все имеющиеся у него средства. Теперь зима. Холодно даже тогда, когда есть печка. Но у меня печка уже месяцы как не в порядке и хозяин отказывается её чинить. Кроме того, у меня всё равно не было бы денег, чтобы купить уголь. В моей комнате холодно как на дворе. Если вы не жили на мансарде, вы не знаете силы ветра. Даже в летнее время стёкла моих окон дребезжат. Случается, что кот взбирается на крышу и неподалеку от моего окна воет всю ночь как роженица. Я тут лежу и мёрзну под моими одеялами, а он воет, зовет кошку, — впрочем, может быть он попросту голоден. Я мог бы дать ему поесть немножко, чтоб успокоить его, мог бы прогнать его, но чтоб окончательно не замёрзнуть я укутываюсь во всё мое тряпьё, даже в старые газеты — малейшее движение и весь мой труд пропал даром.

И всё же, дорогой мой, если вы играете в шахматы, лучше играть с достойным противником, чем с профаном. Я моим оп-

понентом восхищён. Иногда я прихожу в восторг от его изобретательности. Он сидит там, в своём кабинете на третьем или седьмом небе, в отделе судьбы — отделе, который управляет нашей маленькой планетой и у него одна забота — поймать Джека Кона. Ему приказано: "Разбей бочёнок, но не давай вину вылиться". Это точно и есть то, что он делал. Как он умудряется сохранять меня живым, это чудо. Мне стыдно вам признаться, какое количество лекарств я принимаю, сколько пилюль я проглатываю. У меня есть друг фармацевт — если бы не он, я б никогда не мог это себе разрешить. Перед тем как лечь спать я глотаю пилюли одну за другой, в сухом виде. Если я буду пить, придется потом вставать: у меня неприятности с простатой. В темноте Кантовские категории не применимы: время перестаёт быть временем и пространство пространством. Вы держите что-то в своей руке и внезапно в ней ничего нет. Зажечь мою газовую лампу не так просто. Спички постоянно куда-то исчезают. Моя мансарда кишит демонами. Иногда я обращаюсь к одному из них: "Эй ты, Уксус, сын Вина, как насчёт того, чтобы прекратить злые шутки?".

Однажды среди ночи я услышал стук в дверь и женский голос. Трудно было понять — смеялась женщина или плакала. "Кто б это мог быть?" — сказал я сам себе. — Лилит? Нама? Маклат, дочь Катева Мрири?". Вслух я крикнул: "Сударыня, вы ошибаетесь". Но она продолжала колотить в дверь. Потом послышался стон и падение тела. Я не мог отважиться открыть. Начал искать спички и тут же увидел, что держу их в руке. Наконец я встал с постели, зажёг газовую лампу, надел халат и шлёпанцы. На мгновение увидел себя в зеркале, — моё отражение испугало меня: лицо было зелёным и небритым. В конце концов я открыл дверь: за ней стояла молодая женщина, босая, одетая в соболью шубу поверх ночной сорочки. Она была бледна, ее длинные блондинистые волосы растрёпаны.

"Сударыня, что случилось?", — спросил я.

"Кто-то только что хотел меня убить. Умоляю вас, пожалуйста, впустите меня. Я хотела бы только остаться в вашей комнате до рассвета".

Я хотел спросить, кто хотел её убить, но видел, что она очень

замёрзла. Может быть, была она пьяна? Я впустил её и тут же заметил на ее запястье браслет с большими бриллиантами.

"У меня не топлено", — сказал я ей.

"Это лучше, чем умереть на улице".

Так вот мы очутились вдвоём. Но что мне было делать с ней? У меня была только одна кровать. Я не пью — мне нельзя — но друг мой подарил бутылку коньяка, и у меня было немного чёрствого печенья. Я дал ей питьё и одно печенье. Напиток, повидимому, оживил её.

"Сударыня, вы живёте в этом доме?" — спросил я.

"Нет. Я живу на Уяздовском бульваре".

Я видел, что она была аристократка. Слово за слово, и я выяснил, что она была графиня и вдова и что ее любовник живёт в нашем доме, — дикий человек, который держит у себя ручную львицу. Он тоже принадлежал к знати, но был ею отвергнут. Он уже просидел год в крепости за попытку убийства. К ней он не мог приходить, потому что она жила в доме родителей ее покойного мужа, так вот она приходила к нему. В эту ночь он в припадке ревности избил её и приставил ей револьвер к виску. Короче говоря, ей удалось схватить свою шубу и выбежать из его квартиры. Она стучала в двери к соседям, но никто не впустил её, и она пробралась на мансарду.

"Сударыня", — сказал я ей — "ваш любовник вероятно продолжает искать вас. Предположим, он вас найдёт. Я сейчас уже не тот человек, которого можно назвать рыцарем".

"Он не посмеет устраивать дебош", — сказала она. — Он был отпущен на поруки. Я с ним покончила навсегда. Пожалейте меня, пожалуйста, не выгоняйте меня посреди ночи".

"Как вы завтра попадёте домой?" — спросил я.

"Я не знаю. Мне жизнь всё равно надоела, но я не хочу быть убита им".

"Н-да, я всё равно не в состоянии буду спать", — сказал я. "Ложитесь в мою кровать, я устроюсь в этом кресле".

"Нет. Я этого не сделаю. Вы не молоды и у вас плохой вид. Пожалуйста, ложитесь в постель, а я буду здесь сидеть".

Мы так долго торговались, что в конце концов решили лечь вместе.

"Вам нечего меня опасаться, — заверил я её. — Я стар и с

женщинами беспомощен". Она повидимому, была полностью убеждена моими словами...

О чём я только что говорил? Да, о том, как внезапно я очутился в кровати с графиней, любовник которой в любой момент мог вломиться к нам. Я накрыл нас обоих двумя моими одеялами, и не позаботился о том, чтобы устроить — как следовало бы — какое-нибудь разделение из разного хлама. Я был так взвинчен, что позабыл о холоде. Кроме того, я чувствовал ее близость. Странная теплота исходила от ее тела — непохожая ни на что, что я раньше знал, или, может быть я уже позабыл о таком тепле? Хотел мой противник испробовать новый гамбит? Последние несколько лет он перестал играть со мной всерьёз. Знаете, существует такая вещь, как юмористическая игра в шахматы. Мне говорили, что Нимцович часто подшучивал над своими партнёрами. В старое время и Морфи известен был как шахматный шутник.

"Хороший ход, — сказал я моему противнику. — Шедевр!" Тут я отдал себе отчёт в том, что знаю, кто ее любовник. Я встречал его на лестнице — гигант с лицом убийцы. Это было бы забавной смертью для Джека Кона — быть приконченным польским Отелло.

Я начал смеяться и она со мной. Я стал целовать её и прижимать к себе. Она не сопротивлялась. Внезапно случилось чудо: я снова был мужчиной! Как-то, в четверг вечером, в маленькой деревушке я стоял неподалеку от бойни и видел, как перед тем, чтобы быть заколотыми к субботе, — спаривались бык и корова. Почему она уступила, я никогда не узнаю. Может быть этим она мстила своему любовнику? Она целовала меня и шептала ласковые слова. Затем мы услышали тяжёлые шаги. Кто-то кулаком стучал в дверь. Моя возлюбленная соскользнула с кровати и легла на пол. Я хотел начать читать предсмертные молитвы, но мне было стыдно перед Богом, и не так уже перед Богом, как перед моим издевающимся противником. Зачем было доставлять ему излишнее удовольствие? Даже мелодрама имеет свои границы.

Скотина за дверью продолжал в неё колотить — я поражался, что дверь не поддавалась. Он бил в нее ногой. Дверь

трещала, но держалась. Я был в ужасе, и всё же внутренне не мог не смеяться. Потом шум прекратился: Отелло ушёл.

Утром я понёс браслет графини в ломбард. На полученные деньги купил моей героине платье, бельё и туфли. И платье, и туфли были не по ней, но ей нужно было только дойти до такси, — конечно, при условии, что любовник ее не подстерегает на лестнице. Любопытно, но человек этот в ту же ночь исчез и никогда больше не появлялся.

Перед отходом она поцеловала меня, она настаивала на том, чтобы я навестил её, но я не так уж глуп. Как в Талмуде говорится: "Чудо не случается каждый день".

И знаете, Кафка, хоть он и был молод, был одержим тем же сдерживающим всё чувством, которое меня мучит на старости. Оно мешало ему во всём, что бы он ни делал — в половой жизни, как и в его писании. Он жаждал любви и бежал от нее. Он писал фразу и моментально зачёркивал её. Отто Вейнингер был тоже таким — тоже сумасшедший и гениальный. Я встречал его в Вене — он сыпал афоризмами и парадоксами. Одно из его изречений я никогда не забуду: "Бог не создал клопа". Надо знать Вену, чтобы действительно понимать эти слова. И всё же, кто создал клопа?

А, вот Бамберг! Посмотрите, как он вперевалку шагает на своих коротких ногах — труп, не желающий покоиться в гробу. Это было бы не плохой идеей: основать клуб для трупов, страдающих бессонницей. Зачем он бродит повсюду по ночам? На что ему кабаре? Врачи уже годы как махнули на него рукой — когда мы были ещё в Берлине. Но это не мешало ему до четырёх часов утра сидеть в Romanisches Cafe, болтая с проститутками.

Однажды Гранат — артист — объявил, что он устраивает вечеринку — настоящую оргию — в своём доме, и в числе других он пригласил Бамберга. Гранат информировал каждого мужчину о том, что тот должен привести с собой даму — жену или приятельницу. Но Бамберг не имел ни жены, ни любовницы, так он заплатил шлюхе за то, чтоб она сопровождала его. Он должен был купить ей вечернее платье для этого события. Компания состояла исключительно из писателей, профессоров, философов и обычных интеллектуальных прихлебателей. Всем

им пришла в голову та же идея, что и Бамбергу — они наняли проституток. Я тоже был там. Я сопровождал артистку из Праги, с которой давно был знаком. Вы знаете Граната? Дикарь. Он пьёт коньяк как сельтерскую воду и может съесть омлет из десяти яиц. Как только гости собрались, он разоблачился и начал как безумный вкруговую танцевать с проститутками, просто для того, чтобы поразить своих интеллектуальных гостей. Вначале те сидели и глазели. Немного погодя они начали обсуждать половой вопрос. Шопенгауэр сказал одно... Ницше другое... Для каждого, кто не был свидетелем всего этого, трудно было бы представить себе, до какой степени могут быть смешны эти гении. Наконец, Бамбергу стало плохо. Он стал зелен как трава, с него лил пот. "Джек", сказал он, — "Я кончаюсь. Хорошее же место, чтоб умереть. С ним случился припадок — не то почек, не то жёлчного пузыря. Я почти вынес его оттуда и доставил в госпиталь. Кстати, можете вы одолжить мне злотый?"

"Два".

"Что? Вы ограбили Bank Polski?"

"Я продал рассказ".

"Мои поздравления. Давайте поужинаем вместе. Вы будете моим гостем".

2

Пока мы ели, Бамберг подошёл к нашему столу. Это был человек низкого роста, тощий как чахоточный, сгорбленый и кривоногий. Он носил замшевые туфли и гетры. На его заострёном черепе было несколько седых волос. Один глаз был больше другого, — то был красный, выпуклый, испуганный собственной проницательностью глаз. Костлявыми, маленькими руками он опёрся на наш стол и сказал своим хихикающим голосом: "Джек, я читал вчера "Замок" вашего Кафки. Интересно, очень интересно, но что собственно он хотел сказать? Слишком длинно для сна. Аллегории должны быть коротки".

Джек Кон быстро проглотил еду, которую жевал.

"Садитесь", — сказал он. — "Великий писатель не должен следовать правилам."

"Есть некоторые правила, которым даже великий писатель

должен следовать. Ни один роман не должен быть длиннее "Войны и мира". Даже "Война и мир" слишком длинен. Если бы Библия состояла из восемнадцати томов, она давно была бы позабыта".

"Талмуд имеет тридцать шесть томов, и евреи его не забыли".

"Евреи слишком много помнят. В этом наше несчастье. Две тысячи лет прошло с тех пор, что мы были изгнаны из Святой Земли, и теперь мы стараемся вернуться туда. Безумие, не так ли? Если бы только наша литература отражала это безумие, было бы великолепно. Но литература наша сверхъестественно нормальна. Ладно, достаточно об этом".

Бамберг, хмурясь с напряжением, выпрямился. Своими маленькими шажками, волоча ноги, он отошёл от стола. Он подошёл к грамофону и поставил танцевальную пластинку. В клубе писателей знали, что уже годы, как он ни слова не написал. На старости он начал учиться танцевать, находясь под влиянием философии друга своего, доктора Митцкина, автора "Энтропии Разума". В этой книге доктор Митцкин пытался доказать, что человеческий ум обанкротился и настоящая мудрость может быть достигнута только с помощью страсти.

Джек Кон покачал головой.

"Гамлет в полпинты. Кафка боялся стать Бамбергом — поэтому он и погубил сам себя".

"Графиня когда-нибудь звонила вам?" — спросил я.

Джек Кон вынул монокль из своего кармана и водворил его на его место.

"А что, если она и звонила? В моей жизни всё превращается в слова. Всё разговоры, разговоры. Это собственно и есть философия доктора Митцкина: человек дойдёт до того, что превратится в словесную машину. Он будет есть слова, пить слова, он женится на словах, будет отравляться словами. Подумайте, доктор Митцкин тоже присутствовал на Гранатовой оргии. Он пришёл, чтоб на практике делать то, о чём он проповедывал, но он мог просто вместо этого написать "Энтропию разума"... Да, графиня звонит мне время от времени. Она тоже интеллектуалка, но без интеллекта. Собственно, хоть женщины и делают всё от них зависящее, чтоб открывать нам очарование их тел, они о

значении пола знают так же мало, как они знают об интеллекте.

Возьмите например мадам Чиссик. Что вообще она имела кроме тела? Но только попробуйте спросить ее, чем в действительности является тело? Теперь она безобразна. Когда она была артисткой — в Пражский период — она ещё имела что-то. Когда мы выступали вместе, я был исполнителем главных ролей. У нее был крошечный талант. Мы приехали в Прагу, чтобы заработать немного денег и нашли там гения, ожидающего нас — Homo sapiens, находящегося в состоянии самого сильного самобичевания. Кафка хотел быть евреем, но не знал как. Он хотел жить, но и этого он не умел... Франц, — сказал я ему однажды, — ты молод. Делай то, что все мы делаем. Был в Праге публичный дом, который я знал, и я убедил его пойти туда со мной. Он был ещё девствен. Лучше не буду говорить о девице, с которой он был обручён. Он по голову был погружён в мещанское болото. Евреи его круга имели один идеал — стать не евреями, и не чешскими не евреями, а немецкими не евреями. Короче говоря, я уговорил его пуститься в авантюру. Я повёл его в тёмную аллею, туда, где когда-то было гетто, и там был публичный дом. Мы поднялись по кривой лестнице. Я открыл дверь, и то, что мы увидели, казалось декорацией на сцене: проститутки, сутенёры, гости, мадам. Никогда я не забуду этого момента. Кафка начал дрожать всем телом и тянуть меня за рукав. Потом он повернулся и бросился бежать с лестницы с такой быстротой, что я испугался, что он ногу себе сломает. Очутившись на улице, он остановился — его стало рвать как школьника. По дороге обратно мы проходили мимо старой синагоги и Кафка начал говорить о големе. Кафка верил в существование голема, и даже в то, что в будущем может появиться ещё другой. Должны быть какие-то магические слова, которые могут превратить кусок глины в живое существо. Разве — согласно кабалле — не Бог создал мир тем, что произнёс святые слова? Всё началось с Логоса.

Да, всё это одна огромная игра в шахматы. Всю мою жизнь я боялся смерти, но сейчас, когда я стою на пороге ее — я перестал бояться. Ясно, что мой партнёр хочет медленно играть. Он будет продолжать забирать мои фигуры одну за другой. Сначала он лишил меня привлекательности, привлекательности

артиста, он превратил меня в так называемого писателя. Не успел он это сделать, как он наделил меня писательской спазмой. Его следующим шагом было лишить меня моей мужской силы. И всё же я знаю, что он далёк ещё от того, чтоб объявить мне шах и мат, и это придаёт мне силы. В комнате моей холодно — пусть будет холодно. У меня нет ужина — я не помру без него. Он саботирует меня и я саботирую его.

Как-то поздно ночью я возвращался домой. На дворе мороз обжигал, и вдруг я понял, что потерял ключ. Я разбудил дворника, но у него не было лишнего ключа. От него несло водкой и его собака укусила меня за ногу. В прошлые годы я был бы в отчаянии, но теперь я сказал моему противнику: "Если ты хочешь, чтобы я схватил воспаление лёгких — я против этого ничего не имею". Я оставил дом и решил пойти на станцию Вена. Ветер чуть не унёс меня. В это ночное время мне пришлось бы ждать по крайней мере три четверти часа прихода трамвая. Я проходил мимо союза артистов и увидел в окне свет. Я решил зайти туда. Авось я смогу провести там ночь. На лестнице я наступил на что-то и услышал звенящий звук. Нагнулся и поднял: ключ. Мой ключ! Шанс найти ключ на тёмных ступеньках этого здания — один на биллион, но повидимому мой противник побоялся, что я могу испустить дух раньше срока. Фатализм? Назовите это фатализмом, если хотите.

Джек Кон поднялся и извинился, говоря, что хочет позвонить по телефону. Я сидел и наблюдал за тем, как Бамберг на своих шатающихся ногах танцует с литературно образованной дамой. Глаза его были закрыты, он прислонил свою голову к ее груди так, как если бы это была подушка. Казалось, что он и танцевал и спал одновременно.

Джек Кон отсутствовал долго — гораздо дольше, чем обычно нужно для звонка по телефону. А когда вернулся, монокль в глазу его блистал.

"Догадайтесь, кто в комнате рядом?" — сказал он. — "Мадам Чиссик! Великая любовь Кафки".

"Неужели?"

"Я рассказал ей о вас. Идём, я хочу вас представить ей".

"Нет".

Почему вы не хотите? Женщина, которая была любима Кафкой, стоит того, чтобы хотеть познакомиться с ней".

"Мне не интересно".

"Вы застенчивы, это причина. Кафка тоже был застенчив — так застенчив, как ученик ешивы. Я никогда застенчивым не был, и это может быть было причиной, почему я ничего не достиг. Дорогой друг, мне нужно ещё двадцать грошей для швейцаров — десять для того, который в этом доме и десять для того, который в моём".

Я вынул немного мелочи из кармана и дал ему.

"Так много? Вы определённо ограбили сегодня банк. Сорок шесть грошей! Пиф – паф! Ну, если существует Бог, он вознаградит вас. А если нет, кто же тогда играет всегда в шахматы с Джеком Коном?".

Исаак Башевис Зингер
Перевод Джеммы Бидер

*

Ни к чьему не примыкая стану
И ничьей не покорясь звезде,
Я уже нигде своей не стану,
Дома не найду уже нигде.

Сквозь земные горькие обиды
Чужестранкой призрачной бреду, —
Как печальный житель Атлантиды,
Уцелевший на свою беду.

Лидия Алексеева

*

Как льды обречены на таянье,
Обречены мы на сомнения.
О, гамлетовские метания
В припадке остром самомнения!

О, гамлетовские листания
Души, как книги непрочитанной,
О, эти робкие восстания
Из любопытства нарочитого!

Ау, борцы за правду, где же вы?
Когда же вы? Эй, да куда же вы?
Вам лучше, улыбаясь бежево,
"Быть иль не быть" тянуть адажио?

Сомнения, недоумения —
"Как граф Толстой быть!" — графомания;
Вам и в любви не до умения —
Влечёт вас к нимфам — нимфомания.

Вы забываете: месть — мстительна,
Страсть — страстна и логична логика,
Вместилище добра — вместительно.
А вы твердите: Тавтология!

А может, шатки наши знания?
А может, упрощаем сложности?
А может быть, души метания
Совсем не сёстры осторожности?

Как льды обречены на таянье,
Обречены мы на сомнения?
О, гамлетовские метания!
Самокопанье? Самомнение?

Михаил Крепс

СКАЗКА

ЕРЕМА-ДУРАК И СМЕРТЬ

В одном не очень отдаленном государстве жил Ерема-дурак. Такой дурак, что совсем необыкновенный. Странный человек, одним словом. Даже в день, когда он родился, стояла какая-то нехорошая тишина. Словно вся деревня вымерла. Петухи и те не кукарекали.

— Нежилец, неверное, младенец, — прошамкала тогда умная старуха гадалка.

— Еще какой жилец будет! — оборвала её другая старуха, которая жила в лесу.

Однако до десяти лет ребенок вообще ничем себя не проявлял. "Щенок — и тот себя проявляет", — задумчиво шептались старики. — Отколь такое дитя пришло?".

Даже слова ни одного Ерёма не произнес до этого сроку: ни умного, ни глупого. А в двенадцать лет пропал. Радетели воют, кричат: хоть и дурень-ребенок, а все-таки своё молоко. Искали по естеству: нигде нет, куда ни заходили: ни в окрестных деревнях, ни в лесах, ни в полях раздольных. Решили искать по волшебству: ещё хуже получилось. Сестрицы клубок смотали, заговорные слова пошептали, а клубок вывел на чучело. Стоит среди леса дремучего на полянке чучело, а огорода нет и охранять нечего. Клубок даже от страха развязался.

Делать нечего: зажили без Еремы. Собаки и те два дня исть не просили. От глупости, конечно. Словно их Ерема онелепил.

Ну, а так жизнь пошла хорошая: песни за околицей поются, дух в небо летит, по утрам глаза светлеют от сказок. Сестрицы Еремушки на хоровод бегали — далеко, далеко в поле, где цветы сами на грудь просятся и пахучие травы вверх глядят.

А через семь лет Ерема показался. Словно из-под дороги вышел. За плечом — котомка. Лапти такие — будто весь свет обошел. Зато рубаха чистая, выглаженная, точно он прямо из-под невестиных рук появился. И песню поёт, ну такую глупую, что вся деревня разбежалась. Но делать нечего: стали опять жить с Еремой.

"Пора бы его обучить чему-нибудь, — чесали затылки деревенские старики. — Таким темным нехорошо быть".

Спросили у нево, да толку нет. Тогда решили обучить охоте. Целый год маялись, потом в лес пустили: а мальчонку за ним по пятам присматривать. И видит малец: Ерема ружьё на сук повесил, свечку в руку взял, зажёг, и со свечкой на зайца пошел. Заяц туды, сюды, и издох от изумления. Но Ерема ничем этим даже не воспользовался: прет через лес со свечкой напрямик. А куды прет, зачем? Даже нечистая сила развела руками.

Другой раз на медведя пошел. Но дерево огромное принял за медведя, на верхушку забрался и лапоть сосет. Целый день сидел, без всякого движения.

Худо, бедно, видит народ: надо его чему-нибудь попроще обучить. Сестрицы плачут за него, все пороги у высшего начальства обили. Но кроме как ягоды да грибы собирать — ничего проще не придумали. Дали ему корзинку, палку — девица сладкая по картинкам в книге грибы да ягоды различать его учила. Пошел Ерема-дурак в лес. Приходит назад — у девицы над головой как корона из звезд вспыхнула. Смотрят в корзинку — там одни глаза. Много глаз разных устремлены как живые, не на людей, а куда — неизвестно. Все в обморок упали. Встают — а глаз нет, корзина пустая. Ерема спит на печке, как дурак набитой. Ничего не понимают. Все бегом — к колдунье. Так и так, значит, нешто Ерема — колдун? Пошла колдунья в избу, посмотрела в рот спящему Ереме и сказала:

— Не нашего он племени. Дурак он, а не колдун.

А про глаза отгадать не смогла. Гадала, гадала, и все глупость получалась. То козел хохочет, то свиньи чернеют не спроста.

Обозлилась колдунья. Метким взглядом глянула на Ерему: а он дрыхнет, ноги раскинул, рот разинул, и почти не дышет.

— Надо на ево, такого паразита, погадать, — проскрипела она. — Посмотрим, что выйдет.

Вынула грязную колоду, чмокнула её раза три, перевернула, на Ерему покосилась — и давай раскладывать.

Раз раскинула — пустое место получается, два раскинула — пустое место, три — то же самое. Судьбы нет, жизни нет, дома нет, жены нет, вообще ничего нет. Ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Первый раз у первого человека в мире такое выходит. Колдунья струсила, видит, дело плохо, ни туды и ни сюды, плюнула, шавкой плюгавой обернулась — и бежать. До дому — ибо даже у колдунов дом бывает.

Народ тогда вообще во всем разочаровался. Ерема наутро встал, по грибы пошел, да листьев сухих принес. Все ахнули, и махнули на него рукой. Разные дураки бывают, разной степени, но этот был — абсолютный. Никогда такие не появлялись.

Стали жить да быть, как будто Еремы вообще нету. "Мысли от него только мешаются", — жаловались бабоньки. Но хоть и набитой дурак, а все-таки по виду — человек. Надо было ему жену сыскать. Без жены — под небом ничего быть не может. Но какая за него пойдет? Вдруг сладкая девица — которая по картинкам грибы его различать учила — говорит: "Я пойду за него замуж". Все так и обомлели. Она сказала: "Я за него пойду", потому что у самого дурака спрашивать было бесполезно: все равно ничего не поймет. Впрочем, он иногда говорил, но ни по уму и ни по глупости, а как — никому непонятно.

Значит, решили объявить про это событие дураку всем миром. Собрали сход, сладкую девицу разодели, радетели её плачут: "За кого, мол, ты выходишь?", нищие песни поют, девица отвечает: "а мне ево жалко". Ерема стоит посереди, в штанах, только головой в разные стороны поводит. Сладкая девица подходит к ему и говорит: "Я тебя люблю!". Как только сказала она эти слова, вдруг тьма объяла небо, грянул гром, и деревня исчезла. Стоит Ерема один, как ошалелый, а кругом него тьма и пустота. Потом на миг появились опять те, кто были вокруг него, но уже в виде призраков. Сладкая девица на него смотрит — а глаза словно внутрь себя уходят. Ужас бы любого объял, да для таких дураков и ужасов нет. Мигнула опять деревня призрачным своим бытием — и исчезла: куда, не стоит и спрашивать.

Гром грянул, все совсем пропало, даже призраки. Не стало и девицы. Только эхом отдалось: "Я люблю тебя!".

Больше уже на месте той деревни ничего нет. А дурак в лес ушёл. Бродит — не бродит, ест — не ест, пьёт — не пьёт. Хотел его нечистый заплутать, сам заплутался — и тоже исчез. Повеселел лес.

...Много годов с етих пор прошло. Ерема-дурак в городе объявился. Люди добрые к нему пристают: поучись. А чему учиться-та? Ну, начать надо с главного, с божественного. Но у Еремы божественное не получается: все делает шиворот-навыворот. Опять ни туда, ни сюда. Наставитель осерчал: "ну, раз у тебя с Богом не лады, иди к сатане!". Ну и что, пошли к сатане. На краю городка человечек жил: полу-козел, полу-кошка. Говорили, что у него с сатаной самые уютные отношения. Человечек Ереме: "Ку-ку", а Ерема ему: "Му-му". Человечек ему: "Убей", а Ерема вопит: "И так мертвый!". Взмок полу-козел, полу-кошка. Принесли с подвала дите розовое, нежное, как мармелад. Человек дает Ереме нож: "Переступи!", а Ерема только чихнул. Полу-козел, полу-кошка завизжал: "Ты чего насмехаешься..!" и в глаза ему глянул. Глянул — и отнесло его. "Уходи, — издалека кричит Ереме, — не наш ты, не наш!".

Ну, если не светлый, не адский, значит земной, пустяшный, — решили в городе. Но про то, что Ерема ничего земного в руки не брал (потому что из рук все валилось)— мы уже знаем. И поэтому ничего с Еремой у горожан етих, конечно, не получилось. "Что ж он — никакой!" — испугались они. "Ежели хотя бы он тютя-вятя был, — рассуждал один старичок. —Тютя-вятя, он хоть что-то делает, хотя сквозь сон. Вяло, а хоть что-то делает. А етот — вне всего!".

"Ничего, как смерть подберется, так запляшет по-человечески, — говорили другие. — Смерть, она кого хошь научит".

И правда, то ли сглазил кто, но с Еремой скоро очень нехорошие шутки стали происходить.

Жил он на краю городка, в маленьком домике, а за огородом ево и за банькой начиналось поле. А за полем — кладбище. Совсем недалеко. И начал Ерему кто-то с кладбища к себе звать. То платком белым махнет ввечеру, то пальцем поманит какая-то высокая фигура у могилы. Но у дурака один ответ: исть после

этого начинает. Наварит каши, нальёт маслица и уписывает. Осерчали тогда упокойники. Один малыш ему в дверь стукнул: приходи, мол, к нам. Ну, ланно, делать нечего: собрался Ерема к нежильцам.

Соседушка его, приметливый, все понял и смекнул: конец дураку пришел. Да любопытный был, дай-ка, думает, подсмотрю. Пробрался по кустам, к кладбищу и глядит: Ба! Ерема при свечах на могиле с упокойниками в подкидного играет! Лица у неживых масляные, довольные, хотя все время в дураках оказываются, проигрывають. Словно зачарованные. Один из них даже песню запел, другой был — при галстуке.

Оставили после этого Ерему в покое. Ни один мертвяк не вылезал.

Худо-бедно, прошло несколько недель. Как-то возвращался Ерема, сам не зная откуда, по тропинке и вдруг как из под земли музыка полилась. Свет луны упал прямо перед ним на траву. И в свете этом красавица — сладкая девица — появилась, та, которая полюбила его в деревне. Но не сладкая она была уже, а в тоске вся, и как бы прозрачная, хотя и нежная.

— Что ж, Ерема, — говорит она, — погубила меня любовь к тебе... Погубила...

Ерема на неё посмотрел:

— Да была ли ты?... Кто ты есть-то?

Заплакала девица, но ангел с небес бросил в неё молнию и, лишив вида человеческого, взял душу её к себе.

А Ерема домой поплелся, только в затылке почесывает. Опять покой для нево наступил. Только знает на печи сидит, ноги свеся, и на балалайке поигрывает (вдруг сам собой научился бренчать).

Тогда уж неживое царство только руками развело. Но решили к ему Марусю подпустить. В народе говорили, ежели Маруся на кого глянет, тому смерти ни с тово, ни с сево, и к тому же лютой, не миновать. Хужее чорта лысого ента Маруся была.

Ну, значит, обрядило неживое царство Марусю свою на выход, к людям. Как все равно на выданье. Приукрасили маненько, потому что в настоящем своем виде её даже к иным упокойникам не выпустишь: не вместят. Колдовали, плявали, сто

заговоров зараз читали. Наконец, выпустили красотку на свет Божий. Идёть ета Маруся себе по дорожке из лесу, так даже трава сама не своя становится. Потому Марусю такую на белом свете и держать долго нельзя. Захиреют здешние от ейных глаз.

Подошла она к Ереминой избушке и в окно глянула. Но Ерема и сам на неё посмотрел. Она — на ево, а он — на её. Аж изба немножечко затряслась. Тараканы и коты попрятались. И чувствует ета Маруся, что она понемножку от Ереминого взгляда в живую превращается. А он ничего не чувствует, потому что Ерема с малых лет своих завсегда бесчувственный был. Как камень... Но сказать надо, что той Марусе живой быть, все равно как нам с вами в аду в зубах самого диавола кувыркаться. Не любила жизнь девочка. Хуже для неё казни не было, как живой стать. Закричала Маруся дурным голосом, в ужасе на руки свои смотрит: вроде полнеют они, кровью наливаются. Гикнула, подпрыгнула вверх; в царство навсегда мертвых лик свой обернула: помощи просит. Оттуда тогда на неё мраком дохнули; ледяной холод заморозил кровь в оживающих руках; голос человечий, вдруг появившийся, пропал в бездну; зачернели исчезающие глаза...

Еле выбралась, одним словом. Неживое царство тогда решило сдаться. "Эдак он нас всех в живых обернет", — решили на совете.

"Плюнуть на ето надо, чаво там, — сказал на земле помощник мертвого царства. — Пущай евойная личная Смерть за него берется. Не наше ето дело".

И взаправду, если уж Личная Смерть придет, никуда не денешься: срок пришел. Етта тебе не чорт поганый, от которого крестом спасешься, а от такого существа ничего не поможет.

Но вышел ли срок Ереме? Спросили об том у ево личной Смерти. Та просила подумать денька два-три. "Чаво думать-то, — осерчал помощник. — В книгу живых и мертвых посмотри — и дело с концом".

— Да он у мене нигде не записан: ни в живых, ни в мертвых, — ругнулась в сердцах Личная Смерть. — Надо Великому Ничто помолиться, может, подскажут, куды такого совать. Думаю, ошибка тут какая-нибудь.

— Ох, бездельница, — покраснел от злости помощник. — Все норовишь срок оттянуть. Жизнелюбка!

— Сам жизнелюб, — огрызнулась Смерть. — Иди-ка своей дорогой...

Ну, так матерились они часа два-три, но Смерть на своем настояла. Через четыре дня идёть к помощнику.

— Вася, — говорит, — сроков вообще никаких нету, сказали: когда хошь, тогда и иди.

— Ну, так ты сейчас захоти, — намекнул помощник. — А то вертится он тут, ни живой, ни мертвай, и оба царства смущает.

Личная Смерть отвечает: "Ну, ланно, уговорил! Пойду.".

— Подкрепись только, — охальничает помощник.

Знает: никакая Смерть ему не страшна, потому что он и так уже давно мертвый.

И вот Личная Смерть собралась. Сурьёзные времена для Еремы настали. Тут как ни крутись, а ответ держать придется. Тем временем Личная Смерть заглянула в душу Еремы и ужаснулась: куды ж такого девать? Взять душу просто, а вот, что с ней потом делать, задача не из легких. Оно, конечно, не совсем мое это дело, думает Смерть, но ежели убить такова беспутного, то чушь получится — после смерти у каждого путь должон быть. Умненькие по-земному — в ад пойдут, умненькие по-небесному — ввысь, для глупых, добрых, злых, для всех пути есть. А етот как ниоткудава. Ни в рай его не засунешь, ни в ад, ни в какое другое место. Но делать нечего: умерщвлять, так умерщвлять. Однако, на деле оказалось, Смерть далеко не всезнайка. Не дано ей тоже многое из тайнова знать.

Явилась Смерть к Ереме, разом, в горницу, поутру. Глянула на Ерему, и только тогда осенило её. Нет для него ни смерти, ни бессмертия, и жизнь тоже по ту сторону его. Не из того он соткан, из чего мир небесный и мир земной созданы, ангелы да и мы, грешные люди. И есть ли он вообще? И видит Смерть, что Ангел, стоящий за её спиной, и мерящий жизнь человека, отступил. Словно в пустоте оказалась Смерть, одна-одинешенька. "Но вид-то его ложный, человеческий, должен пропасть, раз я пришла" — подумала Смерть. А самой страшно стало. Но видит: действительно, меняется Ерема. Сам внутри себя спокоен, на Смерть и внимания не обращает, а облик человеческий теряет.

Но что такому облик? Вдруг засветился он изнутри белым пламенем холодным, и как бы несуществующим. Вид человечий распался, да и облика другого не появилось. Сверкнули только из пламени глаза, обожгли Смерть своим взглядом так, что задрожала она, и ушел Ерема в свое царство — собственно говоря, он в нем всегда пребывал. Но что это за царство, и есть ли оно, не людям знать. Ни на земле, ни на небе, нигде его не найти. Только вспыхнуло пламя, сожглась изба, Смерть одна стоит среди угольков, пригорюнилась. Платочек повязала, нищенкой юродивой прикинулась и пошла. Обиделась.

А жизнь кругом цвететь: мужики мёд пьют, баб цалують, те песни поют, старушки в Церквах Божьих молятся. Пока Смерть не придёт.

Юрий Мамлеев

*

Как-будто свернулось пространство
И время отхлынуло в нети.
Как-будто от странного транса
Очнулся на чуждой планете.

И я прозевал, не заметил,
Когда совершилась посадка.
Космический холод, да ветер,
Да горечь шестого десятка...

Не знаю, как вышел из моды.
Не знаю, как стал иностранцем.
Отхлынули дымные годы,
Как тёмные воды — в пространство.

Юрий Иофе, Вайльмюнстер, 20.3.76

СТРАННЫЙ ЗАКАТ

"На далекой звезде Венере..."
Николай Гумилёв

Тускнея за зубцами древними,
Закат уныло обливает
Поля с фруктовыми деревьями,
Каких в России не бывает.

Какой-то призрак мутнорозовый,
Пришелец из другого века.
А в небе просинь, в небе прозелень
И тьму не отделить от света.

В какой-то траурной гармонии
Всё замерло и отзвенело.
Вокруг меня — страна Германия,
А, может быть, звезда Венера.

На горизонте в дымном холоде
Садится Солнце, замирает.
Я знаю, Солнце в тёмном городе
Надёжно на ночь запирают.

И там хранят в бетонном бункере,
Содержат в заключеньи долгом,
Его томят в холодном бункере,
Чтоб не мешало кривотолкам.

Всё это бредни алкоголика!
А, может быть, тоска по раю?
А, может быть, — к чему символика? —
Я нынче ночью умираю.

Юрий Иофе, Бад-Фильбель, 25.9.76

МНИМЫЕ ВЫМЫСЛЫ

ЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАИКАНЬЯ

Заикаться я начал, по словам моей матери, лет с шести. Была ли тому какая-нибудь явная причина, она не знала или не хотела мне сказать. Я такой причины не помнил и не помню. Заиканье было не страшным, и досаждать мне стало лишь в школьном возрасте. Лет с четырнадцати усилилось. Учителя избегали меня спрашивать в классе, но оказалось, что на экзаменах я заикаться переставал. В разговоре с товарищами, с близкими, почти не заикался; начиная волноваться, заикался; сильно волнуясь, говорил безукоризненно. Самое неприятное было звонить по телефону (автоматического тогда не было), или входить в магазин, где тебя вопросительным взглядом встречает продавец. Надо ведь ему незамедлительно сказать, что тебе нужно; как и барышня ждет, чтоб ты номер выговорил, например наш — 24-56. Тут-то и получается конфуз. Иной раз и трубку повесишь или в магазин не решишься войти. Может случиться, что и выйдешь оттуда, так ничего и не спросив. Решили меня лечить, и осенью 11-го года, когда я зубрил латынь для экзамена при Округе, отправили на первый сеанс — не к регулярному медику, а к знаменитому гипнотизеру-целителю Оноре.

Маэстро этот (ему очень подошла бы такая квалификация), изящный, седой, с осиной талией и белоснежным изысканным бельем, снимал барскую квартиру неподалеку от Невского. Врачем он не был, права практики не имел, но полиция, по внушению свыше, его не беспокоила. Принял он меня в богато

обставленном кабинете; превосходно говорил по-русски, но вид имел француза с головы до ног, — особенно до ног, потому что обут он был в лакированные башмачки с французским каблуком. Очень деликатно стал меня расспрашивать, а я, как на зло, отвечал ему совсем не заикаясь, но когда велел он мне прочесть страничку медицинской книги, я в должной мере обнаружил свой порок. Отвели меня тогда в комнату, где стояло несколько покрытых байковыми одеялами и снабженных подушками кроватей, на одной из которых лежал мальчик года на два моложе меня. Я лег на кровать, стоявшую рядом, и через семь-восемь минут, танцуя на своих каблучках, вошел к нам monsieur Honore.

Начал с меня. Сел на мою кровать, велел мне закрыть глаза, положил дамскую свою ручку мне на лоб, на глаза, потом на грудь, приговаривая тихонько "спите, спите". Ни малейшего сопротивленья я этим увещаниям не оказал; охотно бы заснул; еще охотнее расстался бы с заиканьем. Об этом мой целитель и стал меня теперь просить, тут же меня уверяя, что я вовсе и не заикаюсь, а говорю вполне нормально. Я все это слушал, не открывая глаз, но и не впадая даже в легчайшую дремоту. Побормотав надо мной минут пять, он пересел на кровать моего соседа. "Спите, спите", услыхал я шопот, но вскоре после того и легкий присвист ставшего совсем ровным дыханья, после чего вполголоса, но повелительно было сказано: "Подымите руку! Двигайте ею! Согните в локте!". Тут я чуть приоткрыл глаза и увидел, что все приказания эти исправно выполнялись. Затем целитель, скрипнув лаковым каблучком, удалился, а вскоре после того пришла женщина в белом халате, разбудила мальчика, познакомила меня с ним, рассказала, что и он начал сегодня свое леченье и что у него парализована правая рука. Наяву и в самом деле пошевелить он ею не мог. Так мы с ним и возвращались в этот дормиторий, где я ни разу не заснул, по два раза в неделю, в те же дни; но результаты нашего леченья, после десяти сеансов, оказались противоположными: паралич у мальчика полностью исчез, а мое заиканье осталось точно таким же, как и прежде.

Тогда препоручили меня законопослушной медицине в лице молодого, но уже достигшего немалой известности доктора

Доброгаева, — с придыханием вместо "г", как произносил благодушный этот малороссиянин свою фамилию. Попробовал и он гипноз, бросая мне в глаза растопыренные пальцы обеих ладоней. Я покорно закрывал глаза, но не засыпал. Тогда он отправил меня, с письмом, к самому Бехтереву, учителю своему, принимавшему пациентов на казенной квартире в самом святилище Военно-Медицинской Академии. Знаменитый невропатолог принял меня по-генеральски, да и облечен был в серую генеральскую тужурку на красной подкладке и с красными нашивками. Седой. Большое помятое лицо. Огромный письменный стол. "Садитесь". Прочел письмо, взял со стола металлический блестящий шарик на тонкой ручке и пересел в кресло напротив моего.

— Сосредоточьтесь! Смотрите на шарик, в самый его центр! Вот так! Теперь закройте глаза. Спать, спать, спать!

О, как вознадеялся я: усну и навеки избавлюсь... Не тут то было. "Спать, спать!", а я не сплю. Ни малейшего тумана в голове. Бехтерев сел опять за стол, оторвал листок от блокнота, написал несколько слов, адресовал конверт Доброгаеву и вручил его мне в обмен на ассигнацию, вполне соответственную его репутации.

Доброгаев на следующий день послание огласил: "Упрямый, себе на уме субъект. Сопротивляется гипнозу", и со вздохом прибавил: "Придется лечить вас упражненьями". Упражнения состояли в чтении нараспев дурацкого текста, с регулярными вдыханьями и выдыханьями. Заставлять себя заниматься этим, два раза в день, удавалось мне плохо. Он меня учил, поправлял. В приемной его, дожидаясь очереди, брал я с полки Крафт-Эбинга и пачкал себе воображение описанием сексуальных извращений. Продолжалось хромое это лечение до самой Италии, где я конечно никаких упражнений не делал, как и на даче, после нее. Осенью же, будучи уже студентом, опять пожаловал в ту же приемную, где помешал мне ознакомиться с самыми разительными разновидностями описанных Эбингом аберраций никто иной, как будущий епископ Кассиан, ректор Парижского Богословского Института. Он меня заметил на лекциях по раннему христианству профессора Андреева, чьим он

был учеником. Он был старше меня, оттого первый ко мне и подошел; взглянул на меня своими кроткими карими глазами и сказал:

Бб-ее-зобразов, Сергей Сер-геич, ддавайте познакомимся.

Мы с ним и еще раз встретились там же, но вскоре после этого Доброгаев, поговорив со мной об упражненьях, подумал, положил мне руку на плечо и сказал:

— Знаете что? Прекращайте лечиться. Все равно вы ленитесь, а заиканье у вас само пройдет. Не успеете университет окончить, как оно у вас сойдет на нет, или почти. Вот у старшего вашего товарища пройдет едва ли. Хоть он и старается, не то что вы. Не знаю, сумею ли ему помочь.

Он все-таки сумел. Владыка растягивал гласные, запинался, но мог и в церкви служить, и лекции читать. Доброгаев стал видным специалистом по недостаткам речи. Перелистывая в Германии библиотечный каталог, я узнал, что его труды печатались по-немецки. А со мной все так и было, как предсказал этот умный и честный врач. Больше всего мне помогло чтение вслух стихов, никогда не вызывавшее заиканья. Помогли мне и те, кто в те годы меня слушали. Настоящих Бехтеревых моих звали Катя, Надя и Лёля.

Читатель, потерпи. Скоро познакомишься с ними и ты.

ТЕТУШКА ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Пропустить о ней рассказ отозвалось бы в истории моего "воспитания чувств" большим пробелом. Относится он к лету после моего возвращения из Италии (1912), к преддверию моих университетских лет. Мне — семнадцать, а сережиной тетушке не более двадцати семи, хоть и мать она двух прелестных девочек, шести и четырех лет, хоть краса ее и не девичья, а вполне зрелая женская краса.

Было четверо сестер Конецких (пароходство на Волге). Мои родители познакомились с ними, когда все они были уже замужем. Старшую, Александру Ивановну, знали мы только по наслышке, с другими тремя были знакомы довольно хорошо.

Таисия Ивановна, "пышная блондинка" (как некогда

выражались не слишком разборчивые авторы) была бы настоящая красавица, если б не располнела до размеров редкостных и, на мой мальчишеский взгляд, совершенно невозможных. Когда она обедала у нас, в Петербурге, неизменно подавалось к столу розовое шампанское — Moet et Chardon, cremant rose —, которое она предпочитала всякому другому. Отпив глоток и еще глоток из широкого бокала, она улыбалась удивительной улыбкой, не то невиннейшей, не то как раз наоборот, поднимала ручки — маленькие, точеные, в драгоценных кольцах — ладонями вперед, к обнаженным плечам, складывала их розовыми ногтями вниз и, как бы танцуя, словно крылышками помахивала ими, — что неизменно приводило меня в какое-то возмущенное смущение. Разведясь с первым, нормальных размеров, мужем — кривым и грызшим ногти носителем великолепной двойной фамилии — она вышла за разведшегося со среднего дородства женой широкобородого добродушного пивовара, одинаковой с нею толщины, который, ради столь триумфальной оказии, приобрел экстра-широкий автомобиль и заказал каретнику монументальный экипаж, где они могли бы, с тем же удобством, помещаться рядом.

Илия Ивановна, следующая по возрасту сестра, была женой гражданского инженера Эйзенштейна, построившего в Риге изрядное число доходных домов, но фуражку которого, с винно-красным околышем, видел я только раз или два в жизни, и запомнил лучше, чем его лицо, что была она ему вовсе не к лицу. Юлия Ивановна жила в то лето с сыном своим Сережей, на тетимилиной даче, рядом с нашей, и часто наведывалась к нам. Была премилая и живей умом, чем Таисия, а быть может и чем Ираида, но миловидной я ее не находил, хотя Петр Денисович Кедров, считавший себя, по старинному холостячеству своему, большим знатоком женщин, любил уверять, что она очень недурна. "Elle a du chien" говаривал он, "пикантно-пухленькая, да и ножка, взгляните, какая у нее ножка!". Это и в самом деле был ее козырь. И обувала она эти ножки очень тщательно.

Ираида Ивановна — наконец-то я вижу ее вновь сквозь толщу лет! — была не просто, была сокрушительно хороша собой. Немножко плотна, но в остальном без единого изъяна.

Почти моего роста, бела, стройна, с каштановыми мягкого блеска волосами, легчайшим пушком над верхнею губой, чудесными темно-синими глазами, и не меньшей нежности кожей лица, чем у ее дочек, очень на нее похожих. Досталась она в жены хирургу-гинекологу Петерсону, человеку бравому, рослому, со свекловичным румянцем на поросших черными бакенбардами щеках, в разговорах усыпительному, но к которому неизменно, за обедом, обращались с просьбой разрезать гуся или индейку, после чего он вставал и оперировал птицу с профессиональным щегольством. Жили они летом на море, в Териоках, бывали у нас и мы ездили к ним, но Петерсона видели редко. Народонаселение России росло. Он был поглощен своею практикой.

Одиннадцатого июля отпраздновали мамины именины; пятнадцатого — мои. На маминых Ираида Ивановна не была; на мои пожаловала. С дочками, но без мужа, и привезла мне связку из по меньшей мере тридцати, на длинных стеблях, чудесных темно-красных роз. Никто мне цветов не дарил. Никаких до тех пор не получал я от нее подарков. Когда я вышел к гостям, розы лежали на столе, и мама мне сказала, указывая на них: "Поблагодари Ираиду Ивановну". Мне было страшно на нее взглянуть, еще страшнее покраснеть, но я почувствовал, что не краснею, а бледнею. Издавна она мне нравилась, очень нравилась. С трудом заставил я себя поглядеть в ее сторону и сказать: "Что вы, Ираида Ивановна, как много! Вы меня балуете". Она ответила совершенно равнодушно: "Вы начинаете жизнь, поступите скоро в университет. Это вам на счастье", но я заметил, что она вспыхнула и что глаза ее от этого стали еще синее. Заметил также, что она была вся в белом, как и я. Мне следовало к ней подойти, поцеловать ей руку, но я предпочел расцеловать ее девочек, подбежавших здороваться со мной.

Лакомились земляникой со своих грядок, пили шоколад или чай со сливками, а потом с застекленной веранды спустились в сад. У Ираиды Ивановны в руках была большая соломенная сумка, с которой она вероятно ходила к морю в Териоках. "Знаете, — сказала она мне, — я хочу выкупать в пресной воде моих девочек. Покажите мне, где у вас купальня.". Я повел их по

косой дорожке мимо огорода к бане, а оттуда по тенистой тропинке вдоль реки, довел до мостика, ведущего в купальню. В голове у меня было пусто. Думал только: я весь в белом, и она в белом, и обе девочки тоже беленькие.

— Пойдемте с нами. Вы посмотрите, как они плавают.

Очень я был удивлен, но не заставил себя просить. Мы вошли, Ираида Ивановна затворила дверь на задвижку, быстро совлекла платьица со своих дочек, и они оказались в смешных трусиках, красно-белых, в поперечную полоску.

— Ведь тут глубоко, Ираида Ивановна. Они у вас и в самом деле умеют плавать?

— Вовсе не умеют. Я пошутила. Пусть побарахтаются, держась за перила лесенки. А если начнут тонуть, вы же их спасете?

Спасать мне никого не пришлось. Девочки барахтались недолго. Ираида Ивановна быстро их вытерла мохнатым полотенцем, переменила им трусики, облекла их в платьица, выпустила их в дверь, притянула дверь к себе, задвинула вновь задвижку — и замерла, не снимая с нее руки и не оборачиваясь ко мне. Я стоял совсем близко за ней, почти моим было ее дыханье. Что она делает, мелькнула мысль, дети сейчас позовут, и в тот же миг я поцеловал ее между лопаток страстным, но не хищным, долгим нежным поцелуем, чуя сквозь прошивки полотна персиковое ее тепло. Она повела плечами, отодвинула задвижку, и мы вышли. Девочки резвились на площадке возле мостика. Она кликнула их, подобрала чуть-чуть юбку и побежала вверх по тропинке. Я дурак-дураком следовал за ней.

Дальше был туман сумбурного ожиданья. Детей кто-то увел. Вечером я провожал ее через наш сад к угловой калитке. Она сказала: "Дайте мне руку, я ничего не вижу". Я взял ее под руку. Она молчала, и опять ее дыханье было моим, сердце билось заодно с моим. Мы шли в ногу, легко, точно во сне, едва касаясь земли. Я чувствовал близость ее груди — предплечьем — и ее руку сжимал рукой. Сжимала и она мою, но ни разу не повернулась ко мне лицом. У калитки прошептала: "Так — хорошо. Больше ничего не надо. Больше ничего не может быть".

Недалеко от калитки была у нас в саду скамейка. Я на ней

просидел добрый час, ощущая душевную боль, но и страшную усталость, гораздо большую, но чем-то все же подобную той, которую позже ощущал после иных ночей, проведенных совершенно по-другому.

Ираида Ивановна больше в то лето к нам не приезжала. Но эпилог у нашего недоромана все таки был, — в Териоках, у нее, недели через три.

Родители мои, я и еще кто-то у нее обедали. Петерсон разрезал индейку на славу. Рассказал несмешной анекдот. Гости смеялись. Она, как всегда, говорила мало, и была грустнее, чем всегда, но и сияла каким-то особенным сияньем. Вставая из-за стола, сказала мне:

— Хотите посмотреть на моих дочек? Они вас любят, часто о вас вспоминают. Теперь они спят. Мы не станем их будить. Пойдем.

Она привела меня в спальню, зажгла маленькую лампу с розовым абажуром. Было жарко. Девочки спали раскинувшись в своих кроватках. Старшая уткнулась лицом в подушку, плечики ее были обнажены. Ираида Ивановна еще немножко стянула с них простынку, наклонилась к дочке и поцеловала ее между лопаток долгим, долгим поцелуем. Подняла на меня совсем светло сияющие глаза и махнула рукой: уходите.

Сама она вернулась в гостиную не сразу. Мне показалось, что в лице ее что-то изменилось. Подпудрилась? Плакала может быть? Но была все так же несказанно хороша.

С. Э. ОПУС 1

Или его первая режиссерская находка. Тогда же это было, тем же летом 12-го года, но с Ираидой Ивановной не имело ничего общего. Ее никогда я не забывал, а опус выпал из моей памяти на долгие годы. Сереже — или Рорику, как его звала мать — было четырнадцать лет. Ребенком он мне вовсе не казался, но из-за смешной между нами пропасти в три года, мне как-то не удавалось найти с ним общий язык. Мы общались очень мало. Позже я видел его лишь раз, уже взрослым: встретил на углу Невского и Морской ровно через год после Октября. Узнал меня *он*, а то бы встреча и не состоялась. Он очень

изменился, казался старше своих двадцати лет и ужасно не понравился мне какой-то бабьей одутловатостью и дряблостью, нарочитой хлыщеватостью манер, нарочито небрежным разговором. Уже он жил и работал в той среде и на том поприще, где сыскал себе славу. Казался столь доволен собою, что я не решился его ни о ком, даже о матери его, спросить. Разговор наш был краток, и мы расстались навсегда.

Почти полвека спустя, в Венеции, брился я однажды утром в нашей комнате пансиона Конте, близ пристани Арсенала и, подойдя к окну, увидел большое торговое судно из Одессы, черного цвета, с надписью крупными красными буквами "Сергей Эйзенштейн". Ишь где Рорик нынче плавает, подумал я и стал следить за судном, уже приближавшемся к Джудекке. Мыло сохло на моих щеках. И вдруг вернулось ко мне, озарило меня то старое воспоминанье.

Незадолго до завтрака, в тот день, зашел Рорик на кухню тети Мили, увидел большую кастрюлю, кипевшую на плите и спросил кухарку, что это она такое им сегодня готовит. Кухарка ответила: "Вареный язык с горошком. Скоро будет и готов". Тогда он взмолился: "Отрежьте мне самый кончик. Страшно люблю". Кухарка отрезала. Он сунул его в рот и, выходя из кухни, спрятал за щеку. Затем поднялся наверх к матери, которая сидела в кресле и вышивала, держа у себя на коленях корзинку с принадлежностями для шитья. Быстро сказал, входя: "Мама, у тебя есть ножницы? Какой-то прыщ выскочил у меня на языке. Ах, вот они". Схватил, и — чик — кончик языка упал в корзинку. Юлия Ивановна откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Сынок долго не мог привести ее в чувство.

Эдгар Дега утверждал, что произведение искусства требует не менее сложной, хитроумной и хладнокровной подготовки, чем иные преступления. Скажем точней: чем преступления, имеющие шансы остаться безнаказанными.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАНЦКЛАСС

Назад, уж конечно назад (в порядке маленького поясненья). От студента к школьнику, от семнадцати к одиннадцати и двенадцати годам. Поздновато было бы записываться в

танцкласс первокурснику, пытающемуся, пусть и безуспешно, уразуметь обоснование интуитивизма. Это не значит, что танцовать было бы ему не вполне к лицу. Не калека ведь он, не увалень, а если заикаться не совсем отучился, что ж: ведь танцуют не языком. Но вот поди ж ты, не танцор, да и только.

— Отчего же? Не учили?

— Эх ма! Учили, как еще учили! Оттого и не горазд он танцовать.

Единственный танец, который безупречно я отплясывал в танцклассе, был pas des patineurs. Маруся, Мария Александровна Макарова, та самая, из Мариинского кордебалета, что так дружелюбно каталась со мной на лодочке за год до того, поначалу была мною довольна: пять позиций я усвоил так хорошо, что могу продемонстрировать их хоть сейчас; но когда дело дошло до вальса, до самого простого вальса, стала приходить в отчаяние, выражавшееся у нее взрывами нервного смеха, который находил я театральным. Не умел я как-то войти в это вращенье и круженье, становился аритмичен, и быстро сам присоединялся к отчаянию нашего хореографа. Вероятно, надо мне было учиться жить, прежде чем танцовать. Был я странный кое в чем мальчик. Обнять девочку за талию, держать ее руку в своей руке, прижимать ее всю к своей груди, кружась, и слышать порой биение ее сердца, казалось мне (если она мне нравилась, конечно) уже и в одиннадцать лет, столь райским блаженством, что вкушать его тут, на людях, в гостиной Бошняков, становилось, в моих глазах, чем-то предосудительным и непозволенным. В том конькобежном "па" хоть объятий нет, а тут... Должно быть оттого вальс мне так плохо и давался.

К тому же Маруся Бошняк, одного со мной роста и ровесница моя, прехорошенькая была девочка, и с ней Мария Александровна, не взирая на собственный ее выбор, постоянно и ставила меня в пару. А танцовать со мной, увы, хотелось не ей, а сестре ее, Олечке, на голову ниже меня и на два года нас моложе. Ее, будь она повыше ростом, не постеснялся бы я и к груди прижать, оттого что считал ее ребенком, "маленькой", и в этом качестве была она мне мила. Владели ею, однако, совсем не младенческие чувства: она ревновала меня к сестре, гневалась на

нее, а то и на меня; слезы в такие минуты затуманивали ее большие темные глаза...

Вот какие казусы случаются порой в танцклассах, даже и детских. Вот почему я и ездил к Бошнякам только две зимы. Ну да отчасти также из-за Бомы.

Как его, собственно, звали, этого Бому? Борис? Не знаю, да кажется и тогда не знал. Был он всего на год старше меня, но выглядел куда взрослей, а уж деловитость и энергию проявлял столь крупного заряда, что все кругом говорили: в отца пойдет. Отец его, инженер путей сообщения, был одним из главных строителей "Великого Сибирского Пути". Кабинет его, на этой квартире у Пяти Углов, был соответственно монументален; все свободное время проводил он, однако, не в нем, а в соседней с ним, тоже весьма обширной столярной мастерской, где стояло три разных размеров верстака и где я насчитал не меньше дюжины одних лишь рубанков. Бома тесаньем досок не увлекался; к причудам его не принадлежала любовь к физическому труду. Меня он затаскивал к себе, до и после танцкласса, и разнообразно поучал. Показывал мне открытки, привезенные из Аркашона, где он с матерью и сестрами провел предыдущее лето, научившись даже и подражать тамошнему французскому языку: "там пи" говорил кстати и некстати. Были у него коллекции камушков, раковин, костей, но лишь в конце второй зимы показал он мне главную и тайную. Она хранилась в стеклянной банке за окном и походила издали на паюсную икру. "Что это у тебя", спросил я полудогадываясь и уже с омерзеньем.

— Не видишь? Присмотрись! У всех вас, дураков, такие же сокровища в носу, а ведь никто не догадался...

Оттолкнув его с его банкой, и едва подавив судорогу рвоты, я выбежал в прихожую, и с тех пор тщательно Бому избегал. Да и танцклассом все больше тяготился. Матери твердил: "В этом году — конец". Наша балерина и сама не решилась ей солгать насчет моих успехов. После Пасхи распрощался я со всеми, и почти со всеми навсегда. С Марусей прощался весело, то есть делая вид, что мне с ней так же не грустно прощаться, как ей со мной. А когда очередь дошла до ее сестрички, нагнулся и поцеловал ее в обе щеки. Она попятилась слегка назад,

посмотрела мне прямо в глаза своими большими недетскими глазами, а минуту спустя разрыдалась так безудержно и громко, что ее сразу же увели в другую комнату.

Наша память, что это такое? Обман или правда, ирония или возмездие? Как ни бьюсь, образ красотки-Маруси не могу в себе вызвать: померк он давно и навсегда. А личико Оли, в слезах — она обернулась и посмотрела еще раз на меня, когда ее уводили — никогда из памяти моей не исчезало; оно и сейчас передо мной.

Нет быть может на свете другого греха, кроме отсутствия любви, — или ее недохвата, или подмены единственной, в данном случае нужной, другой любовью, которая отлично подошла бы к другому случаю. Ничего я дурного Олечке не сделал, и она — сомненья нет — очень скоро забыла меня. А все таки во мне все эти долгие, слишком долгие годы не изгладили чувства, что я чем-то перед нею виноват. Детская любовь — летучий ветерок. Но как был бы я рад вернуться по-настоящему к девочке этой в танцкласс, и не нагнуться к ней, а на колени стать, ручку ей поцеловать, и за все мои дальнейшие нелюбви просить у нее прощенья.

В. Вейдле

*

Проходят дни, и месяцы, и годы,
Все так же солнце поутру встает,
И ночью звезд горящих хороводы
Огромный заполняют небосвод.

И только память крыльями большими
О прутья клетки бьется и поет:
"Аще забуду тя, Иерусалиме..." —
И снова ночь, и снова день встает.

Георгий Раевский

БРЕД

(РАССКАЗ 1944 ГОДА)

Боже мой! почему и кто так ужасно кричит? Кричит он уже давным-давно и, вероятно, всю жизнь... Вокруг ходят люди. Господи, зачем они ходят? Так больно в голове... Каждый раз, когда кто-нибудь проходит, как будто кто-то долотом долбит мне мозги. Кто эти люди? Кажется, некоторые говорят по-английски и кто-то по-французски. Ах, я знаю, я в Лондоне, в театре "Колизей" в ревю "Казанова". — Скоро мой номер — танцевать венский вальс. У меня прекрасный костюм улана, сапоги всегда очень трудно надеть, но когда наконец их натянешь— то каким молодцом тогда выглядишь... Кровь с молоком! И шпоры так весело звенят. Шпоры. Я запаздываю...слышу их звон.

Но кто это? Какие-то тени в красных и голубых халатах... но шпоры? Я их слышу.

Но кто же эти тени? Некоторые даже передвигаются медленно, волоча ноги. Некоторые в колясках, и их кто-то возит, и многие лежат рядом со мной в кроватях. Их много, слишком много...десять, двадцать, сто шесть. Ох, как трудно считать — нет, совсем не трудно. Давай проверим: 1,2,3,4...что потом? 21,7,5,7,76,6,6, ну пусть будет 5. Да, мне ведь нужно одеться. Я опоздаю на венский вальс. Я кричу...никто не обращает на меня внимания, я кричу сильнее, сильнее, я ору. Никого. Я уже не слышу того, кто все время кричал. Я опять кричу, но как мой крик похож на крик другого. Я перестаю кричать. Другой, вероятно, чтобы насолить мне, молчит также. Я крикнул и одновременно крикнул он. Мы кричим и молчим теперь одновременно. Нас вдруг куда-то спешно переносят, кажется, в

подвал. Нас переносят какие-то люди, не то в форме, не то нет... В штанах защитного цвета и в белых тужурках, и у них звенят шпоры. Что за чертовщина? мой лежащий товарищ почему-то очень бледный. Большинство из них перевязаны.
Некоторые даже частично покрыты гипсом (руки, ноги, грудь). Ничего не понимаю! Может быть в театре был пожар? Или землетрясение? Где же Alex, Franz, Willi? Я опять кричу изо всех сил. Ко мне подходит какая-то женщина в форме и нежно кладет руку мне на голову. Как это чудно, почему я так давно не видел женщин? Может быть, может быть, это моя жена Пегги? Нет, это не она. Она и Маруся в Лондоне. Как давно я их не видел, какой я свинья...я должен их заслужить...после войны. Ах, да ведь сейчас война. А что же я делал во время войны? Я дрянь...Нет, я что-то делал во время войны. Война...уж так давно, я даже не могу представить, что было время до войны. Всевозможные формы...сначала (недолго) французы. Маленькие, как правило темные, пьющие постоянно терпкое вино, быстро говорящие, пахнущие потом, лошадиным навозом, кожей...Но они что-то не долго продержались. Потом немцы...Ох, эти немцы. Как их все не любят...хотя не все. Мари их очень любила. Раймонд также, Кларет даже чуть не покончила с собой из-за немецкого лейтенанта. Но многие их не любили...сначала они были исключительно корректны, но потом их примитивная натура взяла верх — они превратились в гордых, гадких хамов. Нет, немцы были потом...Кажется потом. Да. Да, я теперь вспоминаю...До немцев были чудные, как дети, итальянцы, говорившие со мной по украински. Да, я для них был "чиловеком", а моя добрая приятельница "жинка". И Марио был там. Что с ними? Удалось ли ему бежать от немцев? Или сидит он со всеми друзьями за колючей проволкой? Сердженте-маджоре, усатый "великан" из Сицилии? Капорале "Бирра", маленький силач, волосатый как обезьяна, и многие другие? Где они? Что с ними? Потом еще какая-то армия... Но какая же была у них форма? Не помню. Леша — французик, прекрасно, как немец, говоривший по-немецки, Бернар — красавец, спортсмен-лыжник, блондин. Мой двоюродный брат Василий, он же и Франсуа 2-ой, и я...Да, я тоже был там. Был ли я?. Да, да, был. Я ясно помню, как собирал с другими в горах хворост, зажигал его

как сигнал для английских самолетов, которые вместо винтовок и боевых припасов сбрасывали пакеты с "первой помощью" и банки с вареньем. Французские бойцы были обвешаны такими пакетами первой помощи и ругались на всех известных мне жаргонах, проклиная горькое варенье. Да, да это были "герои" маки. Мальчики, очень пожилые люди, инженеры, матросы, взломщики, воры, жандармы, доктора, шулеры, армяне, художники... Мы в горах стреляем маленьких птичек за неименьем лучшей цели (немцев) и жарим их на вертеле. Мы ночью грабим французскую ферму одного крестьянина, который нам поставляет скот (попробовал бы он не поставлять), вино и мар. Когда он говорит нам, что мы ведем себя нехорошо, мы бьем его, насилуем его дочерей и даже его жену, пьянея поджигаем его ферму. "Все равно немцы спалят, когда узнают, что ты помогал нам", утешали мы его. Одним словом — герои. Мы в горах, на пригорках между нами вьется дорога. Мы нервничаем — это наше первое дело, мы ждем немцев. Боеприпасами похвалиться мы не можем, их как кот наплакал. Каждый выстрел должен быть верным, точным и...смертельным. Не стрелять же нам пакетами с первой помощью и закидывать неприятеля мармеладными консервами. Как я уже сказал, мы нервничали. Курим в кулак, хотя дело происходит днем, мы необстрелянная голотьба, соблюдаем все правила "настоящей войны". Вот и наконец немцы. Конвой — не нормально моторизованный обоз, а "конно-мулло". Мы подпускаем их и открываем огонь из всех 14 ружей, монтекристо, двустволок и маленького пулемета "Люис". Я пулеметчик. Я горд. Только хорошему стрелку с железными нервами доверяют единственный драгоценный пулемет. Мой помощник, мальчик лет 20-и — Морис, нежно предан мне и, чудак, видит во мне героя. После первого недружного залпа немцы оторопели. После второго — лошади и мулы заржали, заржали в предсмертной тоске. Мы как опьяненные продолжали стрелять, игнорируя приказ начальника. Стрельба продолжается. Немцы совсем растерялись, мечутся, как сумасшедшие. Прекрасная мишень, — начальник, так же опьяненный успехом, но все же более ответственный из нас, хватает нас за шиворот и мы уходим. Мы, да не мы! Морис и я находимся в стороне от главной группы. Я пускаю одну короткую

очередь за другой. Наших товарищей уже не видно. Там затишье, но я стреляю. Пуская последнюю очередь (лента кончалась), Морис неудачно поставил руку и пальцы его заело в пулеметную ленту. Он перевернулся в воздухе, я увидел какие-то обрубки его пальцев — и страшный его крик. Я прошу его замолчать, я умоляю его, я напоминаю ему о страшных муках, которые немцы придумывают нам, и про неизбежную смерть. Но он ничего не хочет слышать. Ему больно, очень больно! Может быть так же больно, как и мне в данную минуту. Господи, что же это такое? Почему такая ужасная боль? Ах да, мне прищемило пальцы в пулеметной ленте...Да, конечно, у меня даже две руки перевязаны. Нет, это не я, это ведь Морис! И ему больно. Почему же я чувствую? Очень просто, это не я, а он. Все так просто на свете. Только если бы можно было передать эту ужасную боль от Мориса мне. Бедный, такая боль! А тот крикун опять кричит — нет, это я. Да, это я кричу. Мы оба кричим. Он и я — это одно страдание. Все мои товарищи, то же я и они, то же Страдание и они *я*...Я их нежно люблю, так же как Мориса. Все же, где я? Я спрашиваю соседа, но он, кажется, меня не понимает. На каком языке нужно с ним разговаривать? Я пробую английский, безуспешно...французский, немецкий — их постигает такая же печальная участь. Я говорю по-русски, и как-то странно, он мне отвечает по-польски... Я его кое-как понимаю. Он говорит мне, что мы в 46-м американском госпитале, что мы в Безансоне и что нас снесли вниз, так как в городе воздушная тревога. Я начинаю кое-что припоминать. Американская армия, Bill, Jim, Rudy, Blondie, Ike. Немецкие танки, как страшные пауки, с шумом, лязгом прут на нас. Наш пулеметчик George, лежит у пулемета, и я вижу, как нервная судорога перекосила его лицо. Он не может стрелять. Сержант глазами показывает мне на пулемет — и я стреляю. Танк в 100 ярдах от нас. Я вижу как он опускает дуло (ужасная 88). В моем мозгу проносится вся моя жизнь: няня ведет брата Виктора и меня гулять в парк — это Петербург... Я жду пенальти в Берлине (моя футбольная карьера). Потив меня левый бек и я жду. 50.000 глаз устремлены на нас. Страшно, но не так как сейчас; сейчас будет темно... конец. Боже мой, как хочется жить! Просто жить! Смотреть на деревья, слушать птиц, смеяться, плакать. Я целую

Мари. Что с ней? Может быть она замужем? Я купаюсь в море, как приятно быть в прохладной воде...Вот сейчас бы... но сейчас конец...Папа объясняет мне арифметическую задачу. Там какие-то бородатые купцы покупают и продают синее и красное сукно...резервуары, в которые втекает и вытекает вода.

Я целую Фриду...как чудно пахнут ее волосы. Это Берлин. Я живу в Schoneberg'e, а она в Pankow'e. Расстояние порядочное, но я жду эти часовые поездки с трепетом. Ведь мне только что исполнилось 20 лет. Как хорошо быть молодым! Фрида немногим старше меня. Она бросает мне через окно входные ключи. Я быстро вбегаю на 4-ый этаж, как на крыльях. Фрида в розовом халатике ждет меня. Мы ужинаем, пьем французское вино, коньяк...Муж-капитан сейчас на маневрах (танки в Восточной Пруссии). Потом мы идем в спальню, Фрида обнимает, целует меня...На ночном столике, около двуспальной постели, на меня из рамки смотрит гордый Курт, он в прекрасной форме. Боже мой, Фрида забыла его убрать. Я, держа за талию Фриду, другой рукой поворачиваю Курта к стенке. Потом...потом..воды, пушечные прицелы. Как хорошо было дома решать эти ненужные задачи... Танк в 75 ярдах, я через щель вижу глаза водителя — хоть бы с ним случился удар, чтобы руль танка сломался! Простите меня все...сейчас меня как не было. Я пускаю длинную очередь. Я мечу в глаза. Танк-паук продолжает свой смертоносный путь. Шум, лязг, гам. Кто-то около меня кричит. Я продолжаю стрелять. Мама, Маруся, папа, Пэгги, как живые передо мной. Я уже убит! Вдруг танк содрогнулся, завертелся на месте, я услышал взрыв. Еще раз взрыв...люк начал открываться и показалась голова в кожаном шлеме. Кто-то выстрелил, и туловище беспомощно повисло у люка...Вальтер бледный, с дрожащими губами лежит недалеко от меня с дымящейся базукой. Как была фамилия Фриды? Муж был танковый капитан. Много лет тому назад...теперь он наверное генерал...фельдмаршал... Ах да, кто у немцев танковые генералы? Паттон, ...нет, он американец. Да, Роммель, ещё какой-то, с армянской фамилией. Странно, что у немцев (чистейшая арийская раса, как уверял всех Гитлер, Геббельс и компания) столько ненемецких фамилий. Я помню такие имена, как Пальке, Богуславски, Новак, Иванковски I, II, III — вот они

футболисты; генералы или фельдмаршалы фон Браухич, Балковиц, этот танковый генерал Гудериян. Курт имеет все основания мне мстить. Как ни странно, но я не чувствую злобы к нему. Он и Фрида одно и то же, я люблю Фриду, я также люблю Курта. Но он должен меня наказать — только не смертью...пусть он меня будет допрашивать, и я расскажу ему роман с его женой...Нет, не хочу ему рассказывать, это было бы слишком божественно. Пусть смерть, но ведь я спасся. Танк подбит, и Курта убили...Фрида теперь вдова, веселая вдова...я на ней женюсь. Я буду хвастаться, как я убил ее Курта. Нет, я ведь женат, и у меня дочка, чудная дочка Маруся. Ей должно быть теперь 4 года... Вообще хвастаться убийством нечего. Пусть он живет! Всем хочется жить, даже этому жуку, который деловито переползает мою винтовку, даже ему хочется жить, и Курту тоже. Пусть он смотрит на деревья, траву, слушает птиц, гуляет, ест, пьет, спит с чудной Фридой. Боль, моя ли, Мориса или их — продолжается. Мы кричим опять. К нам или ко мне подходит другая женщина и тоже, кажется, в форме, но определенно другая. Сколько их и все ни к чему! Я так долго их не видел, а теперь их "хоть пруд пруди". Мы не можем ни говорить, ни думать, ни любить. И все ни к чему! Мы можем только кричать! Все это какая-то дьявольщина! Почему так устроено в жизни? Или нужно стрелять и не видеть женщин, или видеть женщин и кричать. Делать нечего! Давайте тогда кричать, но почему-то на нас почти что не обращают внимания...Мы орем, но все эти женщины как будто не слышат нас. Кажется, я засыпаю, так как, когда просыпаюсь, то вокруг тишина. Может быть я умер? Но нет, вот ко мне подходит фонарик...его держит женская рука, в другой руке шприц. Женщина бесцеремонно, но острожно переворачивает меня на бок и втыкает иглу в зад...Через секунду-две я чувствую острую, жгучую боль. Она скоро проходит и ее заменяет *моя* боль.Кричать и не стоит. Я решаю, что не стоит, и начинаю кричать. Мне впрыскивают пенициллин каждые три часа. Днем женщины опять приходят и впрыскивают в разные части тот же пенициллин. Несмотря на боль, я их ждал. Мне было приятно разнообразие. Потом, позднее, пришли люди в форме, некоторые без, на коляске привезли какой-то аппарат. Оказался рентгеновским... Снимали голову, руки, грудь, ноги и

спину. Для чего все это? Может быть я ранен? Герой? Во всяком случае интересно!

Мне кажется, эта невыносимая боль у меня всю жизнь. Я себе не могу представить себя без нее...

Алексей Франк

Этот рассказ нам прислала вдова Семена Людвиговича Франка — Татьяна Сергеевна, за что мы ее благодарим. Алексей Франк — покойный сын Т. С. и С. Л., во время последней войны участвовал во французском движении сопротивления и подорвался на немецкой мине. РЕД.

*

Милый друг, спасибо за молчание:
Сладко слушать тишину.
В нереальной, неземной компании
Я от шума отдохну.

Я постиг особенное зодчество:
Лунный выстрою дворец,
Чтобы мир благого одиночества
Мне открылся, наконец.

Будут тени, в бархаты одетые,
В узких лодках проплывать,
Будто серебристыми стилетами
Резать меркнущую гладь.

И на бледные немые тени я
В той Венеции — другой —
В голубом четвертом измерении
Погляжу, мой дорогой.

Игорь Чиннов

*

Работал бедный и устал.
Засни, засни скорее!
Ты выиграешь капитал
В небесной лотерее.

Он спит и шепчет: о, о, о! —
Как новый житель рая.
Гуськом большие буквы О
К нему бегут сияя.

И вот становится светлей
В молчанье тусклой ночи:
Идет процессия нулей
Цепочкой, длинной очень.

Их увлекает за собой
Большая единица.
Тот чек небесно-голубой
Соседу тоже снится.

Игорь Чиннов

МИНОМЕТЧИКИ

В ДУРНОМ МАРЕВЕ

Пока ехали, опять пришлось удивляться: в вагоне были только попавшие в плен под Керчью, во Владиславовке тоже были пленные только с керченского полуострова, — а разговоры шли о том, что происходило далеко от Керчи, на Украине. Откуда узнали, какая сорока принесла на хвосте? Говорили, что немцы освобождают из плена украинцев и как только приедем в постоянный лагерь, будет комиссия и если ты украинец, тебя тоже освободят. Тотчас же началась стихия перемены фамилий: Гончаров объявлял, что он Гончаренко и родился на Украине, Климов превращался в Климчука, Федоров в Федоренку и почти все в вагоне лихорадочно припоминали, когда жили на Украине или ездили туда, какие там улицы, в Харькове или Днепропетровске, в Киеве или Конотопе, на всякий случай, если спросят.

Шутя я сказал Копылову:

— Как, товарищ Копыленко, теперь у вас и третья родина нашлась?

Он досадливо отмахнулся:

— Сказился народ: от самих себя отрекаются!

Отказ от своих имен по рождению, и с такой легкостью, без раздумий, — не стал ли он возможен потому, что в жизни все поколеблено, опереться, как вековечно, в прошлом, больше не на что и надеяться можно разве только на "кривую", авось вывезет? Этой кривой и может оказаться перемена имен, в поколебленном мире не имеющих большого значения: не все ли равно, как

См. кн. 119, 120, 122, 123, 124 Н.Ж.

тебя зовут? Имя — только тень большого значения, зыбкая тропка, на которой авось удастся спастись.

Или, теперь — одно из выдуманных условий давно начатой дурной игры, похоже, даже стирающей черту между жизнью и смертью, — оба эти состояния, незыблемые грани человеческого существования от сотворения веков, к которым всегда было приковано внимание человека, тоже будто лишились прежнего своего значения и переход из первого во второе иногда может казаться чуть ли не призрачным, во всяком случае каким-то обесцененным, словно лишенным сущности. И странным, не до конца понятным казалось, что вот, эти же люди, вдруг становятся или хотят стать другими, будто только что они были не совсем настоящими, — или хотят стать не настоящими? Впрочем, это ведь только часть дурной игры, марева, как и все, что было с нами под Керчью и по дороге оттуда. И то, что там и по дороге многие лишились жизни — тоже, значит, не существенно, тоже одно ядовитое марево?

Из нелепой этой игры в нереальность, — или в настоящую реальность? — хотелось выбраться, отделаться от нее, как от злого наваждения. Но сосед спрашивает, не помогу ли ему, не расскажу ли, где был на Украине, в каких городах, что в них: ему надо придумать себе "легенду". Этого еще не хватало, легенды сочинять, как будто все вокруг — не сплошная дурная легенда.

— К сожалению, не могу помочь: я никогда не был на Украине...

Верно, судьба мотала меня по северу и на Украину ни разу не пришлось попасть. Но украинцев встречал много, в тех же лагерях. И еще в детстве: у нас под Царицыном были хутора "тавричан", у родителей были среди них знакомые. В первые годы революции ходили к ним за продуктами, выменивать на вещи, пока и у них не стало ничего. Дали мне там однажды две тыквы, небольшие, но для меня увесистые: было мне одиннадцать лет, а до города больше десяти верст. Взвалил мешок с тыквами на спину и пошел. Сначала радовался: дома есть нечего, тыквы принесу — как будут рады! Потом едва не заплакал. Главное, не было варежек, руки замерзли до отчаянной боли: погода стояла морозная, уже зимняя. Как добрался домой, сам не знал, чуть руки не отморозил. Впрочем, тоже дурное марево, напрасная,

надуманная, низачем обрушенная на нас каким-то преисподним Кащеем неслыханная беда...

Теперь везут на Украину. Что делается на ней? Места, по которым проезжаем, давно, месяцев семь или восемь, под немцами. Каково людям под ними? Что изменилось и к лучшему ли? Никто в вагоне этого не знает. И не посмотришь: чтобы дойти до стены, где наверху закрученное колючей проволокой окошечко, надо перебраться через десятки ног, рук, туловищ, голов, осторожно выбирая, куда поставить ногу. Я пробирался два раза — и ничего не увидел: мимо уходили пустые, словно брошенные поля, нигде не видно ни одного человека. В другой раз промелькнул сгоревший полустанок: обгорелые балки, кучи обугленных досок на платформе. И тоже ни души...

Но сейчас наверно увидим, как и что, — думал я, выбираясь из вагона в Умани у пустых, с настежь распахнутыми дверями складов: выгружались наверно на товарной. За складами, на неширокой улице, построились и двинулись по городу. Может быть, вели окраинными улицами: по бокам больше неказистые одно и двухэтажные домики. Похоже, город совсем не велик. А, помнится из истории, когда-то был едва ли не первый на Украине, и гетман в нем жил. На улицах никого. Может быть немцы запрещают выходить из домов, когда прогоняют партии пленных? Пусто, мертво, как будто жители покинули город. Или попрятались, притаились? Значит, надо прятаться, таиться? Но вот, на углу впереди, показались две женские фигуры; в доме, у которого проходили, отодвинулась занавеска у окна, показалось женское лицо. Это и все: ни движения на улицах, не видно и лавок, магазинов, — есть тут жизнь? Как люди живут?

Минут через тридцать вышли за город. Полого поднималась равнина, наверху, на холме, видимо лагерь: длинный забор из колючей проволоки, за ним несколько бараков.

Как и во Владиславовке, — немцы лагеря наверно по стандарту делают: огромная территория огорожена внешней колючей проволокой, внутри она разделена, тоже колючкой, на две части проходом-коридором, по обе стороны — ворота в клетки-загоны, в каждом небольшой приземистый барак. Отсчитывая по пятеркам, немцы неторопливо пропускали в ворота наш этап, уводя партии в загоны, отделенные от соседних

оградой из той же проволоки. Пришла и наша очередь: отсчитав шестьсот человек, нас отвели в один из загонов, предпоследний от конца. Дальше — такой же загон с пленными нашего же этапа, с другой стороны пусто, только под стеной барака сидит несколько человек. От них позже узнали, что из того загона пленных гоняют в город на работу.

Барак почти у внутренней ограды: между бараком и оградой узкий проход. В стене барака оконце: туда будут приносить хлеб, баланду, — проходя мимо оконца, мы будем их получать. С другой стороны барака — водопроводная труба с краном: воды тут достаточно, можно и помыться, и побриться, вернуть человеческий вид нашим грязным и обросшим лицам. Дверь барака, внутрь загона, закрыта на большой висячий замок. С другой стороны, ближе к углу, у внешней ограды, длинный навес уборной.

Осмотр всей этой убогости не занял и пяти минут. Надо както располагаться: здесь нам жить. Земля вытоптана, травы нигде не видно: наверно выщипана голодными пленными. Земля бугристая: засохшая после дождя взмешанная ногами грязь. Она и сейчас сыровата: день пасмурный, вот-вот пойдет дождь.

Сели под бараком, привалились к нему спинами.

— Так вот, на свежем воздухе и будем жить, под небушком: оно здоровее, — бубнил рядом Копылов. — а что от уборной запашок, не беда: хлебный дух...

Но балагурит он уныло. Нос у него заострился, гвоздем торчит, щеки совсем провалились, глаза тусклые. Давно уже не слышно его прибауток или задорного "смекнул?" — выглядит он тяжело больным. А вернее, просто голодным и измученным. Другие пленные тоже выглядят не лучше. И у Анохина лицо потемнело, зеленым отдает. Такое же наверно и у меня.

Пленные разбрелись по двору. Одни легли на землю, кутаясь в шинели, другие сидят группками. Изредка в калитку входят другие пленные, совсем не похожие на наших: рослые, здоровые, в полупальто, переделанных из шинелей. Смотрю на них — не хватает только черных обшлагов и нашивок на рукавах, с которыми они были бы точной копией надзирателей из заключенных в Соловках. Удивительного ничего нет: та же порода, эти, здесь — тоже вроде надзирателей, внутренняя лагер-

ная полиция, в помощь немецкому конвою. Рожи сытые, гладкие, с наглыми, угрожающими глазами. Одни с палками, другие со стеками, у одного короткая плетка. С такими лучше не задираться: звери. И переводчики на них смахивают. Переводчики больше из галичан, а полицаи почти все свои — русские, украинцы, из младшего комсостава. Тоже из тех, что без предрассудков, спасают свои шкуры за наш счет.

Время тянется медленно, оно словно остановилось. Перед вечером в соседний загон пришли пленные с работы. Наши прилипли к проволоке, поговорить, узнать, как здесь, где работают. Соседей, полтораста, а то и двести человек, каждый день посылают в распоряжение городской комендатуры, на ремонт дорог, зданий, занятых немцами и на другие такие же работы. Дополнительной кормежки нет, но удается встречаться с вольными, — женщины приносят то ломоть хлеба, то десяток картошек, а то и миску каши. Достают и курева — самосада. И торговля бойко идет: за сапоги или хорошие ботинки можно получить буханку хлеба, если повезет, то и две. Гимнастерки, белье — все можно загнать, населению брать вещи негде. Соседи с вожделением смотрели на наши английские ботинки, на гимнастерки — началась меновая торговля.

Уже спускались сумерки, когда пришло с десяток полицейских. Один снял замок с двери барака, другие выстроились перед дверью в две шеренги. Увидев открытую дверь, пленные ринулись в барак, но полицейские не пускали без разбора: одних пропускали, других оттесняли, награждая ударами палкой. Чем они руководствовались при отборе, не понять. Перед бараком собралась большая толпа, она напирала, — полицейские наотмашь били кого попало, оттесняя толпу. Вскоре из барака вышел бывший там полицай, закрыл дверь, замкнул замок, — барак полон. Поместилось человек двести пятьдесят, — остальным крыши над головой не хватило.

Побродив по двору, нашел свободное место у барака и лег, стараясь закутаться в шинель. Земля сырая, скоро стало и холодно. "Паршивому порося, говорит пословица, и в Петровки мороз". Так и усталому и постоянно голодному. В животе ныло, кишки и желудок словно куда-то тянуло, в горле ноющая яма, —

нутро не переставая требовало пищи. Но где же взять. И жаловаться некому, да и на кого?

В третий или четвертый вечер, дежуря перед бараком, я все же попал в него на ночь. Он был разделен внутри тонкой перегородкой на две части, в одной еще отгорожена каптерка, откуда, в оконце, нам выдавали хлеб и баланду. От стены до стены сплошные одинарные нары из жердей. Я вошел одним из первых и лег еще на нарах, — скоро люди забили сплошь пол под нарами и в проходах перед ними, пока полицай не закрыл опять барак. Выйти было уже нельзя, до утра. Скоро надышали в бараке так, что не продохнуть, а ни окон и никаких отдушин не было. Стало жарко, но нельзя даже повернуться, так стиснули тебя с обеих сторон. Переночевав в бараке я решил, что, пожалуй, под небушком, как говорил Копылов, в самом деле лучше, по крайне мере дышешь свежим воздухом, и больше попасть в барак не старался. Худо приходилось, когда сыпал дождь, спрятаться негде, — а дождь, несмотря на середину лета, шел часто, словно в довершение наших бед.

Возникшая в вагоне надежда на освобождение украинцев, или под видом украинцев, как и следовало ожидать, лопнула. Полицаи и переводчики, из тех, что были в этом лагере с прошлой осени, говорили, что в начале зимы немцы действительно освободили несколько сот украинцев, распустив их по домам, — но весной снова собрали в лагерь. Немцы говорили, что отсюда всех отправят в Германию, где нужны рабочие. Несколько этапов уже ушло.

Один из переводчиков был поинтеллигентнее, до армии, кажется, он учительствовал, и я не раз говорил с ним, стараясь уяснить положение вещей. Он рассказал, что этот лагерь, в Умани, был создан в прошлом году после падения Киева, когда немцы, в окружениях под Киевом, взяли в плен несколько армий, больше полмиллиона человек. Прошлой осенью тут было сто двадцать тысяч человек, — говорил переводчик, — а к весне осталось меньше десяти процентов. Зима была суровой, а пленных держали в открытом поле и почти не кормили. Привозили сырую картошку, свеклу, — привезут два-три воза, опрокинут среди лагеря, бери, кто может. Обезумевшие от голода и холода

пленные дрались из-за картошки и свеклы до смерти. Умирали тысячами. Я рассказал переводчику о меморандуме Молотова в Лигу наций, в "Известиях", об уничтожении немцами советских военнопленных, там говорилось и о лагере в Умани, — он слышал об этом, немцы рассказывали. Кремль опубликовал молотовскую жалобу прежде всего, понятно, чтобы попугать своих, приостановить сдачу в плен. Немцы все же после этого, — говорил переводчик, — стали организовывать регулярное питание и перевели лагерь сюда, где раньше была совхозная молочная или скотоводческая ферма, от нее и эти бараки.

Дни тянулись однообразно до одури. Утром ковшичек теплой бурды, немцы упорно называют ее кофе, и порция хлеба в 400 граммов, сырого, клейкого: в нем больше воды, чем муки. И сколько-то от него еще забирают полицейские и хлеборезы для себя, для поваров. В обед ковшик, считается литр, супа, кашицы. Ничего не скажешь, это крупа, чаще все то же проклятие советского времени, безвкусная и малопитательная "ячневая сечка". Иногда картофельный суп. Но разве достаточно литр супа взрослому? Да еще отощавшему? И никак не остановишь постоянное, гнетущее чувство голода. По опыту прежних голодовок я давно решил, что мучение голодом — одно из самых тяжких, к тому же еще и унизительных для человека, возвращающих его в явно животное состояние.

Многие пускались на разные уловки, чтобы справиться с голодом. За проволокой в проходе иногда появлялись какие-то молодые ребята, кухонные холуи, с котелком картофельных очисток (пленные называли их "лушпайками"), предлагая свой "товар" за половину дневной порции хлеба, а бывало и совсем нагло, требуя целую порцию. И находились пленные, которым казалось, что котелок картофельных очисток стоит их хлеба. Получив вдобавок десяток щепок и ложку соли, они мыли очистки, в углу лагеря долго варили их в котелке, потом с наслаждением хлебали похлебку.

Другие не ели хлеб, а крошили его в котелок, наливали с краями воды из крана и ели эту тюрю, воображая, что она питательнее и сытнее, чем просто хлеб.

Запасное белье, у кого оно оставалось, гимнастерки получше — все давно ушло к соседям, а от них в город, в обмен на хлеб

или на табак. Некоторые ходили в опорках, отдав за хлеб ботинки или сапоги. Тут я впервые остро пожалел, что не нагнулся тогда, в Крыму, когда только что попал в плен, в канавку под ногами и не поднял две-три толстых пачки денег из кучи, через которую бездумно перешагнул: здесь, на Украине, советские деньги оказывается еще ходили! Был даже вроде бы и официальный курс: десять рублей равнялись одной марке. Обменять рубли на марки было нельзя, но немецкие солдаты запасались рублями, потом меняли на свои фронтовые, оккупационные марки (у немцев были такие), а когда ехали домой в отпуск, получали за них марки обычные, ходившие в Германии. Им был прямой смысл вести торговлю на рубли: они зарабатывали на этом порядочные деньги.

У меня оставалось еще рублей двести, но они быстро ушли. Порция хлеба стоила 40-50 рублей, в первую же неделю я купил на нашу "троицу" три или четыре порции. Анохин и я курили, — немецкая сигарета стоила десять рублей, щепотка махорки или самосада, на закрутку (они были разные: "пленные", совсем тощие, или "вольные", на закрутку нармальной толщины) — 5-6 рублей, — остаток денег мы с ним прокурили.

Через два-три дня Анохин разболелся, у него была дизентерия; к концу недели на него было страшно смотреть: лицо совсем зеленое, шалые, мутные глаза. Он уже едва поднимался, больше лежал под стеной барака. Дизентерийных было много. В лагере есть "лазарет": так называют один из загонов, куда собрали больных, преимущество то, что там все лежат в двух бараках. Но больше туда не берут: нет места. Пленные считают, что там загибаловка, выход оттуда только в могилу и неохотно идут туда.

Я попросил знакомого переводчика устроить в лазарет Анохина, спросил и о лазарете. Переводчик не стал врать: лечения нет никакого. Есть врач, тоже пленный, фельдшер, санитары, но лекарств нет, питание такое же, как для всех пленных. Но все же лучше, чем здесь: будет какой-то присмотр и лежать под крышей, а не во дворе. Переводчик говорил, что у больных дизентерией в лагере шансов выжить почти нет, но в лазарете, даже без лечения, надежда все же есть.

Анохину очень не хотелось уходить от нас. Как часто в

таких случаях, ему тоже казалось, что рядом со "своими" он выживет, а там, в "загибаловке", наверняка нет. Но все же пошел, когда пришел за ним санитар.

Остались мы с Копыловым вдвоем. Ждать нечего. Разве одного: может быть дождемся, когда отправят дальше, а в другом месте авось будет лучше. Но и на это надежда слабая...

Досаждало, что нет очков и вокруг смутно все, расплывается, как кисель. Казалось, что если буду видеть четко, как прежде, с очками, то наверно и чувствовать себя будешь увереннее. Время девать некуда — занялся ремонтом очков. Одно стекло лопнуло, но кое-как держалось, надо только укрепить ободок, чтобы не выпадало. Другое стекло разбито пополам, высыпались и мелкие осколки, но может быть удастся склеить. В кармашке рюкзака обнаружил листок курительной бумажки — отлично! Сделать клей — пара пустяков: надо хорошо разжевать кусочек хлеба, мякиша, получившееся месиво ложкой твердо, с нажимом пропустить через платок, — на другой стороне образуется белая пленка хорошего клея. Так в лагерях и тюрьмах делают урки, мастеря "стирки", игральные карты, из склеенных листов какой-нибудь книги.

Сделал немного клея, приклеил тонкую полоску курительной бумаги к разбитому стеклу, соединяя обе половинки, подождал, пока высохнет, — держится! С помощью бумажки склеил и ободок для другого глаза — тоже держится. Водрузил на нос: забавно, конечно, бумажная полоска делит стекло и мир надвое, но все же окружающее теперь видно ясно. Я был доволен результатом своих усилий, возвративших частицу четкого видения мира, а с этим и словно большей уверенности в себе, несмотря на полную безнадежность и даже безвыходность нашего состояния...

И вдруг, совершенно неожиданно, появилось обещание. Была уже середина июня. После обеда в соседнем загоне возникло какое-то оживление. Полицаи приказали там пленным построиться, — перед строем прошли два молодых немецких офицера и какие-то штатские. Они вызвали из строя нескольких пленных, отвели в сторону и минут пять разговаривали с ними, что-то записывая. Потом ушли из загона, полицейские распустили строй. Что бы это могло означать?

К нам тоже пришли полицейские, торопливо построили нас перед бараком. Офицеры и штатские теперь пришли к нам. Они прошли перед строем, внимательно всматриваясь в лица. Один офицер ткнул рукой в мою сторону, что-то буркнул переводчику, тот сказал мне: — Выйди из строя. — Вышли еще двое. Тоже отошли с нами в сторонку. Записали фамилии, где работали, кем, подвергались ли преследованиям. Штатские были русскими, один, высокий, прямой, с хорошей военной выправкой, наверно офицер из старших, свободно говорил по-немецки. Он что-то говорил с офицерами, мне показалось, упомянул мою фамилию, кивнул в мою сторону, — шансы мои на отбор, видимо, были хорошие. Но что за отбор, куда, зачем? Радоваться надо или огорчаться? Я спросил стоявшего ближе штатского, из отбиравших:

— Зачем нас переписали? Что за цель у этого отбора?

— Сразу не объяснишь, — улыбнулся он. — Подождите немного, мы еще зайдем, поговорим...

Строй распустили, "комиссия" ушла. Осталось ждать и гадать: что за новое явление?

Перед вечером пришел тот из отбиравших, кого я спрашивал и еще один. Мы стояли втроем. Еще двое отобранных — один железнодорожный инженер из Моздока, другой управделами какого-то треста из Краснодара. Пришедшие сказали, что немцы дали согласие на создание украинского правительства, над чем работает ряд крупных лиц, — в их числе высокий военный, полковник Генштаба, присланный осенью из Москвы в одну из армий и вместе с ней попавший в плен. Они получили у немцев разрешение подобрать в лагерях военнопленных несколько сот специалистов разных отраслей, необходимых для организации правительственного аппарата. Нас и отобрали с этой целью. Отбор производится в ряде лагерей и надо полагать, что требуемое число работников скоро будет собрано.

— Украинское правительство? — переспросил я. — Но я не украинец, какое отношение могу я иметь к украинскому правительству?

— Это не имеет значения, — ответил собеседник, — я тоже не украинец, — хотя я слышал у него южный акцент, присущий впрочем всем жителям южной полосы. — Важно, понимаете,

хоть как-нибудь начать, чтобы создавать свое, независимое дело. Немцы что, они мало что понимают, — пренебрежительно махнул он рукой. — Вот, эти офицеры, что были тут, им бы только приказ выполнить, а смысл до них может и не доходить. Я рад, — добавил он, — что вы к нам попали. Народу много, можно десять правительственных аппаратов собрать, но народ больше низовой, районного масштаба работники, даже из областных городов мало. А у вас работа в Москве, совсем другой кругозор, нам его не хватает. И политически у вас не может быть никаких сомнений: столько лет концлагеря, по 58-й статье, — лучшей рекомендации не придумаешь.

Я спросил, а как он сам думает, очень ли серьезна вся эта затея, с украинским правительством? Он пожал плечами:

— Кто ответит на этот вопрос? Как будто да, а дальше — все теперь под немцами ходим. Разрешили, — а может еще перерешат? Гарантий никаких нет...

Да, какие могут быть гарантии, кто их даст. Идет война, да еще между такими одержимыми, как Сталин и Гитлер, — какие могут быть гарантии при них? Вдруг левая нога у одного так захочет, а у другого иначе? Все под ними ходим, и немцы, русские или украинцы, пока что, как говорится, дело десятое.

Собеседники ушли, на прощанье сказав, что постараются, чтобы всех нас, отобранных, соединили вместе, в одну группу. Может быть удастся и паек нам немного улучшить. А как только дело подвинется, вы узнаете, сообщим...

Думая об этой неожиданности, я решил: хорошо уже то, что кто-то серьезно и упорно работает над тем, чтобы выигрыш был на нашей, общей стороне. Отлично, что есть люди, и видимо энергичные, деятельные, которые настаивают на необходимых решениях и добиваются, если судить по нынешнему отбору, согласия с ними немцев. Выйдет ли что из "украинского правительства" или не выйдет, — если есть такие люди, они будут продолжать добиваться своего, а это "свое" есть единственно верное в затеянной двумя диктаторами буче общее решение...

И другая неожиданность: в эти же дни, просыпаясь утром, я не раз находил рядом на земле узкие ленточки бумаги, из ученических тетрадей, — на них, на пишущей машинке было что-то написано, чаще всего одна либо две строки, во всю длину

полоски. Приносил мне такие же полоски Копылов, показывали другие пленные. Это был род микроскопических листовок, с афористичным содержанием: только одна мысль. Пожалуй, не лозунг, а скорее предложение подумать: "Четверть века большевизма, — в пору нынешнего бедствия надо добиваться, чтобы ему пришел конец". "Надо думать о том, чтобы война принесла нам освобождение". "В этой войне победить должны не диктаторы, а наш народ" — и т.д.

Откуда брались эти ленточки? Приносил кто-нибудь из полицейских, переводчиков? Или из соседей справа, ходивших в город на работу? В лагере эти ленточки не могли изготовлять, они из города, — как же попадают они к нам? И от кого? И любопытно, как раз в дни, когда отбирают пленных для "аппарата украинского правительства" — есть между тем и другим какая-то связь или это отдельные явления? Факт остается фактом: есть люди, думающие и старающиеся работать над тем, чтобы "победа была за нами", а не за диктаторами. И эти люди совсем рядом, за этой проволокой. Своими бумажными ленточками из ученических тетрадей они словно подают о себе весть, хотят установить с нами связь. Как связаться с ними, войти в их число?

Ленточки-листовки отвечали нашим мыслям, настроениям: они совпадали с ними. Их писал кто-то из нас, из таких же, как мы. Писавший хорошо чувствовал, знал ту основную и казалось бы парадоксальную, противоречивую мысль-чувство, знакомую нам всем с первых дней войны, над которой столько мы думали и все же разрешить этот странный феномен не могли. Я хорошо помню дни бегства из Москвы прошлой осенью, — тогда эта мысль-чувство была почти ощутимой. Ничего не зная, что происходит на фронте и наверху, в Кремле, как и в стане врага, мы все же знали несколько неопровержимых истин: враг, внешний, победить не может, — что бы ни было, он не победит. Это ощущение сидело у каждого твердо и было само собой разумеющимся, объяснения не требовавшим. Немцы шли дальше, они уже на Кубани, на Дону, рвутся к Волге, — но мы по-прежнему знаем, что они не победят. Но мы не хотели и победы сидевших над нами в Кремле: их победа еще больше их укрепит и вознесет, что только усилит наши бедствия. Мы не были пораженцами: мы

хотели поражения двух диктаторов, а не нашей страны. В этом был парадокс: могут ли потерпеть поражение лишь наши правители, без нас? Как отделиться от них, против них пойти? Иначе бедствия войны ничего нам не дадут, наше положение скорее даже ухудшится.

Узел завязался в первые же дни войны: война принесет нам выигрыш только в том случае, если проиграют оба диктатора. Один, мы знаем, выиграть не может, — другой проиграет только в случае, если против него пойдем мы все. Но как это сделать, будут ли условия, чтобы можно было подняться? Об этом мы говорили с близкими друзьями прошлой осенью, в дни бегства из Москвы, когда, казалось, все висело на волоске. И те же настроения широко разливались по стране.

Я хорошо помню, как в конце декабря в Ташкенте, пробираясь на Алтай и ожидая поезда, в накаленной вокзальной толчее нескольких тысяч эвакуированных из Москвы, я впервые услышал, что немцы будто бы создают в Смоленске русское правительство. Никто ничего не знал, никаких подробностей, но слух несся: Смоленск, русское правительство, — и его было довольно, чтобы всколыхнулись души и заблестели глаза. Некоторые, может быть из особенно осторожных, отворачивались, не хотели слушать — и были правы: за такой слух, за такую болтовню НКВД мог забрать всех скопом, без разбора, все тысячи, заполнявшие вокзал, выгнать за город и перестрелять. И слух мог быть пущен с провокационной целью. Но других было уже не остановить: "Слышали? Смоленск, русское правительство" — летало по вокзалу, нагнетая надежду.

Слух тот испарился, не оправдался. А теперь — "украинское правительство"? Не совсем одинаково, но для начала, окольным путем? — снова поднималась надежда. И еще эти листовки, — то и другое опять ставит большую, ясную и единственно верную сейчас цель, определяют живое дело. Как присоединиться к ним, к людям, занятым этим делом?..

На другой день, при раздаче обеда, переводчик повел нас троих к окошечку и что-то сказал раздатчику. Он положил нам в котелки по две порции, но второй черпак не полный: получалось около половины котелка. Не густо, от такой добавки не попра-

вишься, в норму не придешь, но все же больше. А кроме того: еще одно подтверждение, что немцы с мыслью о создании "правительства" согласны...

Утром опять нашли около себя узкие полоски-листовки со знакомыми фразами. Откуда они появились? Решили с Копыловым выяснить, кто кладет их нам под бок. Ночью притворились спящими и из-под опущенных век следили за окружающим. И не напрасно: около полуночи один солдатик, молодой, наверно деревенский парень, осторожно поднялся и пошел, будто в уборную. У соседей, работающих в городе, кто-то подошел к проволоке. Наш солдатик оглянулся и быстро приблизился к нему. Протянул руку, взял какой-то сверток и побрел дальше к уборной.

Он почти сразу же вернулся. Находу разворачивал бумагу, подносил что-то ко рту, жевал. Он и раскладывал ленточки. На другой день мы расспросили его, — сначала он прикинулся непонимающим, но потом сознался, что однажды, когда стоял у проволоки, к нему подошел один из работающих в городе и завязал разговор. Поговорив, предложил раскладывать ночью бумажные ленточки, которые он будет ему давать, — за это будет получать полпорции или даже целую дневную порцию хлеба, сколько удастся достать. С тех пор наш парень и раскладывает листовки, подкармливаясь получаемым хлебом. Тот, за проволокой, человек честный: ни разу не подвел, всегда полпайки или даже пайку дает.

Мы уверили его, что зла ему и другому не хотим и попросили свести с его "работодателем". Но тот отнесся сурово:

— Что вас так заинтересовало? Вы что, не понимаете, что такими вещами лучше не интересоваться? Делают люди, и пусть делают, — а вам что? Или, может, котелок супа хотите заработать? Донести приспичило?

Как ни старались расположить его к себе и узнать о тех, с кем он связан в городе, успеха не добились. Пришлось отстать. Несколько дней полоски не появлялись, изготовлявшие наверно решили выждать, не будет ли беды. Но потом ленточки опять

появились. И решили изготовлявших больше не смущать. Пусть действуют, в добрый час...*

Настроение немного поднялось. У Копылова оно, напротив, понизилось: ему не хотелось оставаться одному из нашей группы. Он подтрунивал надо мной, говорил, что когда стану министром, чтобы его не забыл, выручил бы, взял к себе работать, "хоть подметайлом" — говорил Копылов.

Как ни ноет в животе, — думалось, — а хорошо. То хорошо, что люди не забывают свое дело. Как только появляется малейшая возможность, снова берутся за него. А немцы, в самом деле — много ли они понимают. Я ловил себя на том, что отношусь к ним даже словно бы со снисходительным пренебрежением, как Копылов и пожалуй большинство из нас. Конечно, мы на самом низу вонючей ямы и любой задрипанный немецкий ефрейторишка может и мне и любому из нас в любое время шею накостылять, а то и убить и ничего ему за это не будет. Но это никак не поставит его выше над нами. Что бы они ни делали, и как бы ни безобразничали, сверхчеловеками не станут и понимать, как мы, не смогут, — в том числе и понимать, что не победят.

Этим не лишенным горделивого заношения настроениям впрочем большой урон наносили попрошайки у проволоки. Вышек по углам здесь не было: за внешней проволокой постоянно ходил часовой, часто сменявшийся. А с нашей стороны у той же проволоки постоянно стояли два, а то и три попрошайки и когда часовой подходил ближе, старались разжалобить его. Плачущими голосами они выпевали: "пан, пан", показывая пальцами, что просят покурить. И часовой иногда бросал им недокуренную сигарету.

Эти дребезжащие голоса могли выводить из себя. Плакали они и у внутренней проволоки, когда в проходе появлялись

---

* Позже, еще во время войны и после нее, я старался при случае узнать о происхождении ленточек-листовок в Умани, но ничего не узнал: никто о них не знал. Осталось только предположить, что в Умани тоже была подпольная группа патриотов, изготовлявшая и распространявшая эти листовки. Таких групп в оккупированных немцами городах возникало много.

немцы. И откуда только эти кретины решили, что немцы понимают, что такое "пан"? Откуда он взялся? Впрочем, может быть "пана" сами же немцы принесли в начале войны, немецкие части, стоявшие в Польше? Или это украинцы распространили, по своей любви к полонизмам не забывшие "пана"? Не знаю, но впервые услышал раболепного "пана" еще во Владиславовке. Разнесли его по лагерям наверно какие-нибудь бывшие колхозные холуи, привыкшие по необходимости пресмыкаться перед своими бригадирами и председателями...

Прошло еще два-три дня — опять шевеление воды. После обеда пришел переводчик и сказал нам, отобранным, чтобы были готовы: "Пойдете в другой лагерь". В тюрьме сказали бы: соберись с вещами, — тут какие же вещи.

Простился с Копыловым. А накануне видел издали Анохина, в лазаретном загоне, наискось от нашего. Порадовался за него: если поднялся, ходит — мы помахали друг другу руками, — значит выкарабкался, будет жить.

Всех отобранных в нашем лагере оказалось восемь человек. Привели к вахе. Впереди немецкий солдат, позади другой — пошли в город. Мы слышали, что в Умани, на другой стороне, есть еще лагерь, на бывшем аэродроме, но где и далеко ли до него, из нас никто не знал.

Я опять приготовился смотреть в городе "во все глаза": как в нем люди теперь живут? Почти за две недели в лагере я не раз пытался узнать об этом у соседей, работавших в городе, но толку добился мало. Не попадалось никого и пограмотнее, понятливее, — большинство просто не понимало, чего я от них добиваюсь? Как обычно у хронически голодных людей, все их помыслы были заняты одним: как бы достать еды. Если бы я спрашивал, как в городе хлеба купить, или белье загнать, ботинки, на хлеб обменять, — на этот счет они знали все. И я пытался узнавать окольными путями, будто интересуюсь именно тем, как "достать".

То, что узнавалось, было мрачным. Жителям приходилось туго. Зимой сильно голодали: немцы о снабжении совсем не заботились, может быть сознательно обрекая население на голодную смерть. И ходить по деревням не разрешали. С весны стало получше: уже была городская управа, из местных жителей,

она старалась наладить привозную торговлю из окрестных колхозов, которые немцы не разрешили распустить. Восстановили некоторые разрушенные войной предприятия, чтобы дать жителям какую-то работу. Открыто несколько церквей, школ, постепенно жизнь города как-то налаживается, хотя и с большим трудом. Все зависит от немцев, на каждую мелочь надо их разрешение.

Шли другими улицами, тоже пустынными. Только ближе к центру стали попадаться прохожие. В одном месте, похоже, перед столовой, стояла целая толпа. Магазинов тоже не видно. В угловом окне большого дома выставлены за стеклом игральные карты, сделанные наверно от руки, на продажу — первый признак какой-то деловой активности.

За городом, немного в отдалении — каменные строения, повели к ним. Это и был лагерь военнопленных. Впереди большой дом, занятый очевидно немцами. Оттуда вышел военный, пропустил нас в ворота рядом, с колючей проволокой наверху и будкой с часовым. Дальше тоже кирпичные дома, неширокий двор, с большой мусорной ямой в середине — в ней постоянно копались два-три пленных, перебирая мусор, в надежде найти что-нибудь съестное. Против ямы, замыкая правую сторону — длинный трехэтажный кирпичный корпус. С левой стороны небольшие строения: кухня, склады. Нас приняли полицейские, предложили располагаться в длинном корпусе, где понравится.

Нравиться в нем было нечему. До войны в этих строениях помещалась летная военная часть, в длинном корпусе, видно по всему, было общежитие персонала. Высокие просторные комнаты, на каждом этаже большой зал, один со сценой. Помещения совершенно пусты и ни одного целого окна, некоторые вырваны с рамами. По корпусу свободно гулял ветер. Кое-где на грязном полу, по углам и у стен, лежали пленные.

Взлетное поле, с ангарами перед ним, было дальше, в поле. В первые же дни войны немцы разбомбили аэродром, взлетные дорожки и ангары, вместе с самолетами. Дома остались неповрежденными, вылетели только все стекла. Немцы отремонтировали помещения для себя, длинный корпус отвели для пленных — его ремонтировать было незачем. Лагерь был

небольшим: меньше тысячи пленных. Многие работали: немцы решили отремонтировать для себя аэродром, пленные и работали на ремонте.

Нас, отобранных для "аппарата украинского правительства", оказалось двадцать человек, поместившихся в комнатах на втором этаже. Я прошел их все, поднялся и на третий этаж, по широкой лестнице, — везде был сквозняк, пыль и грязь на полу, во многих местах со стен и потолка осыпалась штукатурка. Спустился опять на второй этаж — в нем ветер будто бы потише. Но защиты от ветра нет нигде, только на полу у стен словно немного затишка. Разыскивая себе место, проходил мимо закутанной в тряпье фигуры, лежавшей у стены. Человек повернулся, открыл глаза и сделал приглашающий жест рукой:

— Располагайтесь, коллега. Лучше места все равно не найдете, везде одинаково пакостно.

Да, верно, везде одинаково, в этом я уже убедился. И надо было где-то "бросать якорь": после марша через город я чувствовал большую усталость. С неприятным чувством подумал, что теперь не смог бы идти по тридцать километров в день, как в первые дни плена: тогда, оказывается, сил было больше. Поблагодарив за приглашение, положил рюкзак к стене и лег на пол недалеко от гостеприимного "коллеги".

(Продолжение следует)

Г. Андреев

ВИЗАНТИЯ

Мерещится: вращается осанна,
Блаженствами за-мед-лен-на-я, шаром.
И кружимся мы вместе, невозбранно,
Помилованы, избранные, даром:
Вне времени, вне бремени псалом.

Сияли свечи — золотые рыбы,
А фимиамы — синие туманы.
Колонны — водоросли. Диво, ибо
Не аква — а аэроокеана
Колышется зеленый окоем.

Часовни — тайны-родники-пещеры,
Не черные, а бронзовые, смуглы.
Верхи аукаются — хоры веры.
Облегчены, огречены, округлы,
Боголюбивые, хвалу поем.

Голосовые связки — аллилуйя,
А ангелы — органы, гусли, трубы.
Рыдали души, радуя-ликуя.
И раскрывали золотые губы.
Мы катимся, сверкая, колесом.

ПСКОВ

Николаю Андрееву

Пятины Новгорода обширней,
Но каждой пядью дороже Псков,
Где храмы вылеплены просвирней,
Крутые, крепкие, без углов.

Мережка (нежная) полотенца
На шее (широкой) хороша.
Приподымая брови младенца,
Резвится, радуется душа.

Негромкие звонницы-псалтири
С пролетами в небо: синь и серь.
Жили бы да поживали в мире,
И, не откладывая, теперь.

Сугробы грели вросшие срубы
Медвежьей ветхой белой дохой.
Целуйте крест, обмерзшие губы:
За здравие — не за упокой.

Изгнанье — счастье: нигде не дома!
Так отчего же мне снится Псков?
До башни, названной Кутекрома,
Уже не больше пяти шагов.

Юрий Иваск

ЗАМЕТКИ ХУДОЖНИКА

Бывают дни спокойные и дни неспокойные. Окружающий мир видишь тогда по-разному.

В спокойные дни мир более реален, в неспокойные — сюрреален, даже абсурден. Это двоякое видение так же естественно, как день и ночь. Как на ленте кардиограммы бежит между этими точками подскакивающая линия наблюдений. Некоторые из них привожу ниже.

*

Весь органический мир связан между собою. Мы замечаем целый ряд параллелей и сходств между одушевленными и неодушевленными формами. Из этих параллелей самая юмористическая и одновременно самая сюрреальная — это сходство тела человеческого с плодами и овощами.

"Нос картошкой!". И мы смеемся. А гоголевские головы "редькой хвостиком вверх" и "редькой хвостиком вниз"! Список можно составить предлинный. Носы могут быть "сливой", глаза — "вишенками", "изюминками", головы — "тыквой", "огурцом", живот — "арбузом". А фигуры! Грушеобразные, "стручком" и т. д.

Мне всегда казалось, что эти плодоовощные сравнения гораздо таинственнее и художественнее, чем, например, сравнения человека с животным. Большая дистанция создает перспективу, известную абстрактность, которая говорит нам больше, чем полу-животность.

Плоды и овощи "задумчивее", больше "в себе", больше вписаны в художественное пространство и время. Не в этом ли притягательная сила натюрморта?

И не потому ли в современном искусстве человек часто трактуется как натюрморт?

*

Видел раздавленный персик на земле. Какой потрясающий образ физической смерти!

*

Самое порнографическое, мертвенное и жуткое — это два совокупляющихся робота. Рычаги, поршни ходят, что-то шипит, свистит — и капает машинное масло.

*

Иногда, смотря на ребенка в детской коляске, представляю себе, как лицо его вдруг начинает стремительно расти, взрослеть, потом на мгновение останавливается и внезапно морщится, стареет.

Или — идет старик, сухой и корявый.

Улыбнулся — и лицо его разглаживается, розовеет, уменьшается и становится детским.

Вот и вся жизнь, сокращенная до нескольких секунд!

Эти зрительные упражнения делаю для того, чтобы найти какой-то фокус лица, когда человек больше всего на себя похож. Когда-то у Рильке прочел, что человеку дается в жизни несколько лиц. Износится одно — в запас есть другое. Это обветшает — еще одно имеется. И еще. Но если человек скверно, внутренне неряшливо живущий, износит все, то остается лишь нелицо, das Ungesicht. Но в нем-то, может быть, и сокрыта разгадка человека. Вот и навожу глаз, как объектив фотоаппарата, заглядывая вперед и назад — не проступит ли тайна лица-нелица?

ХВАЛА ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Как ее только не ругают!

"Посредственность" — говорят и кривят губы. Но справедливо ли это? Как страшен был бы мир без посредственных людей! Как безумно накалено, напряженно было бы наше

существование! Мы вечно ранились бы об острые углы "выпуклых личностей" и "острых умов". Мы всегда ходили бы в тени от "недосягаемых высот человеческого гения" — и это-то везде и на всю жизнь!

А вот, с другой стороны, говорит вам человек:

"Да, хорошая сегодня погодка... А вчера вот дождь был, поди ж ты. А назавтра — кто знает?".

От этого у меня на душе успокоение. Мир укладывается в спокойные, хорошие добрые формы. Наступает порядок и покой.

И тут-то (и только тут-то) и можно разбежаться. Тыл спокоен.

Все рыбы — утробные, из утробы мира — воды. Смотрим на них как на зародышей в спирту и смутно ощущаем наше происхождение.

Поэтому-то витрины рыбных магазинов так притягательны. Толпа зевак глазеет на диковинную рыбину с таинственно-мутным глазом и розовым брюшком. С чего бы? А вот с того самого.

АБСТРАКЦИЯ ТЕЛА

Чаша живота приподнята на тонких сваях (ногах) и прикрыта высокой крышкой с ручками (торсом) и шариком наверху (головой).

Другая абстракция тела:

Торс, голова, руки — это растение, цветок, листья. А пол и ноги — корни под землей. Поэтому-то пол так темен и таинствен. Преисподнее царство.

Представилось: на согнутых ногах, тряся головой, мычит косноязычно человек и делает какие-то знаки.

Что ему надо? Кто-то догадался и сунул ему карандаш.

И человек улыбнулся, успокоился, сел и стал рисовать — ясно, просто и твердо. Вот жизнь художника.

*

Голые, полуоткрытые животы девушек (между блузкой и джинсами) с пупком — розовой мишенью. Так кажется в спокойные дни. А в неспокойные — пупок, как вытекший глаз слепого. Будто хотели наши внутренности увидеть свет Божий,

открыли глаз — и он сразу же вытек, ибо нельзя им лицезреть мир. Это все от жары на нью-йоркских улицах, мысли эти.

*

Убивали ли вы людей? Не на войне, а так? Нет?

А я — убивал. Кистью.

Людей рисованных, но не менее живых в творческом плане. Фигуры в моих композициях рождались уродами, без ноги, без головы. Они натыкались друг на друга как бациллы под микроскопом, в бессмысленном движении. Я их уродовал еще больше, менял их пол и возраст, одевал и раздевал. А потом, после долгих размышлений, то боязливо отворачиваясь от них, то повернувшись дерзко лицом к моим жертвам, уничтожал их кистью. И это было похоже на убийство.

Вот лицо — и вдруг — мазок! Нет глаза, исчезла улыбка! Еще удар кистью. Фигура разорвалась пополам и только ноги застыли еще в шаге да рука держит сумку. Еще два мазка — и осталась только тень от ног. Боже, как в Хирошиме!

А чувство потом — скверная усталость и скверное, беспокойное облегчение. Как у преступника, закопавшего труп и знающего, что его не найдут.

Утром у мольберта снова компануешь фигуры и радуешься новым лицам, новым жизням. Сентиментальность убийцы!

Как надувные детские шарики колышатся и плывут по знойным улицам Нью-Йорка женские зады в разноцветных, туго обтянутых брюках. Праздник округлостей. Грозди ягодиц. Пестрый виноград человечества. А им вслед — теплый ветерок несет запах цветущей липы, бензина и собачьих экскрементов. Нью-Йорк. Вонюче-сладостный город!

*

Сумерки. Сидишь, повеся нос. У ног трется котенок. Погладишь. Сквозь тонкую, теплую шкурку его чувствуются остренькие косточки, под которыми бьется маленькая, беспомощная кошачья жизнишка.

И вдруг, при повороте головы, блеснут зелеными вспышками два глаза-прожектора, две великолепные, великие

тайны его звериного существа. Так мгновенно познаешь масштабы жизни.

Случается так и в искусстве, когда в процессе работы вдруг почувствуешь цвет, или линию, или форму. Перед глазами вспыхнет тайна, осветив какую-то не определимую словами сущность окружающего нас мира.

В МЕКСИКЕ

Неправда, что глаза — зеркало души. У Заболоцкого сказано лучше — "как два обмана" выглядят два глаза человеческих.

У индейцев Мексики рисунок глаза почти абстрактен — заостренный по концам овал, мерцающий древним, темным огнем предков. Взгляд совсем не выразителен (в нашем смысле) — прямой и бесстрастный. Как глаз птицы. А за ним — тайна, но тоже не такая, как мы обычно ее представляем. Содержания в ней нет, есть только особое мироощущение, взращенное веками труда и молитв богам.

*

Самое сильное впечатление, получаемое в результате путешествий по разным странам, это — единство земли, человека и искусства. Из земли, из камней и дерева талантом человеческим создаются уникальные образы. Они разнятся, конечно, в охвате и по глубине своей, но всегда выражают сущность этого куска земли нашей. Все тут просто, ясно и красиво, все идет от формы камней, от деревьев и животных, населяющих эту местность. Все вписано в общий план, все ритмично, но и образно. Таково искусство Майа.

А у современных, у "городских"? Здоровый бородач, пьет, жрет, за девками бегает, а пишет тонкие абстракции метафизического уклона! Шизофреник!

*

Цивилизации имеют ритм и жест. Искусство Майа мужественно. Прямые линии, углы, сильные кривые являют нам характер людей твердых и дисциплинированных. И — жестоких.

Впрочем, либерализм, позитивизм и материализм тоже практикуют человеческие жертвоприношения, как делали это ацтеки и майа. Имена богов — вот в чем разница. У майа — Кветцалкоатл, Чаак, Кукулкан. У современных людей — человеческое благополучие, равенство и т. д. А народ гибнет. Ох, уж эти идеи! С богами-то проще было!

*

Иногда, путешествуя, очень хочется выразиться страшно слащаво и пошло, для себя самого, конечно. Это, как бы, потихоньку от всех да положить в чай четыре ложечки сахару — чтобы донельзя было сладко. Чтобы продернуло даже. Например, смотря на руины Майа на Юкатане, сам себе сказал: "руины молчат, приложив палец к губам". Или: "они спят, закрыв усталые веки — осыпи камней". Сказал — и поморщился, до того уж пошло, по-мещански вышло. И все же, к стыду своему, тут же себе признался, что-то в этих словах передает ощущение от них.

Так, в живописи, надо иногда взять какой-нибудь совершенно невозможный цвет, малиново-сиропный, земляничный, ядовито-зеленый — а вдруг зазвучит? И бывает — звучит, подлый! Правда — не часто.

Матисс знал эту тайну.

Кустарники и деревья — это густая, зеленая шерсть на теле животной матери нашей — сыры-земли. Правы были наши славянские предки — сыра, сыра земля — материка, мистически сыра, влажна — как на Юкатане в Мексике.

СВОБОДА И КРАСОТА

Тем, кому в детстве приходилось бродить по лесу и вдыхать его сырую прохладу, знакомо, я думаю, то интенсивное ощущение жизни, которое охватывает человека, окруженного массой растительного мира.

Это радостное и задумчивое чувство слагается из разнообразнейших запахов, шорохов и зрительных заметок, не переходящих в определенные мысли и заключения (да и какие же заключения могут быть у ребенка?). Ему знакома только жизнь и

непонятна смерть. Но иногда, находя на пути полусгнившее крылышко птицы или кость зверька, он ощущает — не страх, конечно, но предчувствие временности всего живущего. И от этого сразу же еще сильнее и радостнее дышится, и хруст веток под ногами подтверждает силу его жизни.

Эти картинки детства всплывают в моей памяти, когда я задумываюсь о связи свободы и красоты.

В разговоре с одним недавно прибывшим на Запад русским художником, сравнивая творческую жизнь под властью диктатуры и в условиях свободы, я употребил выражение "зоопарк" и "лес".

Зоопарк дает клетку, уход, обеспеченность питанием и даже, в модернизированных условиях имитацию природы — скалы, поляну, где можно побегать. Но вокруг ров с водой и сетки.

Если ты — лев, то тебе причитается столько-то килограммов мяса в день. Если заяц — тебе морковка. Обезьяне — трапеция и банан в лапу. И звери живут.

А "лес", "заросли свободы"? Шорохи, запахи и крики, гниющее крылышко кем-то убитой птицы, кость кем-то съеденного зверька. Эти останки среди пышной зелени суть знаки жизни, символы жестокой свободы.

Зверь в лесу и преследователь и гонимый. Он живет настороже, защищаясь клыками, когтями и шкурой, раскраска которой скрывает его от врагов. И поэтому-то шкура — носительница всей животной красоты, всех узоров, пятен, полос и расцветок. Ее краски и линии прекрасны, ибо выработались в погоне и бегстве, в миллионах смертей и рождений в жестоком мире, не прощающем слабости и неумения. Красота идет звериной тропой. Выживают сильнейшие. И они же — красивейшие.

Какая страшная мысль! Но это именно так. "Вы хотите страданья?" — спросил Дикаря Вершитель судеб в "Смелом, новом мире" Альдуса Гэксли. "Да, так как страдания дают глубину чувств" — ответил Дикарь. И — добавлю от себя — красоту.

А в зоопарке тихо. Животные прилегли, устав от бессмысленной жизни. Только какой-то неспокойный зверь все ходит и ходит, все тискает мохнатую морду между железных прутьев.

Это свобода его зовет — и красота.

ГЕНРИ

Познакомился я с ним в одном художественном ателье. Звали его Генри. Он был толст, щекаст и лыс — гигантский младенец лет 50-ти с небольшим.

По профессии Генри был шрифтовиком. Прошел почти год в совместной работе. Я узнал, что Генри холост, живет с овдовевшей матерью 80 лет, не пьет, не курит, консервативен во взглядах, скуповат, осторожно играет на бирже и, пожалуй, во всех отношениях человек довольно посредственный.

Но однажды я узнал, что у Генри имеется тайная страсть, а именно — литература! В течение многих лет он, оказывается, занимался на заочных курсах по отделу "литература".

Старательно строил завязку, развивал действие, шлифовал язык и периодически посылал свои произведения в разные крупные литературные журналы. А отказы в любезной письменной форме (только они и были) хранил на память. Кажется, их у него было свыше ста. Ни одного рассказа я не читал, но главную движущую пружину, главный нерв его творчества мне удалось понять.

"Вот знаете, встретил я в магазине человека, брат которого — какое совпадение! — знал хорошо моего отца" — сказал мне как-то Генри.

В другой раз встреча была с дамой, которая — какое совпадение — жила в свое время на той же улице, что и его родители.

Или же: "читал сегодня в газете про большой пожар на такой-то улице, а это ведь — какое совпадение — в одном квартале от того ателье, где я работал в 1948 году".

Я стал следить и обнаружил, что жизнь Генри оживлялась совпадениями. Они были связующей нитью, живой водой, смыслом и надеждой его лишенной событий жизни. И в коротких своих рассказах он, конечно, старался поведать читателю, что жизнь полна именно совпадений. Они и придают ей столь необходимый интерес.

Поскольку совпадения все черпались из жизни самого Генри, неуспех рассказов был более чем понятен.

И все же, с легкой руки Генри, термин "совпадение" привязался с тех пор ко мне и не отстает. Нет-нет, да и поймаешь себя на том, что видишь тут или там — какое-то совпадение! Даже злиться одно время стал на себя — что за привязчивая штука! Но потом вдруг озарило — Генри был прав! Совпадение есть необходимость — не в жизни, может быть, но в творчестве.

Форма совпала с содержанием!

Исполнение совпало с замыслом!

Каково!

Стоя перед мольбертом, ехидно сам себя спрашиваю: "Что, совпадает?".

О РИСУНКЕ

Много лет тому назад в воронежский художественный кружок при доме пионеров ходил мальчик Саша, длинный, неуклюжий, застенчивый. Было ему, как и всем нам, лет 12-13. Над ним слегка подсмеивались, и не только из-за его неуклюжести. В его рисунках, очень, кстати, талантливых, все люди были такие же, как и он сам — длинные, нескладные, не стоящие твердо на земле, а наклонившиеся под разными углами в состоянии застывшего неравновесия.

"Это Сашка себя рисует" — хихикали мы. И это было верно. Мы все себя рисуем. Рисунок — это почерк. Так же, как и по почерку, мы можем узнать по рисунку характер, внутреннее содержание человека.

Если наш письменный почерк выработался в связи с дисциплиной написания букв, то почерк в рисунке вырабатывается в результате дисциплины внешнего образа — предмета, фигуры, пейзажа.

Мы видим здесь известный дуализм искусства, два его полюса. Они те же, что и в жизни — свобода и закон, темперамент и дисциплина. Темпераменту так же нужна дисциплина, как свободе — закон.

Дисциплина действует как необходимая составная часть, присутствие которой возбуждает, заставляет бродить, отталкиваться. И когда человек много рисует, то внутренний ритм его в сочетании с дисциплиной "утрясывает" наблюдения, пропорции,

создает истинный почерк, такой же непонятный и закрытый для непосвященных, как и простой письменный почерк. И такой же восхитительно-открытый для людей, любящих искусство.

РУССКИЙ ПЕЙЗАЖ

В газете "Нью-Йорк Таймз" появилась в свое время статья критика Хилтона Кремера под заголовком "Пейзаж — это преобладание замысла над природой".

"Мы всегда испытываем некоторый шок — писал он — когда узнаем, что так называемая природа не является девственным, неизменным фактом вселенной, а во многих отношениях представляет собой человеческий вымысел.

Констэбл, работая над живописным решением облаков, создавал идеал своей эпохи. Даже самое яростное отрицание человеческими руками созданного мира есть в конце концов выражение именно этого мира!

Чем больше мы ищем спасения в природе, тем больше мы включаемся в мир наших общественных представлений о нем".

Продолжаю от себя мысль Кремера. Форма и содержание неотделимы друг от друга. Мы совершенно неправильно говорим о каком-нибудь произведении — "хорошо по форме, но не глубоко по содержанию". Это — абсурд. Если хорошая форма — глубоко и содержание. Если глубоко содержание — для него находится художественная форма.

Узкое, слабое содержание *не может* иметь интересной формы. Так оно и есть в русском пейзаже. Основной его мотив — лиричность, грусть, уют. Гамма ограничена. А как широка она в русской литературе! Один Гоголь чего стоит — тут и добрейший юмор, и символика, и сюрреализм, и яркое бытописание, и экзистенциализм, и анти-герой.

Поэтому-то и форма в русском пейзаже мало интересна, мало выразительна. В вечерних звонах, в зеленых шумах, на московских двориках дремлет русская пейзажная живопись, отражая способность русского человека к пассивному наслаждению. Русский пейзаж выразил наиболее женственную сторону русской души. Жаль. Русская душа гораздо шире.

С. Голлербах

ПОЭЗИЯ

У этой нос длинен на полвершка,
А ту застал художник белобровой,
И я спешу нагнуться над подковой
Потерянной: знать, не была крепка?

Вон звездочки в четыре лепестка,
Но мил цветок и пятилепестковый,
И кажется задиристой обновой
Цезурой не стесненная строка.

Уютнее не скатерть, а клеенка,
И — вспомните про Гадкого Утенка —
Поэзия ютится кое-как:

Стол неказист, и угол неопрятен,
Но ей одной, свободы тайный знак,
Зов лебедей взлетающих понятен!

СЛАВА

"Золотокрылая, звонкоголосая слава",
верно, похожа на феникса и соловья:
порфироносно-торжественна и величава
крупными буквами слава — увы, не моя.

Славка, пожалуй? Щебечет, кружит над овином
или над погребом — и не боится зимы.
Часто, следя за порханьем ее воробьиным
в зябкое утро бодрее становимся мы.

Всё же летунья беспечная учит гордыне:
слава — иное: похожа скорей на слона,
тяжко ступающего по цветам и полыни.
Ну, а моя-то... пуглива, мала и бедна.

Не дотянувшись до милой щебечущей птички,
не уподобив ни птицам себя, ни зверью,
все отвергаю сравненья — и ставлю в кавычки
славищу, славу, славишку, славенку мою!

Валерий Перелешин.

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Среди идеологической респектабельности, барской неторопливости и аффектированной солидности эпического режиссёрского почерка советской киноаристократии — Герасимова, Бондарчука, Птушко, Кулиджанова, Зархи, Александрова — режиссёрский стиль Сергея Параджанова, как удары цветных молний.

Среди старательно приумножаемого материального и душевного благополучия, салонной импозантности, среди самовлюблённых улыбок, велеречивых разглагольствований за коктейлями и уверенности в своём праве на фантастические заработки за "идеологическое прилежание" советской киноверхушки — облик Сергея Параджанова, это оживший архетип восстающего против догматизма и бездушности власти "отцов" "сына", вдумчиво и страстно провозглашающего свою правду. Правда эта — о человеческом пути к мудрости, об экзистенциальном творчестве как ферменте развития человеческой души, о внутренней необходимости богоискательства, о единении с миром, которое даруется любовью, о смерти, которая всегда близь такой любви, зачавшей "весь мир", о властности духа или о духовности любви, о метафизике становления человеческой судьбы.

Среди большинства советских кинодеятелей — людей, движимых профессионально-карьеристским жжением, идеологических приспособленцев, превративших себя в альковных пажей при вельможах советского партийно-бюрократического "двора", уже пожилой, но с по-молодому душевной разверзтостью миру и людям Параджанов успел сделать всего

два полнометражных фильма (что во много раз меньше, чем у режиссёров гораздо более молодых, чем он). Путь к первому большому фильму был долог и было вообще неочевидно, приведёт ли он к цели, ибо Параджанов отнюдь не подавал властям знаков своей верноподданности (что необходимо для режиссёра, жаждущего получить кинокамеру в своё "творческое" распоряжение).

Находящийся ныне не то в тюрьме, не то в концлагере Сергей Параджанов успел сказать своими фильмами (один из них — первый, американские кинозрители могли видеть — "Тени забытых предков"; второй — "Цвет граната", советские власти в Америку не пустили) о чуждости настоящих, душевно глубоко живущих людей тоталитарно-официозным мнениям и влияниям, о чуждости духовно живущего человека полицейски-механическому давлению тоталитарной системы, и о страдании, неизбежном при столкновении живого, неприспосабливающегося человека, с однопартийной системой власти.

Нет, Сергей Параджанов не удостаивает советскую действительность, затоптанную и загаженную партийно-административными "носорогами" не из пьесы Ионеско, а из прожектов Маркса и Ленина, включением её в мир своих фильмов. Последние субсоциальны и метавременны. Муза Параджанова обитает в дебрях "архаического наследства" К. Юнга и "музыкального бессознательного" Жака Маритэна. И именно поэтому она в высокой степени национальна.

Национально-народный дух в фильмах Параджанова всегда воплощён — это эстетика "плоти" народных обычаев, традиций, обрядности, "сельского дизайна", "натурального искусства". Национально-народный дух цветёт на экране: фактура зрительного ряда изнемогает от избытка красок, ритма массовых сцен, от наполненности и здоровой напряжённости жизни, делающих всё происходящее на экране, будто, одним непрерывным мистическим действом.

Невоплощённый же дух в его фильмах (ищущий) — это принадлежность героев (центральных персонажей). Они рождены в лоне народности и концентрируют в себе её красоту, гармонию и силу, и исторгнуты из неё, как и полагается рождённым. В главных героях обоих Параджановских фильмов нацио-

нально-народный дух обретает свою онтологическую недостаточность и превосходит сам себя. Центральные персонажи фильмов Параджанова — носители метафизической тяги. В их личностях метафизической потребностью плодоносит национально-народный дух, ею он индивидуализируется, делая обоих героев Параджановских фильмов трансцендирующими странниками этого мира.

Параджанов вообще ничего не говорит в своих фильмах о советской действительности, ни хорошего, как все советские кинорежиссёры, ни плохого, как советские диссиденты словами или делами. Как же получилось так, что человек, не имевший, казалось бы, с тоталитарной властью — никаких мировоззренческих линий пересечения, оказался в советской тюрьме?

Западному человеку трудно понять, как человек, вообще не занимающийся никакой политической деятельностью, создатель изощрённых произведений прекрасного, отвлечённых от непосредственной социальной жизни, человек, погружённый в изучение фресок в старинных соборах и проблемы духовности, может оказаться репрессирован как опасный для власти.

Но в СССР это так, и это понятно, более того, в СССР иначе и быть не может, ибо опасным для власти считается не только тот, кто борется с ней, но ТОТ, КТО ЕЙ ОРГАНИЧЕСКИ ЧУЖД. Краеугольный камень тоталитарной психологии — это нетерпимость к иному, вообще подозрительность, страх и ненависть к другости, к представлениям, мнениям, привычкам, отличающимся от твоих собственных. Тоталитарный человек может любить только тех, кто похож на него, дружить только с теми, кто такой же, как он. Отличаться от общепринятого, от нормированного — вот самый основной и самый страшный грех в тоталитарной стране.

Задолго до работы над своими двумя фильмами с участием актёров Параджанов на Киевской киностудии снимал "документальный" фильм о фресках в церквях Киевской области. Фильм этот был запланирован, по-видимому, специально для того, чтобы продать его за-границу и вообще для показа иностранцам: ведь советскому народу смотреть фильмы о религиозных сюжетах "противопоказано". Фильм был нужен советским властям, чтобы "пустить пыль" в глаза иностранцам:

смотрите, мол, какие у нас на территории СССР храмы, вот как охраняется старинное искусство (западные кинозрители всё равно не поняли бы, что церкви в своём большинстве разрушены или пустуют на запоре, или превращены в склады и танцплощадки, а фрески уже полууничтожены, и только Параджановское умение виртуозно работать со светом компенсировало этот факт на экране). Но на предварительном просмотре (цензурном; режиссёров в СССР ещё до завершения работы над фильмом принято проверять несколько раз, смотря незаконченный фильм во фрагментах) комиссия столкнулась с такою жгучей выразительностью режиссёрской работы, что расценила фильм как апофеоз религиозности (да это так и было) и, подавленная мощью слившихся в фильме в одно — религии и красоты, в панике "закрыла" фильм, не дав его доснять до конца.

Чтобы добиться разрешения на постановку фильма "Тени забытых предков" Параджанову пришлось прикрываться исторически-национальными аргументами: надо, де, показывать историю советских предков, с бытом, "трудовыми подвигами", "классовыми противоречиями" и тому подобными атрибутами из пособий по "истории СССР". При просмотрах фильма сразу же выявилось несоответствие лояльных Параджановских обещаний тому, что было на экране. Переживания героев были малопонятны, комиссии были раздражены "длиннотами" и имели большие претензии к поведению главного героя (в нём совсем не ощущался предок ленинизированного крестьянина или пролетария). На всё была, будто наброшена "какая-то вуаль", скрывающая сокровенный смысл происходящего, и то ли это говорило о неумении режиссёра "чётко донести мысль до зрителя", то ли о присущем ему "пороке формализма". Но именно то, что членам комиссий было неясно, кто же такой по существу своему главный герой фильма, чему же он радуется и чем недоволен, что же он в конечном итоге хочет и ищет, оказалось к счастью для Параджанова, для судьбы фильма и для тех, кто через какое-то время стали поклонниками его творчества. Из-за "национально-исторической экзотики" фильм всё же решили пустить в прокат. Так в возрасте около 40 лет родился сразу же ставший всемирно известным кинорежиссёр Параджа-

нов, которому, однако, на Киевскую студию больше "соваться" не имело никакого смысла.

И вот после ряда лет безуспешных попыток найти серьёзную профессиональную работу Сергей Параджанов вновь всплывает на этот раз на армянской киностудии под прикрытием уже однажды его выручивших исторически-национальных аргументов, окрашенных теперь в наиболее близкие ему тона его родной национальности. Параджанов будучи всечеловеком был ещё и армянином. На национальной студии ему удалось найти людей, которые на время съёмки фильма "Цвет граната" "прикрыли" его от дотошности советской цензуры.

Главные герои фильмов "Тени забытых предков" и "Цвет граната" — антиподы, связанные духовной преемственностью. Герой первого фильма — предтеча героя второго. Путь его богоискательства начинается от невозможности для него примириться с убаюкивающими соблазнами этого мира, с пассивностью коллективно-народной жизни, с покорной отдачей себя всяческим тотальным детерминантам. Познав предвестие индивидуального и личного бога в идеальной любви к женщине, он уже не мог внутренне ориентироваться на дух природной (народной) жизни. Религиозный путь, выраженный в "Тенях забытых предков" — негативный, путь сопротивления героя этим гармониям-сиренам, зовущим его под свою сень, путь отрицания гармоничности массового сознания и массового поведения, в пределах которых индивидуальная смерть не проблема по сравнению с родовым бессмертием. Утверждая нащупываемую им стихийно свою линию Богоискательства, герой интуитивно приходит к выбору индивидуальной смерти вместо родового бессмертия. Его смерть осмысленна и потому по-настоящему трагична. Это, может быть, самое большое, что можно сделать в язычестве.

Там, где умирает герой "Теней забытых предков" — там, в этой точке духовного странствия, рождается герой "Цвета граната", путь которого, это путь к (уже не природно-социальному), но к личному бессмертию во Христе. Преемственность этих двух героев — это сама персонифицированная преемственность между теми элементами в язычестве, которые

тянутся к христианству, и самим христианством. Родовое бессмертие — индивидуальная смерть — духовное бессмертие — вот цикл духовной эволюции человека, который успел охватить и осветить Сергей Параджанов в двух своих фильмах.

Прототипом героя "Цвета граната" является выдающийся своеобразием собственной личности и поэтического почерка армянский поэт 17 века Саят Нова. Но что такое прототип, когда речь идёт о людях, поднимающих в своих исканиях общечеловеческое, и что такое конкретный исторический период, когда речь идёт об эсхатологии? Мистическое видение художника Параджанова сжимает пласты времён, размывает телесные и случайно-индивидуальные различия, расчищая одну первопроблему — человек и Бог.

Фильм "Цвет граната" оригинальностью и необыкновенной яркостью стиля, а также мудростию выраженного в нём личного опыта становления судьбы человека, движимого метафизической страстью (что сделало фильм, вероятно, первым "житием святого" в кино) производит почти сверхъестественное впечатление.

Советские идеологические комиссии он потряс тоже — своей абсолютной непонятностью, ненужностью, никчёмностью, вопиющей неоправданностью всего, что происходит на экране. Запрещать фильм не было причин — ничего антисоветского, но и разрешать его было незачем ("а что этот фильм может дать советским кинозрителям?!"). Члены комиссии увидели в фильме только "формалистические изощрения эстета-декадента". Фильм в прокате, практически, не был. Однако, в Москве и Ленинграде при очень сильном желании (которого многим из интеллигентной молодёжи было не занимать стать) можно было в крайне немногочисленных "специальных местах" (залах домов творчества писателей, художников, композиторов и самих кинематографистов, в Доме учёных, в клубе Института ядерной физики, в залах киноклубов и тому подобных элитарных точках) увидеть сокращённую в несколько раз версию, которая не была дублирована с армянского на русский. Рассказывали, что Параджанов не хотел "осквернять" фильм русско-советским языком — языком метрополии, проводящей и в настоящее время жестоко колониальную политику относительно

своих так называемых "республик". Официально он мотивировал тем, что перевод очень труден, так как в фильме говорят не просто по-армянски, а языком духовно-религиозной традиции, вплетшемся в старо-народные наречия (и тем более трудно, добавлял, что на киностудии не было отпущено достаточно денег на этот фильм вообще и для действительно квалифицированного перевода на русский в частности, что, конечно же, было абсолютно верно, ведь Параджанов не "идеолог" Герасимов с чрезмерно щедрым финансированием своих фильмов).

Итак, так называемой "интеллигенции" посмотреть фильм дали, но и она в своей массе мало, что поняла, а те, кто поняли — промолчали или пошептались. Был, однако, и узкий круг восторженных поклонников фильма — главным образом, молодёжь с полуофициальным или неофициальным образованием, полулегально интересующаяся философской и религиозной литературой, современным искусством.

В фильме "Цвет граната" разработан эзотерический киноязык, изоморфный эзотерическим языкам духовных текстов. Весь фильм — это МЕТАФИЗИКА, **ВОПЛОЩЕННАЯ** В ЦВЕТ И ДВИЖЕНИЕ, метафизика во плоти цвета и движения.

В фильме произошло удивительное слияние лирической исповеди и повествовательности, отчего видимый на экране мир одушевился и ожил, привитый на психологической глубине, последняя же обрела сгармонизированность, упираясь в социальные реальности и срастаясь с ними. Социальное стало проекцией психологического, психологическое же ипостасью социального. Поэтому "Цвет граната" являет собой образец среды, где внутреннее и внешнее, психологическое и социальное пребывают в идеальной гармонии, построенной силой красоты по закону духа.

Образ кинорежиссёра Сергея Параджанова, проглядывающий сквозь наш краткий обзор его столь малочисленных фильмов, делает понятным его арест советскими властями. В тоталитарной стране, где чуждость господствующим нормам — самое большое и самое глубокое зло (первозло в глазах советской власти), Параджанов с каждым фильмом всё больше обнаруживал свою органическую инородность всему советскому. Более того, каждый фильм, особенно последний, становился, как

бы, своеобразным манифестом этой его чуждости. Параджанова ненавидели всё больше, ненавидели за его непонятность, в конце-концов просто за то, что он существует.

Его чужеродность господствующей идеологии и насаживаемым нормам вполне объяснима чуждостью духовности всякому тоталитаризму. Параджанов для советской власти стал, как бы, символом того, что ей чуждо и ненавистно.

Вот почему Сергей Параджанов, не смотря на протесты западной общественности вот уже более двух лет сидит в советской тюрьме. Сфабриковать дело для КГБ не трудно. И не всё ли равно, что именно для проформы инкриминировали Параджанову.

И сейчас, когда в Нью-Йорке снова идёт суперколосс С. Бондарчука "Война и мир" (инсценировка романа Л. Н. Толстого), фильм, где Толстой подвергся духовной кастрации и где мир его романа и Россия представлены как самодовольное копошение плоти, где пышность вещей затмила духовную суть происходившего, где смысл потерялся в декорациях домов и интерьеров, в атрибутах быта, в размахе массовых сцен — думать о том, что Сергей Параджанов, который мог бы снимать фильмы не о быте, а о бытии, сидит в тюрьме, невыносимо.

И вспоминаются начальные кадры его "Цвета граната". 1. Сероватое полотно. На нём плод граната. И медленно под ним и вокруг на полотне самопроизвольно расплывается кроваво-красное пятно. 2. Сероватое полотно. На нём кинжал. И столь же медленно под ним и вокруг расплывается то же кроваво-красное пятно. (Плод граната — сердце художника, святого. Кинжал — техника искусства-исповеди). Западная общественность обязана сделать всё, чтобы Параджанов не оставался в лапах советских тюремщиков. Он принадлежит миру.

В. Зубов, 1976 г.

ГАЛИЛЕЯ

Алексею Хвостенко

Пою на флейте галилейской лютни
Про озеро похожее на скрипку
И в струнах голос друга или рыбы
Да озеро похожее на птицу

О, озеро похожее на цитру
Над небесами где летает небо
Там голубая рыба или птица
На берегах мой друг доныне не был

Поет ли ветер — это Галилея
Ты помнишь друга — это Галилея
Привет поющей рыбы — Галилея

На дудке филистимских фортепьяно
На бубне голубого барабана
Пою в огне органа Ханаана
Под пьяный гонг баяна Иордана

Молчи — то аллилуйя Галилеи
Ты слышишь — Галилеи аллилуйя
О лилии белее — Галилея
О пламени алее аллилуйя

О небо — галилейская кифара
О колокол воды как пламень звонкий
Поет мне рыба голубого дара
Да арфа птицы вторит в перьях тонких:

О лилии белее — Галилея
Любви моей алее аллилуйя

Анри Волохонский

ПОД ЗНАКОМ ДИФЕРЕНЦИАЛА

ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ МОРШЕНА

Холодный ветер бродит у откоса,
Сухие листья треплет налету,
И, сорваны, ныряют листья косо
Летучими мышами в темноту.

Я смерть трактую не как точку —
Как двоеточье:

...Чтоб побеждало смертоборчество
Второй закон термодинамики...

Теснее чары! За слова,
За связь, родившуюся в мире,
Где 2^2, 2+ 2,
И 2 X 2 = 4.

Почему под эпиграфами не указано авторов? Кому они принадлежат? Разным поэтам? Нет — одному — Николаю Моршену, в разных сборниках и в разные периоды его творчества. Первый эпиграф — из "Тюленя" (1959), второй и третий — из "Двоеточия" (1967), четвертый — из еще, к сожалению, неизданного сборника — в который входят стихотворения, появившиеся в "Новом Журнале". Эти стихотворения объединены поэтом в одну тетрадь. Тетрадь озаглавлена: "Эхо и зеркало", с подзаголовком: "Идееподражания и дееподражания".

Смысл заглавия настоящей статьи, — заглавия несколько неожиданного для поэтической критики, будет ясен из последующего, в особенности из последней части, трактующей "Эхо и

зеркало". Пока же это заглавие может быть оправдано отчасти и тем, что поэт — физико-математик, а критик — физико-химик.

Теперь скажем несколько слов о контрастах в развитии творчества Николая Моршена — контрастах, отмеченных выше в эпиграфах.

Поэтов русской эмиграции можно разделить на две группы по признаку изменчивости поэтического почерка в развитии их творчества. Одна группа, совершенствуя свой почерк, оставляет его в основном тем же: можно сразу сказать — вот это стихотворение Кленовского, Лидии Алексеевой. Сильно меняли свой почерк Иван Елагин, Игорь Чиннов и Николай Моршен. В чем заключается причина таких резких внешних изменений? Попробуем заняться "графологией" поэтического почерка Моршена и выяснить — нет ли чего-то общего и единого в его разных манерах письма от "Тюленя" до сборника "Эхо и зеркало"? Попробуем свести общее, интегральное значение каждого периода творчества Моршена к некоторому основному элементу — дифференциалу — и выяснить — не остается ли этот дифференциал в основном подобным самому себе, лишь принимая более точные формы.

Для этого сделаем сначала беглые характеристики каждого сборника. "Тюлень" (с предисловием В. Маркова) заключает в себе 44 страницы стихотворного текста. Заглавие сборнику дает одноименное стихотворение о тюлене, который дышит, пробивая отдушину во льду — образ подсоветского человека, который из-под "сплошного пласта" гнёта находит себе отдушину ввиде одиноких размышлений о постороннем: "...в частности, о том, / По детским книжкам памятном тюлене..." Сборник издан в эмиграции, но его темы всё еще полны воспоминаний об оставленном, — в том числе и о советском гнёте. Но там же воспоминания о Киеве, о детстве "на реке", и, конечно, общие всем поэтам лирические темы — о любви, об одиночестве, о природе, о смерти. В этих лирических темах любовь и одиночество представлены вскользь, зато описания природы сразу останавливают внимание своей сильной и свежей образностью. К примеру, приведенному в первом эпиграфе, прибавим луч заката, который "окровавил сосулек светлый ряд",

и "...задрожав, упал и лег.... Свернувшись в розовый комок / На голубом снегу". Отметим месяц над стогом — стог, "застывший тяжелою громадой, / Как мамонт со светящимся клыком". На берегу реки "тростник отточен, словно сабля". Закат — "...погас за тополями / От дуновенья темноты...".

Но к этим вышеуказанным темам присоединяется здесь и там тема о каком-то нематериальном ощущении в этом очень материальном (и очень прекрасном — если он без гнёта и без страха!) внешнем мире; это тема о "неправдоподобном двойнике" (см. Гумилева: "Мы меняем души, не тела"!); "Обрывается желтый лист, /Обрывается и слетает" — это образ для "такой во всём тоски / Об утраченном равновесье". "Из загробных миров сюда же / Смотрят души умерших" на наш мир и мечтают быть "снова в земном объёме". А здесь человек не знает в какие-то минуты особого просветления сознания — "Каким пространством я — четырехмерным / Или четырехстенным окружен" — "И надо лишь порог перешагнуть / Чтоб плыть и плыть, захлёбываясь в звездах". И в двух-трех местах разговор о слове: о том —

"Чтобы искрами обдавая,
Зазвенела твоя строка,
Как булыжная мостовая
Под подковами рысака".

Обратим внимание на одну подробность в образе: искры; из всех возможных образов поэт прежде всего натолкнулся на образ, длящийся моменты. Об этом будет разговор ниже.

Взаимосвязь тем: слово — понятие — сознание — бессмертие выступит особенно ясно в "Двоеточии".

В "Тюлене" в нескольких местах упоминается Гумилев. Конечно, законченность и образность фразы Моршена в этом сборнике идет от Гумилева. Но по самому звучанию фразы видно и слышно, что это метод, а не подражание.

Киевские стихотворения Моршена сближаются с такими же Елагина; есть даже одинаковые заглавия: напр., "Андреевская церковь". Есть даже указания в стихах на встречи этих двух поэтов в Киеве. Но трактовка образов у этих двух, как будто и сходных по темам в их ранних сборниках, поэтов совершенно

другая: для Елагина характерна "длинная метафора" — образный, ментальный путь через несколько инстанций, а для Моршена — непосредственное, моментальное восприятие — чаще всего выраженное олицетворением. (Напомним из теории словесности: олицетворение — сравнение с одушевленным).

В заключение этой беглой характеристики первого сборника отметим как наиболее важную психологическую черту именно эту моментальную образность и пока еще медленный процесс, упомянутый только мимоходом в стихах — "мять.....слова".

Темы и способ их выражения резко меняются в "Двоеточии" (69 стр., 1967). Воспоминания молодости, русская природа, непосредственность в образности исчезают. Непосредственная образность, столь характерная для стихов "Тюленя", уступает место некоторой абстрактности в языке, доходящей до намеренных прозаизмов:

Развивается цепь соразмерных причин,
Увлеченных единою целью —

причем это стихотворение озаглавлено: "Ночь на взморье"; или далее, в аллегорическом подходе к "Глубине подсознанья" прямо говорится:

.... где вода, как вдохновенье,
Целенаправленно трезва.

Если в первой книге несколько раз упоминается Гумилев, то вторая книга Моршена содержит упоминание (и, притом, в нескольких местах, что исключает случайность) имен Пастернака и О. Мандельштама, и в ней поэт пытается дать отражение мира внутри себя, может-быть, даже именно "глубин подсознания", проявляемых — с усильем — сознанием. По своей образности, отличной от образности первой книги, она является как бы отражением этого отражения.

Тематика второй книги прямо и естественно вытекает из этого взгляда поэта внутрь себя: это тема сознания. И так же естественно эта тема звучит в извечных и постоянных вопросах: о жизни и смерти.

В первом вводном стихотворении поэт называет смерть двоеточием и именно двоеточием, "а не точкой", стихотворение и кончается. С темой смерти-бессмертия ассоциируется тема

памяти, памяти об истоках сознания, "Где хлещет тёмная струя/ Из пропасти небытия". Характерно повторение (вслед за Пушкиным) эпиграфа из Горация: "Нет, не весь я умру!...". Но читатель не чувствует ни веры, ни убежденности в "трактовке" темы смерти "как двоеточия": у поэта звучит параллельно и тема сомнения:

Отмены смерти нет, пока
Замены нет

и бессмертие кажется сведением существования ад абсурдум в пустом мировом пространстве: "...ангел лукавый /Бессмертье дарует тебе", и вот "несется в пустое пространство/ Бессмертное тело твое... / Слабеет о прожитом память,/ И — что ж остается тебе?...".

Получается тупик взаимного противоречия. Из этого тупика сознание должно найти выход, и выход найден в слове. Если тема слова, как последнего неделимого атома, элемента — дифференциала — поэзии была только намечена несколькими намёками в первой книге, то во второй она превращается во вторую ведущую тему "Двоеточия":

Когда в веках гудит строка,
Как вихрь, как пламя, как река,
О том, что в ней, в одной из строк,
Бессмертья, может быть, залог.

Мы бродим беспомощно, как "журавль со сломанным крылом", перед вселенной с нашим "неполноценным словарем", но "как знать? А вдруг на дне колодца / Еще отыщем слово мы / И журавлиное срастётся / Крыло до траурной зимы". Тема бессмертья — тема сознания — тема попытки сохранить свое "Я" через выражение его в слове — вот выход из указанного выше тупика. А отсюда и повышенный интерес к слову — словам — хотя бы "У словарей", в которых "слова стоят гуртом", черные по белому, как "скрещение — не шпаг — двух магий!". Посему концовка последнего стихотворения второго сборника ("Открытие стиха") и звучит так:

Словом, открывает он
(Словом открывает он!)
В них явление природы.

И мы видим, что переход к тематике стихов тетради "Эхо и зеркало" совсем не так неожидан, как могло бы показаться до анализа — до "дифференцирования" тем на бегу. (Поясним для незнакомых с терминологией математики: уравнение, напр., движения показывает пройденный путь за данное время при данной скорости; дифференцируя его, мы получаем "омоментованный" элемент движения: положение в данной точке в данный момент. Этим мы можем как бы видеть процесс на бегу.).

Но почему же выход из тупика вечного вопроса о жизни и о смерти найден Моршеном в слове, в повышенном интересе к слову?

У человека есть какое-то неистребимое желание всё знать. Но "знать" значит: "узнать", а, узнав, "назвать". И поэт "Двоеточия" повторяет древний путь человека к древней натуральной магии, и сам признается в этом: в словарях скрещение не шпаг, а двух магий: черной и белой. Журавлиное крыло беспомощного сознания, может быть, и срастется — еще до траурной зимы — смерти. А вдруг, пока еще не поздно, найдется всеобъясняющее слово? Кстати припомним: — и Лермонтов тоже говорил про "из пламя и света рожденное слово"...

У поэта нам интересны не этапы его логических построений, и не соответствие его построений и выводов действительности, а интересен и важен тот эмоциональный заряд, который заставляет его делать эти построения, и, конечно, стремление увериться в своем бессмертии, в бессмертии человеческого сознания (со всеми его словами!) и является главной двигательной эмоциональной пружиной "Двоеточия". Кстати, творчество другого поэта с резкими переменами почерка — Игоря Чиннова, — тоже построено на сходной теме.

Интересно отметить, отвлекаясь от анализа психологического в сторону анализа формы, в сторону характеристики художественных приемов всех трех упомянутых в самом начале "изменчивых" поэтов, что все они склонны делать всё стихотворение развернутой аллегорией. При этом, аллегориями разных типов: у Елагина аллегории мозаичны, состоят из подчас только очень отдаленно связанных между собой образов; у Чин-

нова аллегории очень эмоциональны и единство образов зиждется в них на монолитной эмоции. У Моршена монолитность достигается строго логичным подбором образов. Различен и эмоциональный общий тон: Елагин жалуется; у Чиннова отчаяние ("Партитура", "Галлюцинации и аллитерации") плохо скрывается иронией; у Моршена же (особенно в последней тетради) чувствуется радостный тон остроумной словесной находки.

У Моршена надо отметить совершенно естественный переход темы слова в тему поэзии. В поэзии самое главное — вдохновение: "Я тебя узнаю, вдохновенье...", оно идет из глубины подсознания, где и совершается магия слова. Но рядом с подсознанием у Моршена "...млечный свет с небес.... Ведет не в под-, не в над-, не в без-, / Но в область вне- и сверхсознанья."

Выше было сказано, что элементом поэзии является слово. Оно передает психологическое состояние воспринимающего в данный момент и для данного образа. Потому-то направление внимания на *слово* и является как бы "омоментовыванием", своего рода дифференцированием процесса художественного восприятия и художественной передачи последнего. И именно поэтому статья о творчестве Николая Моршена и названа "Под знаком дифференциала".

Как я говорил, тема слова только слегка намечена в первом сборнике, развита во втором и получает сложную разработку в третьем неизданном. Об этом сборнике можно говорить, так-как его стихотворения уже появились в печати.

Постараемся разобраться в сложном переплетении тем этого возможного сборника. Сам автор определяет свою цель: "...стремлением к тому, чтобы слова не только говорили, но и подражали тому, о чем они говорят. Такое подражание давным-давно освоено поэзией в области звуков — "звукоподражание", я же стремлюсь распространить этот принцип и на подражание действиям (изобрёл для такого приёма термин: "дееподражание"), или даже некоторым концепциям (идееподражание — тоже мой собственный термин)".

Здесь поэт старается найти новое русло образности. Как кажется критику, поэт концентрируется на *элементах* восприя-

тия, и передавая их в моментной последовательности читателю, пытается таким образом реконструировать свое восприятие в читательском сознании. В основном, в доведении до сознания нет ничего нового: это старались делать все поэты; новым является у Моршена его метод, — доведение до "дифференциала" речи.

Перейдем теперь к тематике тетради "Эхо и зеркало". Это систематизированное собрание 52-х стихотворений открывается стихотворением "Пересмешник" и заключается "Пересмешником 2". Пересмешник — "птица-рифма" сплетает в своем пении "чужие речи", при этом разлагая эти речи на элементарные части и заново их комбинируя в других сочетаниях: из реполова и козодоя получаются: козолов и реподой!

Он так поет не ради смеха,
А в силу свойства своего,
И есть у зеркала и эха
С ним ипостасное родство.

По этому методу — назовем его "словесной деривацией", в последнем, заключительном стихотворении последняя строка является как бы выводом и заключением. И там вывод "Не вернется" — переходит в "Nevermore" "Ворона" Эдгара По. Этим дается новый аспект моршеновской теме слова прежних сборников: деривация или производство нового смысла, как-то скрытого в слове старом. В данном слове может быть заключено новое понятие: дело сводится или к анаграмме или к части слова. Вот пример анаграммы: у Пушкина в эпиграфе к 6-ой главе "Пиковой Дамы" стоит термин азартной карточной игры: "Атанде-с! — но это анаграмма имени: Дантес. Далее, у Моршена в "Диалексике природы": "...в глухоте есть ухо.." "...Да-нет / Содержится и в Данте". Моршен обращается к читателю: "Ты него-дуешь: "Заумь!" — Я протестую: "Муза".

В тетради есть напоминание о перевертне: о розе, упавшей на лапу Азора. По этому методу строится другой перевертень об Икаре и раках: "А раки ели в иле Икара". Со всех точек зрения эта деривация особой ценности не имеет; это более или менее шуточная модель метода — своего рода демонстрация на примере. Остроумна деривация: зелень леса — "в духе птициа-

новом". Но вот уже не шутка: окончание стихотворения "Ухо и эхо".

"На родине воля!"
— Народ... и...неволя...
"Коммуну же надо! Ставьте!"
— Кому нужен ад?...Оставьте!...

Это несомненно сильно и удачно найдено. Но главный интерес Моршена заключен не в теме гражданской — эта тема была сильнее всего в "Тюлене". Главный интерес — в выражении себя, своего не только сознания, но "вне- и сверхсознанья." Поэтому тема слова и связывается с темой искусства, в частности — поэзии.

Стихотворение, озаглавленное "Недоумь — Слово — Заумь" с известным эпиграфом: "Дыр бул щыл" (А. Крученых) приводит Моршена к формулировке: И Слово означало — Бог: / Начало, замысел и метод". В конце этого стихотворения "заумь" через "сезаумь" ассоциируется с "сезамом", а "сезам" переходит в "Аз ЕСМь" и в формулу Эйнштейна: АЗ $E=MC^2$ (энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света). Здесь совершенно не важно, имеют ли построения поэта реальное значение и соответствуют ли они действительному мировому порядку: важно, что поэту так это кажется и что поэт так чувствует.

В стихотворении "От астры к звездам" Моршен открывает свой "Кибернетический закон / Взаимотяготенья слов", данный в примечании:

> Сила стиха прямо пропорциональна произведению слов и обратно пропорциональна квадрату расстояния поэта от темы.

Эта формулировка, конечно, только забавная метафора: сила стиха заключается не в словах и не в темах, а в эмоциональном захвате читателя поэтом. Но слишком большое расстояние поэта от темы, увы! наблюдается нередко в современной зарубежной поэзии. Оно и без возведения в квадрат расхолаживает читателя.

В "Тюлене" была подчеркнута внешняя образность. В тетради: "Эхо и зеркало" образность уступает первое место

"дееподражанию" и "идееподражанию", но всё же здесь и там видно, что Моршен не забывает зримого внешнего мира: в "Закате"

Тьма с топором идет по следу
Добить кровоточащий день

или (в описании музыки морского прибоя):

Грохнул о берег трехрядный прибой.
. . . . . .
Эта удача едва отзвучала,
Поиски начало море сначала.

Тут и описание природы, и систематически проведенная аллегория — это стихи о поэте.

В "Тюлене" Моршен упоминал Гумилева, в "Двоеточии" Пастернака и Мандельштама. "Эхо и зеркало" содержит несколько упоминаний Пушкина — упоминаний-возражений: "тайная свобода" Пушкина недостаточна Моршену — он познакомился с явной свободой Америки.

Наличие тем, связанных, с одной стороны, с именем Пушкина, а с другой — с формулой Эйнштейна в одном сборнике может показаться неожиданным, но внутренняя связь этих широких и далеких друг от друга реминесценций Моршена оправдана его тематикой: сознание — мир — слово — творчество:

Убит!... Но в ното-букво-слове
Живет не клетка, а строфа...
. . . . . .
Её двухсложный код иль ход
Как бы над временем живет.

Борис Нарциссов

О РИСУНКАХ ПУШКИНА

Тот факт, что Пушкин умел и любил рисовать, кажется совершенно нормальным явлением при пламенности темперамента и силе воображения его гениальной натуры. Но его рисунки, наброски, композиции и простые "шутки пера" не только ценны как автографы поэта и "психологические документы" — они замечательны и как настоящие художественные произведения, говорящие об исключительной одаренности Пушкина-художника.

Рисовали многие писатели и поэты, иные были настоящими художниками. Делал прекрасные рисунки Гете; известны замечательные сепии Виктора Гюго, где он — подлинный мастер-романтик; был искусным, изящным офортистом Жуковский; Лермонтов серьезно занимался живописью и даже колебался, не отдаться ли ей всецело. рисунком владел отлично Гоголь.

Но лишь в редких случаях такие рисунки полностью отражают художественную натуру автора. Чаще эти рисунки "не похожи" на настоящее "лицо" поэта. Как далека, например, точная гоголевская графика от горячечного темперамента его прозы.

Выдающийся художник М. В. Добужинский известен не только как чудесный график и прекрасный театральный декоратор, но и как автор интересных воспоминаний, печатавшихся в "Новом Журнале". Его статьи и воспоминания, собранные в один том, только что изданы в Нью Йорке. В этот том не вошла к сожалению его статья "О рисунках Пушкина", недавно обнаруженная в бумагах Г. П. Струве. Как поясняет Г. П. Струве, он просил М. В. Добужинского написать эту статью в 1937 году для выходившего в Лондоне журнала "Slavonic and East European Review". Но статья переведена и издана не была. Журнал этот вскоре закрылся из-за начавшейся войны. "Новый Журнал" впервые печатает эту статью. *Е. Климов*

Пушкин, правда, никогда не относился к своему рисованию серьезно и, в сущности, был "любителем", но, как и всё, до чего он касался, даже и слегка, — рисунки его носят печать его гениальности, причем можно с уверенностью сказать, что рисование было его духовной потребностью. Оно занимает совершенно определенное место — правда, скромное — в области его творчества, а с его думами и образами и с многими сторонами его душевной жизни связано нераздельно. Об этом не столь говорят его альбомные, часто случайные, рисунки (которых, кстати сказать, до нас дошло немного), сколько те многочисленные наброски и рисунки его черновых рукописей, которые стали известны широкой публике лишь в недавнее время, так как вряд ли при жизни Пушкина кто-либо мог их видеть. Рисунки эти сделаны Пушкиным для себя, для показа не предназначались, и эта их интимность придает им совершенно исключительное значение.

После смерти Пушкина в критической литературе об этих рисунках почти не упоминается до того, как Анненков и Якушкин, изучая рукописи Пушкина, впервые обратили на них серьезное внимание: отмечена была их живость и темпераментность, но занимала больше их сюжетность, художественная же сторона оставалась в тени. Впервые выставлены были некоторые отдельные рисунки на юбилейных выставках 1880 и 1899 гг. и воспроизведены впервые в альбомах этих выставок. Но по-настоящему широкая публика ознакомилась с рисунками Пушкина по венгеровскому изданию его сочинений, а серьезное изучение этих рисунков началось лишь в самое последнее время в Советском Союзе.

В фототипическом издании всех рукописей Пушкина нас ожидают новые сюрпризы, новые находки. Но можно утверждать, что мы знаем лишь небольшую часть всего, что было нарисовано Пушкиным за всю его жизнь, потому что очень многие рисунки настолько техничны, что естественно считать их как бы результатом целого ряда других, нам неизвестных, где эта техника сама собой вырабатывалась, где Пушкин, так сказать, "набивал руку". Все же то, что мы в настоящее время знаем из его рисунков, представляет настолько обширный и

разнообразный материал, что можно уже делать определенные выводы. В рисунках Пушкина открываются нам еще новые и новые черты его личности; они воскрешают живого Пушкина, приближают его к нам и даже по-новому освещают некоторые стороны его творчества.

Естественно любопытство: как и у кого учился Пушкин, кто мог на него влиять и как он сам относился к художеству?

Его учителем рисования в Лицее бы Сергей Гаврилович Чириков — тогда еще молодой художник, окончивший Академию "со шпагой". Чириков был очень любим лицеистами и со своей стороны награждал их лестными аттестациями "великих" и "отличных" дарований. Пушкин учился у Чирикова лениво и стоял последним по успехам. Все таки его выпускная аттестация по рисованию такова: "отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен, успехи неощутительны" (если "торопливость" означает беглость штриха, то с нашей точки зрения это может звучать похвалой).

Видимо, Чириков, несмотря на академический метод учения, умел заинтересовать своим предметом. Лицеисты рисовали не только с антиков, но и копировали с гравюр, иллюстраций, народных картинок. Рисовали и друг друга вместе со своим учителем, который каждый год делал портреты выпускных лицеистов. И, наконец, лицеисты издавали свой рукописный журнал с карикатурами. То, что дошло до нас из рисунков первых лицеистов показывает довольно большое разнообразие техники, которую им преподавали. Сохранились две копии, сделанные Пушкиным, а также его собственный портрет в профиль (в заштрихованном круге), технику которого узнаем и в дальнейших его рисунках, — лишь более свободную. Несомненно, рисование с антиков привило Пушкину привычку к классическим формам, привычку, с которой впоследствии он часто боролся, но к которой часто и возвращался.

Хотя все время Пушкин рисует "между делом" и никогда специально не упражняется в рисунке (кроме некоторых чисто графических приемов — его фантастические птицы), его потребность рисовать никогда не покидает его, и рисунки необычайно разнообразятся по темам и приемам. Что при этом

совершенно замечательно, это его отзывчивость на все, чем жило в его годы искусство: в одних рисунках он — классик; в других — романтик или реалист; наконец, в его рисунках встречаются даже импрессионистические приемы — явление удивительное и редкое в его эпоху.

Пушкину легко дается рисунок; если же иногда он и переделывает наново по несколько раз одно и то же, добиваясь улучшений, то далеко не так мучается над этим, как над иным словом в своих черновых рукописях. Может быть, эта "простота достижения" ставила вообще рисование в глазах самого Пушкина на некую низшую ступень в ряду других искусств. И конечно, высшей формой искусства была для него музыка, как и родственная ей поэзия — гармония.

Время Пушкина было несомненно самой счастливой страницей в русской художественной культуре 19-го века, как и та атмосфера и среда, в которой зрел его гений. На глазах Пушкина и его современников расцвела величественная красота Петербурга, возникли ничем еще не искаженные, неповторимые ансамбли нашей столицы. Эстетический уровень общества и вкус стояли на очень большой высоте. Можно сказать, что весь быт был проникнут искусством. Царствовали классические идеалы, но в то же время самое сплетение сентиментальных и романтических настроений, как и всюду в Европе, создавало очаровательную и неповторимую "рамку" жизни.

Прелестные мелочи быта и обстановки, необычайно элегантная, хоть и вычурная, мода тогдашних женских нарядов, эффектные военные формы, блестящий Двор, балы и парады, весь облик стройной петербургской улицы и очарование домашнего уюта — все было проникнуто единым, органически создавшимся стилем.

Деревня стояла еще нетронутым заповедным миром, с еще не вырубленными лесами и бесконечными дорогами и трактами, не знающими еще паровоза, со своими патриархальными, хотя порой и жестокими, нравами. Старина, которой держались и помещики, и народ, традиции обычаев и костюмов — все было необычайно красочно, давало богатейшую пищу и поэту и художнику.

Чрезвычайно интересно выяснить — что ближайше влияло, кроме внешних впечатлений и общего "климата эпохи", как теперь любят выражаться, на Пушкина-рисовальщика? Было ли у него стремление кому-нибудь подражать? Как складывались его художественные симпатии?

С юности Пушкин дружески общается с Карамзиным. "Письма русского путешественника" ему много рассказывают об европейском искусстве прошлых веков. Его друг Жуковский — сам художник (он делает прелестные офорты Царского), и в доме у него царит атмосфера истинного любителя искусства. Сильно влияет на Пушкина Батюшков – он наш первый художественный критик и энтузиаст красоты Петербурга (его "прогулки в Академию Художеств" дают много сведений о живописи). Несомненно были Пушкину известны и картины Эрмитажа, который, хотя еще не был открыт для широкой публики, но избранные его посещали.

Художественный "index nominum" у Пушкина обширен: у него читаем имена Буонаротти, Рафаэля, Леонардо, Корреджо, Рембрандта, "Цициана" (как он писал), Рубенса, Ван-Дика, Пуссена, Сальватора Роза, Альбани, Миериса, Жозефа Верне и др. Петербург продолжают, как и прежде, посещать иностранные художники, их картины, портреты и скульптура украшают дворцы и частные дома. Пушкин прославляет Дау, посвящает стихи Канове, упоминает Торвальдсена.

1820-30-ые годы — время появления целой плеяды замечательных русских живописцев и ваятелей. Пушкин часто бывал на выставках картин. Есть воспоминания о визите его с блестящей Наталией Николаевной на выставку в Академии Художеств и о беседах с художниками. Со многими он в приятельских отношениях.

Пушкин позирует Тропинину, Кипренскому, Чернецову. Пушкин особенно любит Кипренского ("любимца моды легкокрылой"), восхищается Ал. Орловским ("Бери свой быстрый карандаш, / Рисуй, Орловский, ночь и сечу"), с юности пленен "волшебной" — как он выражается — кистью Федора Толстого. С Брюлловым он на ты. Тот бывает в доме у Пушкина и делает великолепный акварельный портрет жены Пушкина в бальном

наряде. Пушкин восхищен "Гибелью Помпеи". На том же листе, где он начинает (но так и бросает незаконченными) стихи, посвященные этой картине, он делает очень живой набросок (конечно, на память) одной из групп Брюлловской композиции. Рисунки Брюллова Пушкин очень ценит. Совсем незадолго до смерти, как рассказывает очевидец, академик живописи Мокрицкий, в январе 1837 г. Пушкин был у Брюллова в мастерской вместе с Жуковским. Они восхищались альбомами и рисунками Брюллова, и Пушкин стал на колени и выпрашивал у Брюллова один из его рисунков: "Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня. Отдай мне этот". Но Брюллов все таки не отдал рисунка. (Потом он искренне каялся в этом).

При таком тесном общении Пушкина с миром художников естественно искать в его собственных рисунках сторонних влияний. Но если и можно найти у Пушкина в штрихе и манере с Кипренским и Орловским некоторое сходство, это не дает оснований видеть в Пушкине подражателя — повидимому, это простое совпадение темпераментов. Рисунки Пушкина вполне индивидуальны.

Чрезвычайно любопытно знать, в какой обстановке жил сам Пушкин. Известно, что до женитьбы он жил почти "как попало". В Кишиневе у Инзова — комната с решетками на окнах, на столе складное зеркало и щетка (собственный рисунок Пушкина). Повидимому, он был довольно равнодушен к тому, что его окружало. В Михайловском он живет среди пустых стен, "анахоретом" — как он себя называет, в очень бедной обстановке (у него сломанная кровать). По словам его соседа и приятеля Вульфа, он не любит у себя в комнате картин на стенах: "они ему мешают сосредоточиться".[1]

Но не свое ли Михайловское описывает Пушкин в "Евгении Онегине": "Стол с померкшею лампадой и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром... И лорда Байрона портрет, и

1. Есть также одно интересное воспоминание того же Вульфа: у них в Тригорском висела старая почерневшая картина, перед которой Пушкин часто останавливался в раздумьи; повидимому, то был какой-то старый фламандец или голландец — может быть, одно из искушений св. Антония. Ее "чертовщина" и дала Пушкину, по словам Вульфа, пищу для сна Татьяны.

столбик с куклою чугунной, под шляпой, с пасмурным челом..."? В Болдине у него полки с книгами и, повидимому, чей-то бюст (его рисунок 1830 года).

Свою первую квартиру в Москве после женитьбы Пушкин обставляет чрезвычайно изящно: выписывает нарядные обои с рельефными синими бархатными цветами, обставляет модной мебелью. Женская рука несомненно коснулась с тех пор его interieur'a. Кабинет последней пушкинской квартиры с библиотечными полками и с портретами и гравюрами на стенах ныне восстановлен в его первоначальном виде. Насколько эта реконструкция действительно правильна?

Про пушкинскую эпоху можно сказать, что в тогдашнем обществе искусство было "в моде". Быть близким к искусству было вообще "лестно", чем-то действенно послужить Аполлону было общим стремлением.

В такой атмосфере расцветало, как никогда, любительство, но это был просвещенный, культурный диллетантизм, часто очень талантливый и часто очень наивный, но далекий от претенциозности. Это любительство создавало милые, иногда курьезные, но теперь для нас истинно драгоценные вещи, полные вкуса — все было проникнуто неповторимым, романтическим подъемом, да и вокруг образцы для подражания были действительно высоко-художественного уровня.

В то время особенно всех увлекало рисование. И окружающие примеры не могли не поддерживать в Пушкине охоту рисовать. Появилась мода на альбомы, "кипсеки", немного смешная, но благодаря ей сохранились от этой эпохи ценнейшие сувениры. Чуть ли не каждая семья, каждая дама имела такой альбом, который порою делался настоящей семейной хроникой. В них писали стихи — и сколько благодаря этой моде создано было Пушкиным блестящих стихов? Несмотря на то, что говорит нам Пушкин:

Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

В альбомах рисовали, как Ленский, и "сельски виды":

Надгробный камень, храм Киприды
Или на лире голубка
Пером и красками слегка.

Рисовал в альбомы и Пушкин: за ним знали талант карикатуриста, ловко схватывающего сходство. Сам он своими рисунками не дорожил, иные ходили по рукам и пропадали. Пропали и многие альбомы. До нас, кроме отдельных листков, вырванных из альбомов, целиком дошел с рисунками Пушкина лишь один альбом — Елизаветы Николаевны Ушаковой. Другие два альбома, принадлежавшие ее сестре Екатерине Николаевне, переполненные пушкинскими рисунками, были сожжены из ревности ее мужем Наумовым. Сохранившийся альбом с 22 рисунками Пушкина тем ценен и интересен, что Пушкин в нем рисовал не из любезности и не для того лишь, чтобы "отделаться", а охотно, влюбленным, и в довольно счастливую пору своей жизни (в 1829 году), в полном своем расцвете. Эти рисунки очень различны по технике и содержанию: портреты, карикатуры, шутливые виньетки, кавказские виды.

Главное же и самое замечательное заключается, как уже было сказано, в рукописных тетрадях стихов Пушкина и в разных черновых бумагах — часто самого прозаического рода.

Всего нам теперь известно более 100 листов с чрезвычайно разнообразными по сюжетам и технике пушкинскими рисунками; на большинстве этих листов по несколько рисунков (число их иногда доходит до 20 и даже больше), на иных же один-два рисунка. Наиболее ранние рисунки относятся к Лицейским годам, самый последний сделан в сентябре 1836 года. Судить о том, какие годы были у Пушкина наиболее продуктивными, невозможно, так как нет сомнений, что многие рисунки исчезли. Больше всего сохранилось от кишиневских и одесских лет (1821-23) — 39 листов. И от 1828 по 1830 год (время Ушаковского альбома и Болдина) — 47 листов. По сюжетам это — огромное количество портретов и шаржей; вольные копии с чужих рисунков; проекты обложек, виньетки и простые "пробы пера".

Портреты, рисованные Пушкиным — большей частью профили, большей или меньшей законченности. Иногда это лишь едва намеченный, легкий абрис. Большинство повернуты

влево, редко вправо, и лишь очень немногие головы сделаны en face. Пушкин стремится достигать наибольшего портретного сходства, часто делая по несколько рисунков одной и той же головы. Пушкин рисует также и целые фигуры — портреты в рост. Рисует он всегда наизусть — зрительная память его необыкновенна. Эти портретные наброски — галлерея друзей и врагов (Вяземские, Нащокин, Пущин, добрый Инзов, Раевский, декабристы; "полумилорд" Воронцов, Милорадович и др.). Он рисует женщин, которых любил и которыми увлекался (Ризнич, Калипсо, Воронцова, Раевская, обе Ушаковы, Гончарова), и людей, которым он удивлялся (Наполеон, Вольтер, Байрон, Данте, Робеспьер). Есть много и до сих пор нерасшифрованных портретов.

Особо стоят пушкинские автопортреты — их больше 30. Любопытно, что при этом он любит себя рисовать "travesti" — то в виде арапа в чалме, или монаха в клобуке; то в кавказской папахе, то Робеспьером, то в лавровом венке. Часто он льстит себе и изображает себя с длинными кудрями до плеч, иногда не щадит себя, рисует старым, лысым и в морщинах. В этих автопортретах у него вырабатывается определенный прием рисовать линию острого и приплюснутого носа и треугольной ноздри. Интересно, что его баки (всегда зачесанные вперед) появляются только начиная с 1826 года. В Кишиневе и Одессе он их не носит еще. Есть два портрета с усами (в 1829 г. во время "горестного сидения" в холерном карантине и в 1834 г.)

Портреты часто переходят в карикатуры. Иногда шарж у Пушкина достигает совершенно неабыкновенной остроты. Особенно замечательны Инзов, Пальчиков и Веневитинов (1826). Последние два, которые находятся в Третьяковской галлерее — быстрые и ловкие экспромты, их импрессионизм совершенно нам современен. Часто портреты сделаны одной линией — Пушкин стремится к наибольшей простоте: и некоторые своим графическим лаконизмом — лучшие его "удачи". Иногда в этих рисунках он совершенно мастерски играет пером.

Рисуя профили и "головки", Пушкин обыкновенно не думает ни о какой манере, а просто лишь ищет сходства. Но нередко его пером водит привычка к античным формам, которая ведет начало из Лицея. Пушкинское время, особенно 20-ые годы —

конечный расцвет русского ампира, и классические идеалы еще царствуют повсюду и в архитектуре и в живописи. И в то же время начинается тяга к романтизму и борьба этих двух столь разных начал. Можно проследить, как сквозь классические черты пушкинских портретов пробивается "характерное", динамическое. И в рисунке — этой интимной сфере Пушкина — видно, как свободное начало все время берет верх. Иногда же Пушкин, видимо добровольно, возвращается к классическому идеалу. Знаменательно, что самый последний в его жизни рисунок (сентябрь 1836 г.) — женский античный профиль. И все же за этим кажущимся спокойствием классики и сдержанностью чувствуется в каждом завитке волос и в бегущей линии очерка лица скрытое пушкинское горение.

Пушкин очень редко рисует с натуры — можно назвать лишь несколько альбомных рисунков, и всегда эти рисунки вялы, с натурой ему справиться трудно: такое рисование требует упражнений, которыми Пушкин не занимается, и оно связывает его темперамент. Впрочем, такая робость перед натурой — явление нередкое у многих, очень сильных в других областях художников. Иногда он делает копии, для себя. Тут он чувствует себя более свободным, так как не стесняется точной передачей. Пример тому три рисунка с обложек французских книжек: Les mauvais garcons и Cesaria, сделанные им в 1830 году.

Среди отдельных рисунков, разбросанных в рукописях, особенно обращают на себя внимание рисунки лошадей, сделанные уверенной рукой и напоминающие романтические рисунки Орловского. Все говорит за то, что это не копии, но возможно, что Пушкин руководился не столь воспоминаниями о живых лошадях, как запомнившимися ему чьими-то рисунками. Эти рисунки Пушкина, помимо их виртуозной линии, замечательны по своему великолепно найденному стилю. Поражают также своей неожиданностью схемы лошадиных движений, сделанные одной беглой чертой. Как и в некоторых шаржах, рисунок Пушкина достигает тут наибольшей выразительности и лаконичности и на десятки лет опережает современность по силе и смелости экспрессии.

В пейзажных рисунках Пушкин большей частью остается стилизатором. Способы рисования листвы, ветвей, стволов,

травы и скал — всем этим Пушкин владеет свободно и с большим искусством. Несомненно у него сохранилась лицейская выучка тех приемов, которые преподавались Чириковым, приемов, выработанных в 17-18 вв. и ставших классическими. Но можно думать, что многое было также подсмотрено Пушкиным в современных ему и старинных гравюрах, которые он повсюду мог видеть и еще с раннего детства рассматривать во французских книгах.

Большей частью портреты и другие рисунки рукописей не имеют прямого отношения к тому, что Пушкин писал на том же листе. Это несоответствие иногда поражает и представляет чрезвычайно интересную загадку в его творчестве. Рисунки часто иллюстрируют его побочные мысли, живущие, так сказать, в другом "этаже" его духа. Может быть, посторонние мысли и образы мешают ему, и, рисуя их, он дает своему воображению выход и освобождается от них, а может быть, зарисовывая образы, которые толпятся где-то сбоку главного русла его мысли, он освежается этим и находит минутный отдых среди творческих затруднений. Исчерченные страницы черновика второй главы "Онегина", заполненные вереницами портретов декабристов, говорят именно об этом таинственном *параллелизме.*

Но часто тема стихов рождает родственные образы. На черновике стихотворения "Осень", где Пушкин пишет о "Египте колоссальном", появляется египетский колосс и очерки летящих перелетных птиц. Пушкин делает и рисунки, совершенно совпадающие с текстом: на рукописи "Цыган" он рисует медведя (замечательный по живости рисунок) и телегу-шатер; в третьей главе "Евгения Онегина" — Татьяну, сидящую на постели с обнаженным плечом; на листе с "Каменным гостем" — фигуру Дон-Жуана и дерево — один из элегантнейших его рисунков!

Для "Сказки о попе и работнике его Балде" Пушкин уже рисует несколько настоящих иллюстраций к тексту: самого попа, беса, бесенка и Балду с зайцем. Рисует две иллюстрации для "Домика в Коломне" (причем замечательно, что он забывает, что у него старуха входит в комнату и на пороге видит бреющуюся Марфушу, а рисует эту старуху появившейся в окне!). Из трех иллюстраций для "Гробовщика" особенно поражает та, где

изображена похоронная процессия. Это — один из шедевров Пушкина по замечательному графическому силуэту композиции, нервному и артистическому штриху и подлинно жуткой романтике.

Иногда Пушкин делает рисунки точно к какому-то ненаписанному тексту: бронзовый конь на скале Фальконета без фигуры Петра — волнующий образ, мелькнувший у него в связи с мыслями о "Медном всаднике". А то — в разные периоды жизни — он рисует "бесовские сцены", иногда под влиянием одного промелькнувшего слова в своих собственных стихах, иногда же без всякого видимого повода.

Рисунки эти смущали первых исследователей: Анненков в 70-х гг. находит в них даже мрачно-патологическое! Это кажется преувеличением. Но чем-то таинственно-грустным веет от одного рисунка, связанного с мыслью о "снах — бесовских мечтаниях" (слова Григория в "Борисе Годунове", написанные на том же черновике, что рисунок). Сидящая фигура беса в виде какого-то коленчатого насекомого полна отчаяния. Так же странно-жутко придуман и другой бес, съежившийся и щетинистый, словно дрожащий, шаровидный комок. Загадочно — откуда такие действительно странные явления? Из какой они "морозной тьмы", всегда для Пушкина полной "таинственных сновидений" (сон Татьяны, "Бесы"). Рисунок этот сделан в январе 1825 года в Михайловском зимнем одиночестве.

Другие, более ранние (кишиневские и одесские) листы с бесовскими сценами — скорее шуточные рисунки, где как бы звучит веселый детский смех Пушкина ("Великий Пушкин — малое дитя", сказал Вяземский). Эти рисунки изображают комариные фигурки танцующих бесенят и скелетов, ведьм, летающих на помеле, черные силуэты чертей, греющихся у адского огня или поджаривающих подвешенного грешника, вокруг которого вьются облачные образы каких-то духов. Во всех этих шалостях рисунок Пушкина кажется вполне оригинальным, лишь некоторые бесы с козьими ногами (как и бесенок в его рисунке к сказке о Балде) имеют отдаленное сходство с чертями на русских лубочных картинках, которые Пушкин не мог, конечно, не знать.

Замечательно, что Пушкин, при всей несдержанности и

чувственности своего темперамента, везде в своих рисунках целомудрен. Даже поцелуй он изображает только раз и притом очень неловко и наивно. Лишь в одной рукописи скрывается маленький "галантный сюжет" в стиле его бесовских фигурок.

С технической стороны рисунки Пушкина карандашом очень разнятся от рисунков пером. Карандаш Пушкин употребляет сравнительно редко, и он ему "не дается". Есть, впрочем, несколько рисунков (особенно два пейзажа 1833 г.), нарисованные ловко и уверенно. Повидимому, карандашные рисунки его самого не удовлетворяют: так, посылая брату Льву карандашный набросок, изображающий Онегина и его самого, стоящих на набережной — как тему для фронтисписа к "Евгению Онегину", в 1824 г., Пушкин пишет: "брат, вот картинка для 'Онегина' — найди искусный и быстрый карандаш". Лишь в очень редких случаях он свой карандашный рисунок обводит чернилами. Он всегда предпочитает свободную технику пера, без всякой предварительной прорисовки карандашом. Перо его любимый и послушный инструмент, и тем же пером, которым он пишет, и теми же чернилами, он чертит и свои рисунки. Перо — гусиное: искусно очиненное, оно рисует очень тонкую линию. Его эластичность и мягкость позволяют легко делать свободные закругления во всех направлениях, а нажим (особенно "жирный" в гусином пере) придает рисунку особенную "сочность". Иногда пушкинские рисунки (как иные шаржи) кажутся сделанными или тупым пером или обратным концом — "бородкой" гусиного пера, окунутой в чернила: об этом трудно судить по репродукциям, не видя оригиналов.

Пушкин старается рисовать "al primo", без переделок, "свежим" штрихом. В его профилях видно, как он добивается этой легкости. Если это "не выходит", он зачеркивает начатое. В одних рисунках видны результаты скрытых усилий и воля, в других (настоящих пушкинских) линия бежит, уверенно следуя какому-то интуитивному чувству, и из линий и штрихов, как будто сами собой, выливаются разные образы. Таков один из самых совершенных рисунков Пушкина — виньетка "Странник" (1835 г.), где орнамент из трав и ветвей нарисован виртуозной рукой и полон какого-то трепета. Таков и упомянутый рисунок из "Гробовщика". Таковы его экспромты-шаржи.

К чисто каллиграфическим рисункам Пушкина относятся его "летящие птицы". Это — трудный фокус росчерка, на котором упражнялись каллиграфы 17-18 века, когда одним махом пера, не отрываясь от бумаги, наводились различные, иногда чрезвычайно сложные фигуры. Тут Пушкин — в сфере любимого росчерка. Он вообще не окончит рукописи, чтобы не сделать какой-нибудь финальной черты; точно его темперамент ищет и тут какого-то последнего размаха, и он рисует или волнистую линию, в виде скобки, или загогулину, в виде спирали, и все время по-иному. Такими же кудрявыми и элегантными завитками он сопровождает иногда и надписи на обложках своих тетрадей.

К этому интересно привести воспоминания Колосовой-Каратыгиной, которая говорила, что Пушкин имел терпение скопировать все росчерки и наброски пером, которые были на бумажной обложке переплета ее альбома. Подлинную взял себе, а копией подменил ее, и так искусно, что долгое время не замечали этого подлога.

"Зачем вы это сделали?" — спрашивали его.

"Старую обложку я оставил себе на память".

Пушкин — чистый график в своих рисунках: он рисует только линией и штрихом и никогда не делает ни "тоновых" рисунков, как Гюго, ни акварелей: кисти никогда не употребляет, и органическая связь рисунков Пушкина с вольно льющейся изумительной линией его почерка несомненна.

В Лицее преподавалось и "чистописание". Учителем был Калинич, дисциплинировавший почерки лицеистов. В Лицее Пушкин выработал свой "парадный" почерк, которым переписывал набело свои произведения и писал официальные письма — почерк, через который всегда просвечивает его индивидуальность. В лицейском преподавании еще держались витиеватые традиции 18-го века, и у Пушкина осталась на всю жизнь любовь к большим прописным буквам и иногда выскакивающим среди строк завиткам некоторых букв (буква "д"). Но почерк Пушкина "для себя", черновой, или почерк дружеских и любовных писем — совсем иной. Особенность этого почерка — слитность букв. Он до конца слова не отрывает пера от бумаги (лишь иногда прерывает для точки над "i"); в нем нет

украшений, задерживающих бег пера, он весь порыв и непрерывная текучая линия. Росчерки ("паузы" или концовки) им любимы, как "игра пера". В природе самой пушкинской линии и в этих веселых и разнообразных арабесках и заключается *зерно пушкинской графики.*

Эти легкие, кудрявые завитки повторяются часто в его рисунках (в линиях волос и листве) и в штриховке. Из его почерка как бы выростают все его графические приемы. "Почерком" объясняется также и его штриховка справа налево по диагонали (никогда не наоборот) и то, что профили его портретов большей частью повернуты влево: так ему удобнее, привычнее, и Пушкин не силится переделывать своих привычек; если иногда он и пытается нарисовать голову в обратную сторону или en face, то на этом он долго не останавливается и снова обращается к старому приему.

В этой самоограниченности технических приемов, в этом упрощении задачи весьма интересная особенность пушкинского рисования. При всем разнообразии его рисунков по технике и темам — Пушкин не разбрасывается, и вкус ограждает его от попыток, которые выше его умения. В тех пределах, которые он себе отвел в этом его "искусстве для себя", он остается самим собой и почти играя, полу-шутя достигает графического совершенства.

Здесь дан лишь общий очерк того, что ждет еще внимательных исследований, ибо многое в области пушкинских рисунков остается совершенно нерасшифрованным и даже загадочным. По сравнению с тем, что сделано для изучения творчества и жизни Пушкина, эта область еще удивительно мало и невнимательно исследована: не только нет точных и хороших репродукций всех рисунков, но даже до сих пор не составлено их полного и строго проверенного хронологического списка.

Рисунки Пушкина тесно связаны не только с его биографией, но и со множеством явлений в пушкинской современности. Одной из самых интересных задач будет выяснение художественных влияний — непосредственных, косвенных и "подпочвенных" — которые в той или иной мере могли действовать на Пушкина-художника.

М. Добужинский, 1937

БАЛЕТ "ПАГАНИНИ"

(ГЛАВА ИЗ "ЖИЗНИ СЕРГЕЯ СУДЕЙКИНА")

И наступил год 1938-й — год полной свободы и совершенного безденежья. Ссора Сергея Юрьевича с главным постановщиком Леоном Леонидовым имела практический результат: контракт Судейкина с Рэйдио Мюзик Холл не был продлен и его карьера художественного директора в этом известнейшем центре развлечений Нью Йорка кончилась и — навсегда. Ещё раньше Судейкин рассорился с Франсисом Марки, своим агентом, у которого были большие связи в высшем свете Нью Йорка. Значит — без новых заказов. Несмотря на отличное жалованье в Рэйдио Мюзик Холле, сбережений у Судейкина не было: с юности привык жить на широкую ногу и о завтрашнем дне не думал — всё как-нибудь устроится. А тут впервые в жизни начало не устраиваться...

Поль Рейнхардт согласился устроить ему выставку в своей галлерее на Пятом Авеню и Сергей Юрьевич после недолгих раздумий решил убедить Рейнхардта показать "американского" Судейкина: почему-то упрёки критиков в "стопроцентной" русскости не давали обидчивому Сергею Юрьевичу покоя. Он задорно считал, что у настоящего художника нет географических границ, что пятнадцать лет в Америке — достаточный срок, чтобы Америка признала его своим. В очень скромном — один лист, две страницы — каталоге он настоял, чтобы было напечатано: "На пятнадцатом году своей жизни в Америке Сергей

Мы печатаем эту главу с некоторыми сокращениями. РЕД.

Судейкин стал американским художником". После тщательного отбора он выставил шесть масел из сельского цикла "Америка", десять "викторианских" натюрмортов и семь темпер. Пресса, приглашенная на вернисаж была очень сдержанна. "Нью Йорк Пост" посвятил Судейкину ровно одиннадцать строк, "Нью Йорк Сан" — двадцать три, "Нью Йорк Геральд Трибюн" — двадцать две, "Нью Йорк Таймс" не отозвался совсем...

"М-р Судейкин любит убегать от сценических формул, — писал "Нью Йорк Геральд Трибюн" — когда он пишет картины и экспериментирует с пластической формой письма в своих натюрмортах, сделанных либо темперой, либо — маслом, смешанным с заполнителем и нанесённым на полотно подобно рельефной штукатурке. Несколько дрезденских и английских фарфоровых статуэток со вкусом использованы в комбинации с гобеленом и гравюрой на заднем плане, создавая странное, но привлекательное впечатление в таких вещах как "Свадьба", "Зима" и в других натюрмортах. Представлены также сцены из сельской жизни, которые реалистичны, но загромождены живописью".

"Это несколько забавно, — если вас интересуют такие вещи, и — несомненно декоративно" — вторила "Нью Йорк Сан".

Наиболее подробная рецензия была помещена в "Новом Русском Слове". Её критик Л. И. Камышников, лично хорошо знавший Судейкина и относившийся к нему всегда благосклонно, с едва скрываемым раздражением писал: "Живопись без тенденций. Элегантный фарфор, поставленный между яркими пятнами свежей луковицы, салата и других овощей. Можете не задумываться, если вам нравятся краски — как бы рассуждает Судейкин. Но желанной цели он не достиг. В этой ненамеренности живописца чувствуется самая настоящая намеренность и искусственность задачи. Реальность не его сфера... Судейкин перестарался. Он довёл свои картины до того благополучного конца, после которого уже не остаётся места воображению зрителя."[1]

---

1. Небезынтересно привести мнение Л. И. Камышникова в этой статье о втором художнике — М. Шагале: "Откровенно признаюсь: ничего хорошего я в Шагале не вижу. Кроме нескольких приятных красочных сочетаний в натюр-мор-

Цикл картин, посвященных сельской Америке и пышно названный Сергеем Юрьевичем "Американа" принёс ему больше всего разочарований. Фермеры на полотнах Судейкина — "немного как иностранцы", — метко обронил критик одной газеты. Действительно, американские фермеры на этих картинах словно только-что высадились с эмигрантского парохода и живут в Америке первую неделю. Как ни пытался Судейкин убедить публику и критиков, что он стал "американским художником", его "Американа" лишь убедила всех, что он видит сельскую Америку теми же неперемечивыми русскими глазами.

Выставка на Пятом Авеню финансово была катастрофой: Рейнхардт не продал ни одной картины. Причин, повидимому, было две: неудачная затея показать "Американу" и — нелегкое общее положение в стране, которая едва-едва начала приходить в себя после страшного экономического кризиса.

Денег у Судейкина не было, он задолжал за квартиру, хозяин дома грозил выселить Судейкина, но в последнюю минуту выручила Светлана Глад: она купила у Сергея Юрьевича натюрморт "Зима" и две гуаши за шестьсот долларов — и долг был уплачен.

В разгар весны из Парижа пришла печальная весть: Александр Яковлев умер. Сергей Юрьевич не мог опомниться от горя: ведь, казалось, лишь вчера проводили они Яковлева в Париж — Яковлев был как всегда весел, полон планов. Яковлев был на восемь лет моложе Сергея Юрьевича, — и Яковлева уже нет. Несколько дней Судейкин не мог работать и лишь непрестанно курил. Вспоминал Петербург, Академию, рисовальный класс Николая Дмитриевича Кардовского, крошечную комнатку Яковлева на Васильевском острове, пол которой

те, все остальное просто глупо и до наивности бессильно. Шагал назойливо рисует детские фигуры, летающие в воздухе. К ним прикреплены театральные крылышки. Иногда эти крылышки прикреплены к спинам каких-то евреев с длинными бородами. Рисунок всего этого оскорбительно небрежен, как небрежна впрочем и живопись. Если Шагал умеет рисовать, то почему он этого не делает? Если он не умеет, то в чем заслуга и достоинство этих манерных, неровных и детски беспомощных полотен, в которых прежде всего характерно их унылое однообразие."

был завален сотнями маленьких этюдов, Париж, сеансы, когда Яковлев рисовал Веру[2] в виде Сибиллы, отель "Сэнт Мориц" здесь, неподалёку, на Манхэттене, где случайно собрались бывшие питомцы Академии: Борис Григорьев, Василий Шухаев, Николай Ремизов, Савелий Сорин, Константин Аладжанов и он — Сергей Судейкин... Яковлев решил тогда сделать групповой портрет, как-будто вчера всё это было, — а Яковлева уже нет... И "второго такого мастера формы не будет"...[3]

Лето 1938 г. было в Нью Йорке жарким, работы не было и не предвиделось, и Судейкины собирались было поехать в деревню Вудсток, на лоно природы, где жизнь была намного дешевле, как вдруг позвонил Михаил Мордкин и предложил Сергею Юрьевичу сделать декорации для балета "Трепак" на музыку Александра Черепнина. Не знал Сергей Юрьевич ничего о "Трепаке" — за исключением того, что это народный танец, — а согласился работать с радостью. Выявилось, что ещё нет либретто, и Мордкин точно не знает, во что выльется балет с незамысловатым даже для русского уха названием, но был уверен в одном: в гениальности музыки Черепнина.

— Это получше Мусоргского! — сказал он Судейкину.

Либретто они сочиняли втроём: Мордкин, Судейкин и Черепнин. Три русских эмигранта задумали показать на сцене нечто дотоле невиданное. Но этот балет, премьера которого состоялась в ноябре месяце в Нью Йорке, несмотря на великолепный состав труппы Мордкина и его мастерство хореографа, несмотря на великолепные декорации Судейкина и действительно гениальную музыку А. Черепнина был доброжелательно принят публикой и критикой, но событием не стал. Не помогли даже "свалки экстатических сектантов" в сцене радений, что в других условиях в те времена могло бы вызвать сенсацию. Вот что писал рецензент "Нового Русского Слова" М. Букиник: "...художник Судейкин своим полотном и костюмами переносит зрителя в такую глубокую древность, что диву даёшься, откуда у

2. Теперь — В. А. Стравинская

3. Статья С. Ю. Судейкина "Александр Яковлев — мастер формы", 21 мая 1938 г. в "Новом Русском Слове".

этих русских художников, оторваных от родной земли, такая богатая фантазия...".

Ничто не помогло: ни фантазия Судейкина, ни мастерство Мордкина, ни музыка Черепнина — сборы были посредственные и "Трепак" скоро сошёл со сцены. Судейкин сидел без денег: аванс за "Трепака" был незначителен. Он уже начал подумывать, что рок преследует его, как вдруг его разыскал Михаил Фокин, с которым он не виделся много лет.

М. М. Фокин был с Судейкиным краток: к предстоящему пятидесятилетию своей сценической деятельности он задумал поставить балет на музыку Сергея Васильевича Рахманинова "Вариации на темы Паганини", которые Рахманинов написал в 1934 году и которые пользовались неизменным успехом. Всего вариаций — двадцать четыре, но специально для балета Рахманинов написал новую концовку. Первоначальная идея либретто тоже принадлежала Рахманинову: легенда о том, что Никколо Паганини продал свою душу дьяволу за неземное искусство игры на скрипке и — умение обольщать женщин. Впоследствии, однако, Фокин и Рахманинов изменили сюжетную канву, но внутренняя напряжённость этой легенды осталась.

Судейкин был так взволнован предложением Фокина, что отложил отъезд в Вудсток, и стал регулярным посетителем Публичной библиотеки на 42-ой улице: ему хотелось как можно больше узнать о Паганини.

Когда библиотека закрывалась, он возвращался в свою душную квартиру, раскрывал окна и двери, но это не помогало — жара стояла невыносимая. Он ставил граммофонную пластинку с рахманиновской музыкой, садился в кресло и начинал в который раз слушать. Особенно ему нравилось начало — стремительные звуки пичикато: он чувствовал здесь игру, радость жизни, молодость и — вызов. В душные нью-йоркские августовские вечера постепенно рождался у него образ ушедшего гениального Паганини.

Паганин родился в 1782 году, Судейкин — ровно сто лет спустя — в 1882-м. Паганини "омолодил" себя на два года и даже своего первого официального биографа — пражского профессора Шоттки умышленно ввёл в заблуждение, сообщив ему 1784

год, как год своего рождения. То же сделал Судейкин: по приезде в Америку "омолодил" себя на два года. Друзья говорили, что Америка — страна молодых. У Никколо Паганини был в жизни единственный друг — адвокат и скрипач из Генуи Герми. Читая о их дружеской переписке, в которой иногда проскальзывала взаимная ревность к мужчинам, Судейкин, как никто понимал всю действительную глубину и сложность их отношений, вспоминая своего безвременно погибшего друга Николая Сапунова. Никто — ни Сергей Дягилев, ни Савелий Сорин, ни Николай Копейкин, ни Сандро Корона — не могли ему заменить Сапунова.

У Паганини был единственный сын — Ахиллино, и Судейкин (хоть и не любил об этом вспоминать и знали об этом лишь его ближайшие друзья) вспоминал единственного сына, жившего в России. До него доходили слухи, что сын, носивший другую фамилию, стал поэтом. Матерью Ахиллино была певица, матерью сына Судейкина — драматическая актриса.

Паганини был любимцем женщин, также как Судейкин. У Паганини были скандальные истории, связанные с женщинами, а у Судейкина? Один его развод с Оленькой[4] и женитьба на Джин чего стоят. Не будь тогда Савелия Сорина — не миновать бы Сергею Юрьевичу неприятнейшего скандала. Впрочем, пришлось Сергею Юрьевичу за эту историю заплатить нелёгкую цену: когда просил в 1923 году об американском гражданстве — отказали, по причинам морального порядка.

В одной из французских книг Сергей Юрьевич обнаружил письмо д-ра Гильома своему коллеге д-ру Лаллеману, из которого Судейкин узнал причину смертельной болезни великого скрипача: это была та же болезнь, от которой Судейкина спас покойный Сергей Дягилев, послав в 1906 году в Париж лечиться.[5] Во времена Паганини эта болезнь была неизлечима.

---

4. Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, первая жена Сергея Юрьевича, необыкновенная женщина многих талантов (умерла в Париже в 1945 г.).

5. Официально Судейкин (а вместе с ним П. Кузнецов и М. Ларионов) был послан от Московского училища живописи, ваяния и зодчества для оформления знаменитой дягилевской Выставки русского искусства в Осеннем салоне.

Судейкин от последствий ее не избавился до конца жизни: осталась хрипота голоса — Паганини потерял голос совсем.

Судейкин, склонный к мистике, не задавал Фокину вопроса, почему он обратился именно к нему, а не к Борису Аронсону, Евгению Дункелю, Николаю Ремизову...

Имя Паганини было окружено легендами, и самой страшной была та, что Паганини продал душу дьяволу — в обмен за искусство игры на скрипке и обольщение женщин. Сергей Юрьевич не был набожен, но идея великого искусства, обретённого сделкой с величайшим Злом, отталкивала его. Он верил, что талант — от Бога и только от Бога. Поэтому обрадовался, когда узнал, что легенда о союзе с дьяволом относится не к Паганини, а к его предшественнику — тоже знаменитому скрипачу Тартини, который рассказал эту историю своему другу астроному Лаланду.

Прочитав рассказ Лаланда, Судейкин успокоился.

Паганини мог появиться в балете как *жертва* тёмных сил, а не как их герой, как представлялось сначала это Рахманинову. Идея подтверждалась заключением д-ра Гильома, который лечил бессмертного скрипача: *"Паганини — это огненная душа, заключенная в тюрьму скрипки."* Таким образом Паганини — одинокая, великая душа. Итог его жизни — не слава, не деньги, не женщины, а его непревзойдённое искусство.

Некоторая схожесть судеб Паганини и Судейкина объясняет, почему Судейкин так страстно работал над тем балетом. Сергей Юрьевич писал эскизы без конца. [6] Многие из них имеют самостоятельное художественное значение, так как почти не относятся к балету. Балет, музыка Рахманинова была лишь источником вдохновения художника.

Если в молодости Сергей Юрьевич тяготел в цвете к веселью, шутке, гротеску, то теперь гротеск остался лишь для того, чтобы подчеркнуть мистическую трагичность судьбы Паганини.

Появление Паганини в самом начале балета, как задумал его Фокин, было необычным: среди напряженной тишины в ярком

---

6. Точное количество эскизов к "Паганини" осталось неизвестным, т. к. Судейкин был довольно небрежен и не вёл почти никаких записей (он предпочитал диктовать своим секретаршам или друзьям), но по свидетельству друзей художника их могло быть около пятидесяти — шестидесяти.

луче света появлялась высокая, худая, фигура — мертвенно бледное лицо, большой орлиный нос, густые брови, длинные черные вьющиеся волосы, впалые щёки. Подмышкой держит знаменитую скрипку — легендарного Гварнери. Он молча показывает скрипку публике слева, справа, в центре. Потом прижимает скрипку к подбородку, поднимает смычок, выставляет левую ногу вперёд — напряжённый, чуть склонившийся треугольник, и — начинает играть. Музыка очаровывает публику — и самого музыканта: по мере того, как учащаются движения смычка и длинных, тонких пальцев, Паганини впадает в транс. Темные фигуры оживают у его ног, тянутся к волшебному Гварнери. Луч света вырывает из темноты насмешливую и страшную фигуру Дьявола с козлиной головой; он движется в такт движениям Паганини и, невидимый, кажется, что управляет им. Две тёмные зловещие фигуры — Сплетня и Скандал — пробираются на сцену, всё ближе и ближе к ничего не замечающему музыканту. Они сеют вздорные слухи, злобу, которые всё теснее и теснее окружают Паганини и, наконец, Коварство пытается запутать его в свои сети — но безуспешно.

Но Паганини — бледная, измождённая, пламенная фигура — продолжает играть. Он не может остановиться, ибо он принадлежит Музыке, Богу. Темные фигуры с отвратительными лицами окружают музыканта. Ритм музыки учащается, отвратительные фигуры всё ближе и ближе. Они перебрасывают светящиеся черепа, танцуют, кривляются, пропадают в черном небытии — чтобы восстать из него вновь.

Свет гаснет и всё тонет в темноте.

Судейкин решил оформление первого акта в двух цветах — черном и белом. Ряд колонн полукругом поддерживает балкон, заполненный публикой, на переднем плане, перед сценой, где выступает Паганини — тоже публика. Напудренные парики, высокие прически, отчётливые профили. Обилие действующих лиц, публика в первом акте, среди которой умело двигались и творили Ложь, Зависть, Коварство, Сплетня — придало сцене помимо чрезвычайной контрастности сардонический характер, и Судейкин мог почувствовать, что он снова — в далёких, санкт-петербургских годах, когда насмешка — иногда довольно саркастическая, была его forte...

Вторая сцена ослепляла зрителей, нежностью небесных красок. Это был день, голубой, прозрачный, среди флорентийских холмов и живописных развалин. Среди этой пасторальной природы танцует группа юношей и девушек, особенно хороша одна из них — в нежно розовом платье, в странной остроконечной шляпе, с корзиной свежих цветов в руках. Она предлагает цветы своему возлюбленному. Вдруг — наступает мертвая тишина: на сцене появляется фигура, закутанная в темный плащ. Крестьяне узнают: Паганини!!! Страх и смятенье овладевают ими. Властным жестом пришелец берёт гитару у одного из юношей и — ударяет по струнам. Дикие колдовские звуки заставляют всех оцепенеть, а красавицу девушку неожиданно охватывает такой восторг, что она танцует как одержимая. Темп всё усиливается, танец всё быстрее и, не выдержав дикого темпа, девушка — падает без чувств у ног Паганини. Глядя на неё Паганини, едва касаясь струн, начинает играть нежную успокаивающую мелодию, которая приводит её в чувство.

Внезапно перестав играть, Паганини отдаёт гитару юноше и — уходит. В некотором отдалении его сопровождает толпа молодёжи, охваченная благоговейным страхом...

Судейкин даже создал свою "теорию о пасторали". Три цвета должны доминировать в ней: синий — цвет вечности, зелён ый — цвет покоя, и желто-золотой — цвет тепла, радости.[7]

---

7. Декорация ко II сцене сохранилась в частной коллекции в графстве Вестчестер, штат Нью Йорк. О тщательности в оформлении свидетельствует длинная запись на обратной стороне, сделанная рукой художника, которую следует привести полностью: II сцена состоит из первого занавеса размером 45 футов на 28 футов. Этот занавес висит за вторыми кулисами и над дугой. Этот занавес в двух местах написан *транспарантно* — весьма важно. Первое место наверху муза. Второе место полоса света на горизонте, т. е. между написанной землей и голубым небом. Остальное *обязательно опек*, т. е. прописано сзади — иначе голубое небо нельзя осветить.

Слева от зрителя одна пристановка, маскирующая лестницу, платформу и другую лестницу. Почти посреди сцены — бутафорские развалины (капитолий и проч), на которых сидят актёры.

Свет: — На голубое небо, конечно, голубое светлое со сцены сверху.

За занавесом светит на (голубой) транспарант музы, и также свет сзади занавеса на второй транспарант, начало неба (розово-желтоватый) цвет, (полоса горизонта).

В третьем акте одинокий Паганини, состарившийся и больной, с трудом работает над новым музыкальным сочинением. Силы его подорваны, мозг отравлен болезнью, ложью, клеветой, завистью соперников, ненавистью продажных критиков. Он сознаёт, что силы его иссякают — с отвращением рвёт рукопись, над которой только что работал. Берёт скрипку, пытается играть, но инструмент как-будто перестал его слушаться. В отчаянии Паганини роняет голову на стол.

Перед скрипачем появляется Добрый Гений, который успокаивает его. Паганини берёт снова своего Гварнери — и музыка гения, стремительное, неповторимое пичикато возвращает музыканта к жизни. Появляется группа добрых фей и Паганини, вдохновлённый их присутствием, играет так, как он играл в период расцвета своего гения.

Однако, очутившись один, Паганини находит себя окруженным злыми привидениями. Десяток музыкантов, его двойников подражают, кривляясь, его манере играть, визжат смычками. Он словно окружен карикатурами на самого себя. Отшатываясь в ужасе от одного, он — наталкивается на другого. Становится всё темнее, их длинные смычки сверкают зловеще — зелёным, словно ножи. Появляются темные призраки, и старые знакомые — Зависть и Коварство. В отчаянии Паганини хватает свой смычок и бросается в борьбу — действуя им, как шпагой. Падает в темноту.

Духи тьмы в триумфе танцуют над повергнутым музыкантом, но тут появляется Добрый Гений в окружении Добрых фей, и они прогоняют нечисть.

По мере того, как становится всё светлее и светлее, показывается огромная, уходящая в бесконечность лестница. На

Ещё раз повторяю: весь занавес сзади должен быть прописан нейтральной краской (опек) кроме, конечно, транспарантов. Специальный луч на Паганини — солнечный, холодно желтоватый (может — голубоватый).

Луч на танцующих. На группы танцоров свет чуть из зрительного зала. Надо принять во внимание, что в костюмах много голубого.

Это весьма красиво с голубым небом... (неразборчивое слово) костюмы освещать с голубым цветом. Зелёные деревья могут быть освещены с боков солнечным светом (золото жёлтым).

С. Судейкин, 29 дек. 1938 г.

её ступенях появляется темная фигура, которая протягивает, словно в ожидании, руку. Это — Смерть.

Добрый Гений возвращается к умирающему Паганини и вкладывает в слабеющие руки скрипку. Добрые феи окружают музыканта, словно ангельский хор. Его тело со скрипкой на груди продолжает покоиться, там, где его застала последняя минута жизни, но Душа, поддерживаемая Добрым Гением, медленно поднимается по уходящей ввысь лестнице — в небо, в рай, который ожидает тех, кто прожил жизнь, открывая прекрасное людям.[8]

Премьера "Паганини" состоялась в Лондоне в театре Covent Garden 30 июня 1939 года. В театре, чтобы приветствовать юбиляра М. М. Фокина, собралась международная театральная элита, и на следующий день *все* ведущие английские газеты отметили успех балета — правда, в присущем англичанам сдержанном тоне.

"Замечательное творение трёх русских талантов — Фокина, Рахманинова и Судейкина", пишет "Тайм". "Переполненный зал чутко реагирует на происходящее на сцене, и каждый, кто видел "Паганини", был полон энтузиазма, вызванного по обе стороны театральной рампы. Судейкинские декорации и костюмы усиливали фантастичность балета — Фокин, между прочим, никогда не недооценивает внешнюю привлекательность балета и его оформление было восхитительно", пишет "Крисчен Сайенс Монитор" (Бостон).

Но настоящий триумф выпал на долю балета в Америке.

"Паганини — настоящий симфонический балет самого высокого качества, и не последнюю роль в его успехе играет тесное сотрудничество композитора, хореографа и художника." ("Dance in Review").

"Крики "браво" и снова "браво" прокатывались по залу, заставив занавес подниматься около 20 раз, прежде чем артисты балета смогли опустить сцену." ("Los Angeles Evening Herald").

Известный русский зарубежный музыколог и критик Иосиф

8. Содержание балета пересказано по книге Cyril W. Beaumont. Supplement to complete book of ballets, London, 1945 и по цветному фильму 11 сцены балета, который хранится в библиотеке Линкольн Центр, в Нью-Йорке — Ю. З.

С. Яссер написал интереснейшее исследование "Паганини — опыт художественного синтеза"[9]. Вот что он писал о Судейкине:

"Его декоративные выполнения дышат оригинальностью, и в его рисунке и красках присутствует каким-то неведомым образом *элемент* кинетического "развития". Участие Судейкина в постановке "Паганини" следует признать особенно уместным ещё и потому, что вариационность *живописной* композиции является одним из излюблённых приемов этого художника, проследить который не трудно во многих его полотнах. Иногда этот прием выражается в твёрдой установке посередине картины какой-либо капитальной фигуры или предмета, и окружении последних их же дробящимися вариантами, явными или подразумеваемыми. В "Паганини" указанный прием наиболее очевиден в декорациии последнего акта, где центральное место занимает некий колоннообразный символ архитектуры вообще (тема), вокруг которого расположены отдельные и как бы "частные случаи" (вариации) строительного искусства — церковь, тюрьма, лестница.

Помимо декораций, эта близкая Судейкину техника нашла себе применение и во всем подвижном плане "Паганини", который целиком развертывается по принципу "темы с вариациями". Здесь фигура самого Паганини является, конечно, центральной, и представляет собою основную "тему" всей постановки в её динамически живописном аспекте. В изображении её Судейкин широко воспользовался, очевидно, известными историческими портретами Паганини, но, верный своей интуиции он все-же попытался избежать в собственном замысле чистейшего реализма. Во всей этой центральной фигуре, в особенности в её маскообразном облике, чувствуется какое-то "над-портретное" намерение художника, некое желание выявить не только личность Паганини, но как бы и незаурядность всего его жизненного пути. В свете этой интерпретации основной живописной "темы" становятся понятными представленные затем

---

9. Опубликовано впервые на русском языке в "Новом Русском Слове" 16 февраля 1941 года и много лет спустя, в сокращенном виде на английском языке: Joseph Yasser "The variation form and synthesis of arts" in "The Journal of Aesthetics and Art Criticizm", vol. XIV, No. 3, March 1956.

Судейкиным — то реалистически, то аллегорически — её многочисленные "вариации", т. е. связанные с жизнью Паганини события и лица, равно как и всякого рода "материализованные" добрые и злые силы. Надо сказать, что в изображении последних, Судейкин проявил изрядную долю виртуозности и прозорливости, что, впрочем, и неудивительно, если принять во внимание общий склад его художественного мышления и природную склонность к фантастике".

Костюмы и декорации для балета были уже готовы, а Судейкин всё продолжал писать так полюбившегося ему скрипача.[10] Тема смерти художника особенно привлекала его. Большое масло, почти в точности воплощающее оформление третьего акта изображало последовательность ухода в небытие: в центре внизу великий скрипач играет на скрипке и вызывает темные силы, слева — он изображен лежащим на смертном одре и прекрасный ангел склонился над ним, а чуть повыше на площадке огромной, уходящей в небеса лестницы — окрылённая душа артиста следует ввысь за летящим ангелом-женщиной. Повидимому, перегруженность картины деталями и её сказочно-мрачный характер не удовлетворили Судейкина и он написал на ту же тему маленький шедевр маслом "Смерть Паганини": распростёртый некрасивый Паганини прижимает к груди свою бессмертную скрипку и два ангела-женщины — в изголовьи и в ногах — склонились и оплакивают его. На втором плане — Смерть в тёмной одежде указывает в сторону, словно торопит уход... Три прекрасных ангела — снова в образе женщин — летают. Небо над ангелами в неземных красках, темное перемешано с неожиданно оранжевым.

---

10. Большинство работ, посвящённых "Паганини" находятся в частных коллекциях. Так декорации к I и III сценам — в коллекции д-ра Сальвато (г. Монт-Киско, штат Нью Иорк), декорация к II сцене, небольшое масло "Смерть Паганини", гуашь "Паганини на сцене" — в частной коллекции в графстве Вестчестер, штат Нью Иорк; "Портрет Паганини играющего на скрипке" (по-видимому — эскиз грима) — в частной коллекции в Нью Йорке; костюмы для Скандала, Сплетни, Зависти и Злого Духа (черная бумага, гуашь) — в коллекции г-жи Дорис Сэйнт-Джон Дикинсон Динсмор в Нью Йорке. Лишь шесть листов предварительных набросков (кстати — посредственного качества) для костюмов к балету находятся в библиотеке Линкольн Центр в Нью Йорке и доступны для публики. *Ю. З.*

В успехе балета "Паганини" Сергей Юрьевич был уверен, но такого триумфа не ожидал. Не мог предвидеть, что "Паганини" будут показывать не только в Европе и Северной Америке, но и в Южной Америке и даже — в далёкой Австралии; не знал и того, что "Паганини" будет его последней, лебединой песней; не знал, что балет намного переживет его самого; не знал что судьба готовит ещё одну, последнюю, похожесть великого итальянца и замечательного русского: Паганини умер, сжимая в руках скрипку... Когда 12-20 августа 1946 года в госпитале городка Наяк умер Судейкин, пальцы его правой руки были явственно сжаты в щепоть. Как будто он продолжал держать кисть.

Юрий Зорин

*

О Рим, отдай мне голос мой, молчанием своим
Сведешь с ума меня, о Рим, прекрасный Рим.

Возьми глаза мои, отдай мне вечер тьмы
О, мне поможет ночь искать твоей зимы.

О Рим, мой грустный сон не называй своим,
Сведи с ума меня, о Рим, прекрасный Рим.

А. Хвостенко

Поэт Алексей Хвостенко живет в СССР, власти не выпускают его заграницу. Мы печатаем его стихи, полученные из Самиздата, без ведома автора. РЕД.

ОБЛИК ГЕН. А. А. ВЛАСОВА

Можно ли забыть берлинское утро 22-го июня, когда, готовясь идти в церковь, — это был воскресный день, — я услышал сообщение по радио о начавшейся войне с Россией. Боже мой, ведь там уже льется русская кровь! Сколько новых страданий принесет война... и как встречная волна моего сознания: но ведь только этой кровью может придти освобождение от того моря крови и мук, которые претерпевал народ наш под коммунистической властью. Конечно! Какие могут быть сомнения! Может-ли война унести столько жизней, сколько два десятилетия коммунизма? Господи, спаси Россию!

Иду в церковь. На улице взволнованно переговариваются прохожие. У церкви русские люди гудят, как пчелы около улья. Служба идет особенно проникновенно и как-то расставляет в душевном мире вещи по своим местам. Помню, какой небыкновенной силой упования и незыблемой надежды звучали слова — "все святии земли Русской, молите Бога о нас". Канон особой службы всем русским святым мы пропели на молебне после Литургии и продолжали петь его ежедневно, собираясь в церковь на Находштрассе, чтобы взывать к милости Божией о судьбах своего народа...

И пошло, и пошло. Немецкие победоносные радио-сводки с фронта, который не продвигается, а просто катится все дальше и дальше, вглубь России. В кинематографах, в специальных обозрениях, все больше показываются виды России, русские

---

* Мы с удовольствием печатаем главу из вскоре выходящей книги протоиерея Александра Киселева "Облик генерала А. А. Власова". РЕД.

лица, наших пленных... впиваешься глазами в каждое родное лицо, в каждую избу или дорогу, и все это мысленно крестишь и крестишь — спаси их, Господи!

Вот первые встречи с какими-то русскими, обнаруженными нами на починке железнодорожного полотна... Сначала их нужно было искать, потом их было все больше и больше: "ost" — рабочие с Востока, "P" — поляки, звезда Давида — евреи. Эти значки лишали человека права ехать трамваем или зайти в ресторан, в поезде позволяли находиться только в специальном последнем вагоне.

Большинство этой "рабочей силы с Востока" ("остовцы", "осты") которая вскоре стала исчисляться миллионами, жило в специальных лагерях, за колючей проволокой, при фабриках и заводах. Многие работали у крестьян или домашней прислугой. По существу, они все были бесправны и отношение к ним всецело зависело от лица, в распоряжении которого те или другие из них находились. Поэтому и условия их жизни были разные. Преобладали, конечно, как и при всяком рабовладельчестве, эксплуатация и произвол.

Моя священническая миссия заключалась в проникновении в "остовские" общежития и лагеря для военнопленных. Дело это сочетало в себе самое радостное и самое горькое. Горькое — от бессилия помочь, от скорби видеть как вымирали, как мучились, сколько скорби переносили люди... радостное, как пасхальное ликование, от встречи с такой высотой духа, терпения, такой веры, о которой до того только читал в Евангелии. Во время этих путешествий я научился верить в русский народ. Не в существование в его среде только отдельных праведников, но в сам народ, в его массу, в которой, несмотря на множество грехов, ощущаешь неистребимость образа Божия.

Попадать в такие лагеря было очень трудно. Без разрешения от соответствующего отдела политической полиции[1] туда вход был закрыт. Хождение в это учреждение было не безопасным делом, но мой настоятель (архимандрит Иоанн Шаховской) усердно меня туда посылал, ободрял, хотя называл это "хожде-

1. "SD" — Sicherheitsdienst — Служба государственной безопасности.

нием в львиную пасть". Был у меня такой случай. Я узнал, что в лагере сидит мой однокурсник по семинарии о. Дионисий Ильин. Понес в это учреждение ему "передачу" (пищевую посылку). Ее приняли, хотя и уверяли, что он ни в чем не нуждается. Когда же я принес вторичную передачу, то мне сказали, что если я теперь не поверю, что у него всего достаточно и принесу еще одну передачу, то им не останется ничего другого, как послать меня туда, чтобы я лично убедился в правоте их слов. Признаюсь — третьей передачи я не понес...

Мне не пришлось побывать в самых страшных лагерях военнопленных, после посещения которых полк. К. Г. Кромиади сказал: "за это время я отучился смеяться"[2].

Но и мне довелось кое-что повидать. По сей день я не расстаюсь с той чашей и, совершая Литургию, употребляю именно ее, ту, с которой я объезжал тогда лагеря и из которой причащал тысячи тех, большинства которых уже давно нет на этой земле. Среди них были смертники, приговоренные к казни и приговоренные к вымиранию от голода, были принимавшие мой путь — РОА, и те, которые не шли ни на иоту "коллаборации". Как сейчас слышу стук их бесчисленных ног в деревянных колодках по немецким дорогам. Истощенных, еле идущих, но с песней.

В подвале под приходской библиотекой на Прагерштрассе, в Берлине, был создан некий центр помощи — склад одежды и продуктов, для поддержки, главным образом военнопленных, чье положение было хуже, чем положение "остовцев". Сколько заботы и любви вкладывали в это люди, главным образом, женщины. Собирали подержанную одежду — стирали, перешивали, искали путь передать нуждающимся. Особенно было трудно достать еду, ибо ее было очень мало и у живущих на свободе. Покупать где-то на стороне, на "черном" рынке, было невозможно из-за очень высоких цен. Иногда выручал чеснок, который, являясь витаминозным продуктом, не имел, однако, у немцев широкого распространения, — когда его удавалось

2. Полков. К. Г. Кромиади — офицер царской армии, будущий начальник личной канцелярии ген. Власова.

достать, была большая радость. Сытому трудно понять, но в те времена ломоть хлеба, головка чеснока, продлевали человеку жизнь.

Таких очагов помощи как наш, было много и при церквах, и организованных по частной инициативе.

Берлинский кафедральный собор в то время из здания, открывающегося в определенные дни и часы для богослужений, превратился в денно и нощно живое место участия и помощи. Под собором был большой подвал с огромной печью для центрального отопления. В этой печи всегда, в большом подвешенном чугуне, варилась какая-нибудь похлебка для каждого голодного... Службы стали ежедневными и утром и вечером, а если прибавить молебны и панихиды, то без малого — непрерывными. Душой всего этого был молитвенный и мудрый батюшка отец Адриан, новый беженец с юга России, прибывший с большой группой верных Церкви и ему людей.

Были организованы краткосрочные богословско-миссионерские курсы, где по вечерам, после закрытия официальной библиотеки, опустив глухие шторы, мы готовили будущих священников. Всё для нее, для России.

Чтобы закончить описание той жизни, на фоне которой в Берлине появился ген. Власов, скажу, что небольшие берлинские церкви переполнялись и не могли вместить многих сотен "остовцев", которые по воскресеньям приходили в храмы. Особенно много собиралось в Собор. Митрополит Серафим получил однажды распоряжение от Гестапо не допускать "остовцев" в церковь, ибо там они соприкасаются с русскими эмигрантами. К чести митрополита, он имел мужество ответить, что его дело привлекать людей в церковь, а не препятствовать их приходу.

Воскресенье. Собор переполнен, по преимуществу "остовцами", до отказа. Совершается Литургия. Но вот завыли сирены, предупреждающие о воздушном налете. Мне поручено выйти из алтаря к молящимся и сообщить, что желающим рекомендуется поспешить в ближайшее бомбоубежище, но что совершение Литургии будет продолжаться. Вышли из храма

единицы... Под гул зенитной артиллерии и страшные разрывы совершалось таинство Божественной Любви...

Такова была жизнь в то время, когда произошла моя первая встреча с ген. Власовым. Я был приглашен крестить младенца, отцом которого был один из видных офицеров только еще начинавшегося Власовского дела. К нежеланию этого офицера жениться на матери ребенка, ген. Власов относился неодобрительно. В знак этого, он вызвался быть крестным отцом младенца. Устроить крестины взяли на себя супруги Деллингсхаузен. Ротмистр барон Деллингсхаузен, бывший офицер русской царской армии, а теперь немецкий офицер, принадлежал к кругу тех русских немцев, которые способствовали делу ген. Власова. Баронесса Деллингсхаузен, Олимпиада Ивановна, была чисто русская , из московской купеческой семьи, человек исключительно милый и добросердечный. Во время крестин я был поражен тем, что крестный отец — ген. Власов, мог самостоятельно, наизусть, читать Символ Веры, чего очень часто не могут делать крестные из-за незнания на память этого текста. Да, Власов, как в свое время и Сталин, учился в Духовной семинарии. Но ведь более двадцати лет отделяли Власова-семинариста от Власова-генерала. Мог ли он помнить эти слова, если хоть изредка не повторял их?

Что представляет собой этот генерал? Каков его внутренний мир? Эти мысли мелькали во мне, когда басистый голос статного, еще молодого генерала, читал и дочитывал Символ нашей православной веры: "... чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь".

После крестин, как обычно, всех пригласили к столу. Весь этот вечер разговоры были только о России, о нынешнем ее положении, о нашем долге в связи со всем происходящим. О наших отношениях с немцами Власов без стеснения говорил, что немецкий "сапожник" упрям и недалек, что следует опасаться, как бы он не стал "ногу увечить по сапогу, а не сапог шить по ноге". Любовь к России светилась в каждом его слове — просто и естественно, без тени позы или сентиментальности. Он с глубоким уважением говорил о Церкви, но Церкви прошлых времен. Сетовал на Церковь последних предреволюционных

десятилетий за то, что она больше жила духовным богатством своего прошлого, чем умножала его в настоящем. "Жить Церкви тем, что "наши предки Рим спасли" нельзя, батюшка", сказал он мне. Его мнение, что религию нельзя ни запрещать, ни навязывать, что "она как вода, сама себе дорогу найдет", мне казалось как раз тем, что было нужно для духовного восстановления России.

Все, что я слышал в этот вечер от ген. Власова, отвечало моим чувствам. Я ушел с крестин власовцем. Думаю, что и я, в какой-то мере, был ему симпатичен, ибо он настоятельно звал меня работать в общем деле и чаще бывать у него. Так началась полоса моего деятельного участия во Власовском Движении и ряд встреч с ген. Власовым.

*

Если бы я, по характеру своему больше был созерцателем, то мог бы собрать огромный материал наблюдений. Но я всегда был больше деятелем и во все то, что было мне близко и дорого, входил, как говорится "по уши". И все же, кроме чисто церковного служения, которым я участвовал в общем деле, мне приходилось многократно встречаться с ген. Власовым, ген. Трухиным, ген. Меандровым и другими. Возможно, что именно то, что видел я, не видел и не знал никто другой, это и обязывает меня написать эту книгу и тем сохранить для будущих дней все то, что я знаю о ген. Власове и его деле.

Ген. Власов жил в пригороде Берлина – Далем, где ему был отведен средней руки двухэтажный дом с небольшим садом. Тут же размещался и штаб его ближайших сотрудников. О его личной жизни говорили разное. Молва же, распространяемая советской агентурой, не скупилась на краски, рисуя его жизнь богатой, разгульной и предельно безнравственной. На самом же деле ничего не было. Ни разгула, ни богатства, ни иных каких-либо вещей, отличающих его жизнь от обыкновенной жизни большинства, не было в Берлинской жизни ген. Власова. Сказанное выше не только мое мнение, но и свидетельство людей, которые бок о бок, под одной крышей, жили с ним изо дня в день, как, например, полковник К. Г. Кромиади —

начальник его личной канцелярии, С. Б. Фрёлих — офицер связи, капитан М. В. Каштанов — начальник личной охраны, и другие.

Как пример сдержанного поведения, свойственного ген. Власову, можно привести воспоминания И. Л. Новосильцева, присутствовавшего на ужине, данном министром в честь Власова после подписания Манифеста в Праге. Ужин был богатый, вино, как говорится, лилось рекой. Многие не устояли перед соблазном и их поведение вызывало неодобрение Власова. Сам же он был к себе строг и не позволял себе никакого излишества. Чтобы проверить себя, он подозвал к себе Новосильцева и спросил его на ухо: "Игорек, как я себя держу?".

Был еще такой случай. Ген. Власов распорядился допустить к себе неизвестного человека, который впоследствии оказался засланным советским агентом, с поручением застрелить Власова. Когда, наедине с Власовым, агент начал рассказывать вымышленную историю о том, как он пробирался к нему из России, Власов позвал ординарца и приказал дать водки с закуской. Ординарец, в качестве закуски, принес нарезанные огурцы и томаты. На подосланного агента, уверенного в том, что "предатель Власов окружен женщинами и в шампанском купается", так подействовала "солдатская" простота жизни Власова, что он не выполнил задания. Конечно, не только бедность закуски, показавшая уклад жизни генерала, живущего на солдатском пайке, подействовала на подосланного убийцу.

Власов производил сильное впечатление и своим внешним обликом. В нем светилась спокойная и покоряющая убежденность. Это не была самоуверенность. Источник его духовной силы лежал вне его. Это была сила правды, сила выстраданного и познанного. Не надуманное, а пережитое, не кабинетные теории, а крепкая мысль и житейский опыт открывали в нем дорогу тому, что, возможно, было глубже его собственного сознания. Вот причины, по которым его слово было всегда веским и оттенки звучания голоса убеждающими.

"Поразительна необыкновенно простая манера Власова говорить. Кажется, что он находится не в большой аудитории, а занимается собеседованием со своими ближайшими друзьями. Именно — собеседованием! Казалось, что особенно значи-

тельные и важные слова он кладет перед присутствующими на свою твердую натруженную руку и, взвесив, как бомбы, бросает во взрывающийся аплодисментами зал". "....Говорил Андрей Андреевич языком красочным, образным, все время пересыпая свою речь русскими пословицами и даже прибаутками — так часто говорят крестьяне. В то же время его речь была краткой и конкретной. Чувствовалось, что Суворов является его учителем и идеалом. Он часто его вспоминал."[3]

Этот же облик и манеру говорить запечатлел и небезызвестный Илья Эренбург, весной 1942 г. посетив ген. Власова на фронте. "Любовно и доверчиво смотрят бойцы на своего командира: имя Власова связано с наступлением... У генерала рост метр девяносто и хороший суворовский язык. Он говорит бойцам о немецком солдате: "Прошлым летом воевал со смаком. А теперь? теперь он воюет с перепугу..." [4].

Нечто особое в его внешности и речи оказывало действие не только на широкие массы бывших подсоветских людей, но и на многих немцев, как на немцев старой культуры, так и на современных немецких властителей, вплоть до Гиммлера. Это качество, или лучше сказать, наличие некой внутренней обогащенности, давало ему возможность не теряться при любых встречах с самыми разными людьми.

Очень интересен рассказ И. Л. Новосильцева о встречах ген. Власова в доме его дяди, Федора Владимировича Шлиппе, с представителями старой русской эмиграции. Ф. В. Шлиппе, в прошлом директор департамента министерства земледелия, товарищ председателя земско-городского союза, видный член монархической партии. Он был женат на дочери министра времен императора Александра III. В доме Шлиппе ген. Власов познакомился с ген. П. Н. Красновым и ген. А. А. Лампе.

Удивительный такт и чувство меры помогало Андрею Андреевичу свободно и достойно вести себя за столом, в гостинной, при разговорах с людьми совсем иного круга. Обращаясь к Лампе, Власов спрашивает о его отношении к РОА, на что

---

3. Из впечатлений присутствовавшего в "Европа Хауз" 18 ноября 1944 г. Полков. В. В. Поздняков, стр. 144 и 167.

4. *Красная Звезда*. 11 марта 1942 г.

Лампе отвечает: "Мы, с ген. Красновым, монархисты, Андрей Андреевич". "Поезжайте в наше село, — гудит голос Власова, — там вы найдете третьего, — моего отца. Он кирасир и его идеал — император Александр III".[5]

Я не хочу сказать, что ген. Власову был свойствен светский лоск. Нет. Он им не обладал, а подражание этому могло бы сделать его облик даже смешным. В нем меньше всего было деланного. Естественность была одной из характерных для него черт. Увидеть же в нем мужика в роговых очках[6] было, думаю, большим искажением его облика.

Сопоставляя свои собственные наблюдения с высказыванием многих лиц, хорошо знавших Власова, я пришел к выводу, что самый глубокий пласт его внутреннего мира слагался из веры в Бога и чувства социальной справедливости. На драгоценном слитке этих двух основ, при понимании, что одно без другого, не вырождаясь из реальности в отвлеченность, существовать не может, покоился его "внутренний человек".

Подтверждением моего впечатления о ген. Власове могут быть его собственные слова, высказанные в задушевной беседе с молодым и близким ему И. Л. Новосильцевым. На вопрос последнего о его вере, Власов ответил: "Ты знаешь слова Писания — Верую, Господи, помоги моему неверию? Такова, Игорек, моя вера... как же это так, вот, есть Бог, а сколько гадости на земле и что творят с людьми — это мое самое большое сомнение"[7].

Отвращение к тому, "что творят с людьми" и было тем, что открыло ему глаза на действительность подсоветской жизни. Он, идеалист-коммунист, стал прозревать. Когда в разгар коллективизации, он стал свидетелем того кошмара, который творили с народом на Кубани, здание его веры в коммунизм как путь к народному благоденствию, дало трещину. Не этот ли момент нужно считать моментом зарождения Власовского Движения?

---

5. Воспоминания И. Новосильцева. Магнитофонная запись хранится у автора.

6. А. И. Солженицын. *Вестник РХД* № 115, стр. 165.

7. Воспоминания И. Новосильцева. Магнитофонная запись хранится у автора.

Власов был сыном крестьянина и все связанное с землей, с крестьянством он особенно чувствовал.

Однажды жена штандартенфюрера Крёгера, приставленного к Власову от главного штаба СС, в разговоре с Власовым нашла нужным упомянуть, что в свое время у ее отца на Кавказе было 30. 000 овец, на что Власов ответил: "а у моего отца было пять овец".[8]

Мы уже говорили, что Власов учился в семинарии. Если бы не помощь старшего брата Ивана, Андрею Власову не попасть бы в семинарию, не получить бы образования. В дальнейшем, Власов-отец получил для сына полную стипендию имени Николая Чудотворца, благодаря которой сын и учился в семинарии.

Отец ген. Власова был сверхсрочным унтер-офицером в гвардейском кавалерийском полку. В гвардейских полках был распространен обычай помогать получать образование нуждающимся детям своего унтер-офицерского состава. По просьбе Власова-отца для Власова-сына исхлопотали стипендию "Николая Чудотворца".

Семинарские годы имели большое влияние на формирование молодого Власова. Там его детская вера приобрела свое логическое обоснование, и твердо навсегда угнездилась в нем. Живя уже пятый десяток и будучи в генерал-лейтенантском чине, он, в разговоре с начальником своей личной канцелярии, полковником Кромиади, "по-солдатски" определяет свое отношение к сложной проблеме веры: "Бога может отрицать только идиот".[9]

В период семинарской жизни, на основе, заложенной матерью — глубоко верующей женщиной, которую Власов всегда вспоминал с большой любовью, в нем выкристаллизовались очень ценные моральные качества: скромность, порядочность-доброкачественность и мужественность.

Семинария — не рай. Нет там недостатка в том, чисто чело-

8. Воспоминания И. Новосильцева. Магнитофонная запись хранится у автора.

9. Воспоминания полков. К.Г. Кромиади. Магнитофонная запись хранится у автора.

веческом, что можно увидеть, входя в толщу людей, окружающих Церковь. В этом убедился семинарист Власов. Для слабых это — соблазн, в результате чего нередки отпадения от Церкви. Для сильных духом это — закалка. Увидя, что не только в жизни вообще, но и среди церковных людей не всегда внешнее соответствует внутреннему, он выработал в себе тяготение к подлинному в противовес показному и фальшивому. Доброкачественность становится его характерной чертой. Проявление этого можно проследить во многом, хотя бы в его отношении к вопросу религиозного влияния в армии. Считая его необходимым он, однако, не хотел вводить его как приказ, как навязывание сверху. "Хотят в роте батюшку, мы обязаны им дать его. Хотят муллу — дадим им муллу!" — Помню эти его высказывания на совещании по вопросу духовного обслуживания наших частей. "Вот, слово о. Александра напечатали все наши газеты.* А кто им велел? Напечатали — значит им понравилось, так я говорю?".

"Власов произвел на меня положительное впечатление своей скромностью и в то же время сознанием собственного достоинства, своим умом, спокойствием и сдержанностью, а особенно той, трудно определяемой чертой характера, в которой чувствовалась скрытая сила его личности".[10]

Скромность он не только считал необходимым качеством человека, но и проявлял ее в своей жизни. Уклад его жизни был скромен. И не потому, что не было других возможностей. Возможности были, их даже усердно предлагали и некоторые не уклонялись от возможности ими воспользоваться. В минуты раздумья о будущем, он не мнил себя на верхах руководства Свободной Россией, а лишь "инспектором пехоты", как мне помнится.

Мужество отнюдь не выражается мужественным видом или высказыванием соответствующих взглядов. Оно измеряется только поступками. Вот маленькая деталь, без лишних слов передающая мужественность этого человека:

---

* Имеется в виду слово, сказанное мной 18 ноября в Берлине, во время опубликования Власовского Манифеста.

10. В. Штрик-Штрикфельд. "Против Сталина и Гитлера", стр. 107.

"... Власов отдал распоряжение пускать всех соседей в небольшое бомбоубежище, оборудованное в саду виллы, в которой он жил... Когда мы подошли к спуску в бомбоубежище, оно было уже полно людьми. Власов не захотел, чтобы из-за него кто-то должен был выйти, и просидел все время до отбоя в саду около входа в бомбоубежище".[11]

Об этом же говорит приводимый ниже отрывок из разговора ген. Власова с ген. Линдеманном, командующим немецкой армейской группой "Север", который взял в плен ген. Власова.

" — Да, я... остался! Дважды я получал приказ бросить людей и покинуть этот "мешок", но я... остался. Однажды за мной прислали самолет, но я уже больше не колебался. Смел ли я бросить тех, кого я сам завел в такое положение? Смел ли я снять с себя всю ответственность за это?...

— Сделав это на глазах у своих солдат... — как бы продолжая рассказ Власова, понимая его сердцем солдата, сказал Линдеманн.

— Да, на глазах у моих солдат... Ведь все эти глаза смотрели на меня! Я предпочитал, чтобы они смотрели мне в лицо, а не в уходящую спину. Если бы я их покинул, я бы чувствовал все эти взгляды на себе всю свою жизнь..."[12].

Четыре года спустя, за несколько дней до его выдачи Сталину, Власов поступает точно так же, как за несколько дней до того, как он попал в немецкий плен. "... Вернувшись домой, — описывает события кап. Р. Антонов, адъютант Власова, — мы сразу же переоделись в штатское... через час все было готово: машина, одежда для Власова и все другое... Увидев это, Власов спросил: "Что это за маскарад?". Когда изложили план Тензерова, он отверг его и сказал, что надо ждать ответа относительно всех войск РОА".[13]

Спастись самому, оставляя на произвол судьбы Первую дивизию и другие части РОА, было неприемлемо для ген. Власова. Личное мужество никогда не покидало этого человека.

---

11. Там же, стр. 252.

12. Очерки к истории Освободительного Движения Народов России, с. 24.

13. Полков. В. В. Поздняков, стр. 427-428.

Ген. Власова часто упрекают в том, что он продолжал переговоры с немцами, когда надежд на пересмотр ими политического курса больше не оставалось. Чем это было вызвано?

В основе этого лежало характерное ему чувство человеколюбия, жалость к человеческому страданию. Да, человеколюбие. Не сочтите это слишком мягким для генерала. Это черта не сентиментально, а реально мыслящего человека. Под его начальством служить было не легко, но он говорил, что через тяжелую подготовку солдата в мирное время приобретается его сохранение в бою. Он всегда мучился вопросом правильного, человечного, совестливого устроения жизни. Война для него была неизбежным путем к этой новой, лучшей жизни России, где уже не будет кошмара, который он видел и в Советской России и в Гитлеровской Германии, который однажды он выразил словами: "А с людьми-то что делают!". Продолжая поддерживать с немцами отношения, он облегчал участь тех миллионов, полуголодных пленных и "остовцев", от которых отрекся Сталин во время войны,[14] но головы которых потребовал по ее окончании. За этот свой родной народ, если даже и не за будущее своего народа, то хотя бы за ту его часть, которая томилась и умирала у немцев, Власов отдавал свою собственную судьбу.[15]

Необходимость поддерживать отношения с немцами

14. "Надо признать, правительство Сталина сделало все, чтобы не допустить улучшения участи советских граждан, попавших в руки немцев. Оно не только упорно отказывалось присоединиться к женевскому международному соглашению о военнопленных... Больше того: иностранным организациям помощи, которых тогда много возникло в демократических странах Запада, оно настойчиво рекомендовало не тратить на помощь советским военнопленным ни копейки из собранных денег... Они были обречены на вымирание". Б. И. Николаевский. "Пораженческое движение и ген. Власов". *Новый Журнал* № 19, 1948, Н.Й., стр. 215.

15. "Давая свое согласие на участие в "Русском Комитете"... группа Власова... в качестве обязательного предварительного условия поставила немедленное же облегчение участи пленных... Смертность в лагерях резко понизилась, и начиная с 1943 года лица, попавшие в плен, имели шансы остаться в живых. Раньше у них таких шансов не было". Б. И. Николаевский. "Пораженческое движение и ген. Власов". *Новый Журнал* № 19, Н. Й. 1948, стр. 215 и 216.

оставалась в силе и до самых последних дней, когда сам ген. Власов находился с I-й дивизией в Чехословакии, а другие его почти невооруженные войсковые единицы в Германии и в любой момент могли быть репрессированы немцами.

*

Все приведенное выше, как мне кажется, дает достаточный материал к пониманию внутреннего облика ген. Власова. Нам остается только обрисовать теперь степень его церковности, его непосредственной веры во Христа.

Ниже мы приводим весь известный нам материал, который проливает свет на эту сторону облика ген. Власова.

Новосильцев вспоминает ряд любопытных подробностей: рассказы Андрея Андреевича о том, как в семинарии он пел в церковном хоре, как он помнит наизусть некоторые молитвы; однажды он, как заправский дьякон, прочел великую ектинью. Как-то он сказал Новосильцеву: "А знаешь, ведь сегодня суббота и сейчас в церкви наверное всенощная. Можно ли, не заходя в церковь, где-либо около церкви послушать, как идет служба?" Я рассказал ему, где это можно сделать. "Ну, пойдем!", сказал Власов. Хорошо помню этот вечер и как мы вдвоем долго стояли под окнами церкви на Находштрассе и слушали всеношную. Потом Андрей Андреевич очень хвалил хор и сказал: "а знаешь, я мог бы с ними петь." [16].

"А. А. Власов был очень религиозен... он все делал, чтобы увеличить влияние церкви в Русском Освободительном Движении. Благодаря его личной инициативе и по его приказам, православное духовенство имело широкий доступ ко всем русским частям".[17]

Ротмистр Деллингсхаузен, который сопровождал ген. Власова во время его поездки на Северный фронт, рассказывает, какое впечатление на русских и на немцев производили проявления ген. Власовым своей религиозности, которой он не бравировал и о которой можно сказать, что она у него "прорывалась".

16. Воспоминания И. Новосильцева. Магнитофонная запись хранится у автора.

17. Полков. В. В. Поздняков, стр. 178.

В мае месяце 1943 года ген. Власов посетил древний Псково-Печерский монастырь. Старик-настоятель, узнав, что перед ним ген. Власов, земно ему поклонился и благословил его на святое дело. "Это сочувствие настоятеля монастыря произвело на Власова сильное впечатление".[18]

Будучи в Вене, ген. Власов посетил собор св. Стефана и видел там людей, погруженных в молитву перед иконой Богоматери.

"Я хотел бы снова уметь молиться так, как эти люди, — сказал Власов, выйдя из собора. — Я потерял свою детскую веру, но я чувствую, что есть выше нас Сила и что человек теряет свое духовное "я", если отрывается от нее. И чем больше я думаю об этом, тем яснее мне видится, что этот отрыв от Высшей Силы, от Бога, и есть корень всех зол, которыми больны сегодня и отдельные люди и народы. У них нет больше ничего, что держало бы их на правильном пути. Только я не могу больше вернуться к простой детской вере и верить в то, что Сила над нами есть наш личный Бог, наш Бог-Отец. Может быть, два хороших русских священника, с которыми я говорил недавно в Берлине, и правы. Они сказали, что без любви к Богу-Отцу вера в Бога или Высшую Силу бесплодна... Часто я наблюдал у нас в селе, как душевная сила русских женщин светила через нужду и затмевала безбожие вокруг них. Да, смочь бы вот так молиться как те женщины".[19]

При своем последнем свидании с кап. В. Штрик-Штрикфельдом ген. Власов сказал: "Я знаю свой долг и не спрячусь от ответственности. Прошу у Бога силы выдержать все до конца..."[20].

Я далек от желания приукрашивать облик ген. Власова или кого-либо из его окружения. Если нельзя многим из них приписывать глубокую церковность, то нельзя и отрицать, что в большинстве случаев это были люди благожелательно относящиеся к Церкви.

Вот факты, которые говорят сами за себя: не Церковь просит

18. Полков. В. В. Поздняков, стр. 179.
19. В. Штрик-Штрикфельд, стр. 144.
20. В. Штрик-Штрикфельд, стр. 382.

или добивается, чтобы был поставлен вопрос о духовном обслуживании частей РОА, но просьба эта исходит от военного командования. То, что об этом, в суматохе того времени не забыли, то, что сама эта мысль не встретила протеста, говорит о многом. Представитель Церкви, говоривший на оглашении Манифеста в Берлине 18 ноября 1944 года, был там не по просьбе Церкви, а по приглашению КОНР-а.

Ген. Власов вывез из Карлсбада престарелого митрополита Анастасия в своем штабном автомобиле, чтобы митрополиту не ехать в тяжелых условиях эвакуации по железной дороге. Все это не мелочи. Это важные показатели, особенно в условиях тех тяжелых лет.

В заключение ряда этих свидетельств мы приведем описание приема митрополита Анастасия, первоиерарха Русской Церкви за Рубежом, ген. Власовым.

Для полноты представления о внутреннем мире ген. Власова нужно рассказать о почти никому не известных встречах и многочасовых беседах ген. Власова с немецким философом проф. Эйбелем, поборником идеи морального возрождения человечества.[21]

Встречи с философом для ген. Власова не могли иметь никакого практического значения и интереса с точки зрения извлечения из них пользы для его дела. Власов был движим совсем иным. Интерес к этим собеседованиям освещает нам его внутренний мир с совершенно другой, дотоле мало известной, стороны.

Живая заинтересованность проблемами морального порядка уверяет нас в том, что в его лице мы имеем дело не только с генералом, политиком или организатором большого масштаба. Он не относится к отвлеченным вопросам упрощенно и поверхностно. Внутренний мир ген. Власова отнюдь не примитивен. Эти встречи, из коих каждая продолжалась по 2 — 3 часа, интересовали его потому, что моральное возрождение на основе христианских принципов, как устроение справедливой человеческой жизни, всегда было ему очень близко.

---

21. С. Б. Фрёлих. Воспоминания. Магнитофонная запись хранится у автора.

Он начал думать над этим уже в юности, думал об этом живя в Китае, думал об этом и теперь. Я упомянул о Китае, потому что именно этот "китайский" период его жизни сыграл немаловажную роль в духовном развитии Власова.

"Позднее, будучи военным советником при штабе Чан-Кай-Ши (1938-1939), молодой полковник (Власов) познакомился с древней китайской культурой, занялся изучением китайской философии и накопил богатый политический опыт, внимательно наблюдая развитие китайско-японского конфликта."[22]

Он пережил разочарование в коммунизме, обманувшем надежды его родного народа, позднее он увидел, к чему привел немецкий национал-социализм Германию. Где же выход, где же правильный путь? Эти вопросы всегда были с Власовым, он всегда искал их разрешения.

С. Б. Фрёлиха, переводившего беседы ген. Власова с философом Эйбелем, поразило то, что ген. Власов говорил с Эйбелем "как равный с равным". Он был не только генералом, но и "философски мыслящим человеком".

*

Полюбив и высоко оценив дело Власова, я всемерно в нем участвовал. Кроме моей работы в качестве военного священника, я еще был назначен вице-председателем создаваемой организации "Народная помощь".

Признаться, не помню, кому принадлежала идея создания такой организации, но идея была очень хорошей и крайне нужной. Не только потому, что необходимо было взять в свои руки заботу о нашем тыле и в первую очередь о семьях военнослужащих РОА. Сама принципиальная установка этой организации была глубоко правильной — помощь не откуда-то сверху, не "казенное" дело, а дело общее — *народная* помощь.

Это не были только слова, удачное название, данное организации. Если вы проследите №№ газеты "Воля Народа" за конец 1944 и начало 1945 года, то удивитесь множеству пожертвований от всех категорий русских невольников в Германии, присылавшихся на поддержание работы "Народная Помощь".

22. В. Штрик-Штрикфельд, стр. 109.

Председателем новой организации был назначен член КОНР-а, Г. А. Алексеев. Официальным ее открытием была многолюдная рождественская елка для детей, перед началом которой я с протодьяконом В. Мельниковым служил молебен. Священник Г. Бенигсен говорил о значении праздника, а Г. А. Алексеев о "Народной помощи". Присутствовали генералы Власов, Трухин и многие другие члены КОНР-а.

Наши планы были большие, немецкие обещания — еще больше, но все не достигло своей реализации, происходя за недели до выхода Красной армии на линию Одера с непосредственной угрозой Берлину.

Вскоре начался хаос конца.

Мое отношение к ген. Власову было известно среди берлинской русской эмиграции и ко мне не раз обращались с вопросом и даже с укором, как могу я, священник, идти вместе с бывшим коммунистом и, наверное, безбожником. Чтобы иметь возможность в моих ответах основываться не только на моих домыслах и впечатлениях, я решил поехать к ген. Власову и услышать непосредственно от него самого ответ о его христианской вере.

Вот, я у него.

— Андрей Андреевич, я приехал, чтобы спросить вас прямо — верующий ли вы человек? Чем-то меня угощавший радушный хозяин, чуть растягивая слова, басит:

— Да как же можно без веры, отец Александр? Без веры ни одно дело не спорится.

— Я не о вере в дело спрашиваю, а о вере в Бога, Господа Иисуса Христа, спрашиваю.

Власов ставит на стол коробку с галетами и на мгновение останавливает свой серьёзный взгляд на моем лице. Я жду с замиранием сердца. Отчеканивая слова, Андрей Андреевич говорит:

— Да. Я верую в Господа Иисуса Христа, отец Александр.

Мгновение и он и я молчим. Но вот опять тот же, чуть растягивающий слова, голос:

— Да что же вы, право, ничего не берете! Может чайку

выпьем? Подождите, у меня есть, чем вас угостить! — Он идет к граммофону и ставит пластинку пасхальных песнопений.

Этот разговор с покойным Андреем Андреевичем остался в моей памяти светлым и радостным на всю мою жизнь.

Но каждое человеческое слово, в конечном итоге, проверяется только делом.

Такой проверкою слов ген. Власова были, вскоре наступившие, страстные дни для него и для всего Движения. Адъютант ген. Власова, капитан Антонов пишет: —

"... Когда его машина остановилась у американской заставы, Власов тяжело опустил свою руку на колено сидящего рядом с ним Антонова. — Ну, друг, перед нами еще сто шагов до конца, — сказал он глухо. — Моя жизнь больше для меня ничего не значит, но, как ты думаешь, стоит ли она хоть немного, если я ее "им" предложу: моя жизнь в обмен за всех вас, которые в меня верили? Антонов растерянно молчал.

В это время к ним уже подошли американские часовые...

Перед американским генералом стоял настоящий Власов. Его голос, этот глубокий бас, еще раз звучал так убедительно, с такой уверенностью в своей правоте, как в лучшие дни.

Возможно, что, несмотря на переводчика, американец только наполовину понимал то, что говорил ему ген. Власов. Но подсознательно он поддался внутренней силе этого человека. Считал ли он Власова и его единомышленников предателями, или нет, но он понял, вернее почувствовал, что перед ним стоит необыкновенный человек... американец проникся глубоким уважением, когда этот странный русский великан вдруг сказал, что он безоговорочно отдает себя в распоряжение американских властей для выдачи Советам, если этим будет открыта дорога для спасения его, Власова, солдат. В этих словах не было патетики. В них звучала серьёзная, продуманная готовность. Только тогда Антонов, стоящий рядом, осознал смысл тех слов, которые ему Власов сказал, приближаясь к американской демаркационной линии...

Когда Власов на следующий день вошел в приемную генерала, он на едва заметный момент задержал шаг. — Рядом с американцем стоял советский офицер.. На минуту воцарилась

тишина. Власов взглядом искал глаз американского генерала... но американец опустил веки и застыл как молчаливое изваяние. Власов круто, по-военному повернулся и вышел из помещения...

В передней дома их уже ожидал американский капитан... Капитан был очень молод, он пошел навстречу Власову и тоном, в котором звучали нотки детского превосходства и полного непонимания, сказал: — Велл, господин генерал, теперь для вас все кончено! К сожалению вы напрасно меняли ваших хозяев и взобрались на ошибочную лошадь!

Власов посмотрел на капитана взглядом, в котором не было ни удивления, ни обиды, ни презрения. В нем светилась тихая доброта человека, понимающего непонимание другого.

— Капитан! — сказал Власов. Его голос, казалось, долетал издалека, усталый, доброжелательный и мягкий. — Всю мою жизнь я служил только одному господину... На лице американца отразилось удивление: — И это был? спросил он с мальчишеским задором.

Еще глуше прозвучал голос Власова. — Русский народ, мой мальчик."[23]

*

Еще не прошло полных пяти месяцев с того вечера, как Андрей Андреевич, с некоторыми из своих близких друзей, встречал у ген. Ф. И. Трухина новый, наступающий 1945 год — последний год войны и предпоследний год жизни большинства присутствующих. Поднимая бокал Андрей Андреевич сказал приблизительно следующее:

На границе Рейха стоит Советская Армия... даже наше физическое поражение не есть уничтожение духовное... мы делаем историческое дело, мы семена будущего освобождения России...[24]

Таков был духовный облик русского национального героя, патриота и православного христианина генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова.

прот. А. Киселев

---

23. "Очерки к истории Освободительного Движения Народов России", стр. 119-120.

24. Сообщил начальник канцелярии ген. Ф. И. Трухина, майор С. А. Шейко.

НОВОЕ О ТРЕСТЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Печатаемые ниже документы извлечены мною из сохранившегося частично парижского архива моего отца, в который входит, между прочим, довольно много писем Василия Витальевича Шульгина (1878-1976), а также некоторые статьи, которые он писал для редактировавшихся моим отцом газет — ежедневного "Возрождения" (1925-1927) и еженедельной "России" (1927-1928).

Выдержки из некоторых писем Шульгина к моему отцу и одного письма к моей матери, имевших отношение к его поездке в Советскую Россию в конце 1925 и начале 1926 года — якобы тайной, но, как оказалось, организованной т. н. Трестом — были напечатаны мною в серии статей под заглавием "Дела давно минувших дней: о Тресте и В.В. Шульгине" в парижской "Русской Мысли" от 15-го, 17-го и 20-го декабря 1960 года, но печатаемые ныне документы оставались до сих пор неопубликованными.

Что касается статей "Опперпут" и "Сидней Рейли", то вот что написал о них сам Шульгин в "Послесловии" к своей книге "Три столицы", напечатанном в газете "Россия" 15-го октября 1927 года:

"Книга "Три столицы" вышла в январе этого года, а уже к концу апреля до меня дошли первые слухи о том, что в той организации, которую я обозначал под условным названием "контрабандисты", что-то неблагополучно. К концу мая удалось выяснить. что именно произошло. 14-го июня я написал две

статьи под заглавиями "Опперпут" и "Сидней Рейли", которые предназначались для "Возрождения". В этих статьях я излагал те сведения, которые мне были сообщены. Однако, я не мог напечатать этих статей без разрешения того лица, которое мне эти сведения сообщило, ибо последние мне были сообщены доверительно. Такого разрешения мне получить не удалось. Опасались, что эти разоблачения могут повредить интересам серьезного дела. Я считал эту точку зрения ошибочной, ибо был убежден, что секрет не удержится. Кроме того, я чувствовал известный моральный долг перед читателями моей книги "Три столицы". Я осветил им "контрабандистов" с той точки зрения, как они мне представлялись, т.е. лицевой, благоприятной. Было бы справедливо, чтобы читателями узнали и обратную сторону медали, поскольку эта теневая сторона для меня самого обозначилась.

Как бы там ни было, мне не удалось напечатать моих статей. Однако, как я предвидел, тайна вышла наружу. Ее разоблачил Владимир Бурцев — можно сказать, ветеран политических разоблачений. Статья Бурцева снимает с меня обет молчания, и я полагаю полезным сообщить все то, что я знаю о "контрабандистах" с другой точки зрения, чем та, которая мной владела, когда я писал свою книгу".

В своем "Послесловии" Шульгин повторил много из того, что он написал в двух своих статьях, но статьи эти остались неопубликованными, а "Послесловие" сегодняшнему читателю совершенно неизвестно.

Третий, печатаемый нами документ, представляет собой, повидимому, те части "Послесловия", которые мой отец, редактор "России", счел за лучшее в то время исключить и которые, оставшись ненапечатанными, сохранились в редакционном архиве.

Г. Струве

1. Опперпут

Сначала на его разоблачения обратили мало внимания: предыдущие перебежчики "посадили" последующих. Думалось: Опперпут "бадьянит". Но через некоторое время Опперпут вырос

в нечто серьезное, а для меня лично -- даже не знаю как это выразить -- в нечто "мурашечное". Дело в том, что мне теперь стало ясно: Опперпут был в среде "контрабандистов". В моей книжке "Три столицы" он не выведен, оставлен в тени, но, тем не менее, это тот человек, с которым я однажды "дружественно" обедал в обществе других, будучи в России. И этот человек, по его теперешним заявлениям, служил тогда в Г.П.У.!

Если это правда, то Гепеу, значит, знало о том, что я странствую по России. Опперпут утверждает теперь, что знало всё. Почему же меня не схватили? Опперпут утверждает, что план был таков: если Шульгин благополучно вернется в эмиграцию, то самые скептики поверят, что те, кому он доверился, действительно вполне надежные люди. Тогда можно будет залучить в Россию кого-нибудь, кто для Гепеу поважнее. А кроме того (это я уже добавляю от себя) хотели, очевидно, через меня "заинтересовать" генерала Врангеля. Действительно, вернувшись в эмиграцию, я был в совершенном восторге от моих "контрабандистов" и одновременно был крайне огорчен тем, что П.Н. Врангель моими чувствами не воспламенился и "контрабандистами" "заинтересоваться" не захотел.

Таким образом выходит, что я попал в чудовищный просак, из которого если вышел живым, то только благодаря тому, что совершенно не ощущал "запаха предательства". Если бы я "засомневался" на минуту, то меня бы, вероятно, не выпустили. "Святая простота" спасла меня. Сознание не весьма приятное для моего самолюбия, но не в этом дело. Дело сейчас в том, чтобы понять: остальные "контрабандисты", что же они — жертвы или предатели? По словам Опперпута, они такие же, как он сам. Его же история -- опять по его же словам -- такова.

Он еще в 1921 году был арестован и сидел в камерах "смертников". К нему применили весь набор "пытки страхом", которой с таким совершенством орудует Гепеу. Он не выдержал этих ужасов и, по его словам, вообще еще не было человека, который смог бы это вынести. Опперпута сломили, и он согласился работать для Гепеу. Ему поручили совместно с другими, прошедшими такую же "подготовку", создать то, что называется в Гепеу "легендой". Другими словами, им приказали представиться "монархистами" и под таким флагом внедриться в

эмигрантские круги. При этом дана была большая свобода действий, дозволялось пропагандировать какие-угодно идеи, но требовалось одно: не допускать террористических актов. По словам Опперпута, некоторые из вовлеченных в легенду людей откровенно заявляли Гепеу, что их взгляды совершенно не коммунистические, что в социализм они не верят, что социализм рухнет, но Гепеу этим совершенно не стеснялось — наоборот, это его даже устраивало. Действительно, только люди по существу, по натуре своей близкие к тем, кого они должны были предавать, могли свободно проникать в родственные по духу круги. При помощи этих, "сохранивших свою психологию" людей Гепеу держало, так сказать, "на цепочке" активную часть эмиграции, зная о ее планах и имея во всякую минуту возможность таковые остановить, если бы они развернулись в нечто угрожающее. Опасным же для себя Гепеу почитает, главным образом, террор.

В последнее время, то-есть второй половине 1926 года, Опперпут получил от Гепеу приказание "заняться" террористическими актами. Сделано это было для того, чтобы вернее взять в свои руки террористические течения, если бы таковые народились. Опперпут приказание исполнил и что-то мастерил. Что он приготовлял и чем бы все это закончилось, судить трудно. История показывает нам, что этого рода провокационные предприятия иногда кончались совершенно не тем, на что рассчитывали. Департамент полиции, в котором служил Азеф, конечно, не имел в виду убийства Великого Князя и министра внутренних дел Плеве. Полковник Кулябко, взявший на службу Богрова, не думал, что он завербовал будущего убийцу Столыпина. Чем бы кончил Опперпут, оставаясь на службе Гепеу, никто, да и он сам, конечно, знать не может, но его судьбу решило обнаруженное им к себе со стороны Гепеу недоверие. По его словам, он почувствовал, что его не сегодня-завтра арестуют. Арест же при таких обстоятельствах он рассматривал, как смерть. Он решил бежать из России, что и выполнил 10-го апреля этого года. Убежав, он, по его словам, решил стать целиком на Белую сторону и разоблачить все, что ему известно о деятельности Гепеу.

*

Таковы, вкратце, заявления Опперпута. Насколько можно ему верить? Позволительно сделать несколько предположений:

1. Опперпут все просто врет: никогда он в Гепеу не был. Предположение это маловероятно, ибо какой смысл человеку бесцельно возводить на себя такое обвинение?

2. Опперпут не только был в Гепеу, но и пребывает в его лоне и сейчас. Предположение тоже мало допустимое, ибо, если бы Опперпут сейчас действовал по указаниям Гепеу, то какой смысл был бы ему разоблачать "легенду", которая, повидимому, очень хорошо исполняла свое назначение — обманывать эмиграцию?

3. Опперпут был и есть в Гепеу, но "легенды", о которой он рассказывает, никакой не было. Была, наоборот, честная организация "контрабандистов", такая, как я ее описал в своей книжке. Предположение возможное, но не меняет сути дела. Как бы не были персонально честны и безупречны те или иные "контрабандисты", но вся организация не могла быть тем, чем она мне представлялась, раз в ней сидел Опперпут, а что он в ней принимал деятельное участие, в этом не может быть сомнения, ибо я его видел в среде "контрабандистов" в качестве одного из руководителей. Если даже предположить, что из среды "контрабандистов" в Гепеу служил один только Опперпут, то этого было достаточно, чтобы Гепеу сей организацией руководило сообразно своим планам. Конечно, геписты — только люди, хотя и ловкие, и "легенда" могла бы при известных обстоятельствах их сбросить, как сбрасывает коварный конь зазевавшегося всадника, но это вопрос другого порядка. Во всяком случае, пока что этого не случилось.

4. Опперпут был и продолжает быть в Гепеу. "Контрабандисты", наоборот, были и есть честные, настоящие, но, скажем, в апреле сего года Гепеу приказало Опперпуту: симулировать побег заграницу; там объявить, что он служил в Гепеу с 1921-го года, равно как и другие "контрабандисты", и таким образом скомпрометировать тех, кто с ними, "контрабандистами" имел дело. Скомпрометировать хотя бы с точки зрения "проницательности", если не больше.

План коварный — что и говорить — но все же поверить в это предположение трудно, ибо, "разоблачая" "контрабанди-

стов", Гепеу собственными руками закрывает те капканы, в которые оно имело возможность ловить нашего брата. Только очень серьезные причины могли его к такому рискованному шагу побудить.

*

Разобрав, насколько хватает моего слабого "разумения", все возможности, я прихожу к заключению: Опперпут давно служит в Гепеу; по приказанию Гепеу он находился в числе руководителей "контрабандистов"; следовательно, "контрабандисты" в какой-то степени были орудием Гепеу; Гепеу знало о моем путешествии; Гепеу выпустило меня обратно из России по каким-то коварным, но пока недостаточно ясным соображениям.

Я считал своим моральным долгом печатно изложить вышеприведенное, потому что читатели моей книги "Три столицы" в отношении "контрабандистов", в какой-то мере, введены мною в заблуждение, а в какой-именно мере, мне самому неясно: при создавшейся обстановке, кто из них является жертвой, кто героем, а кто предателем, я по совести еще судить не могу.

В. Шульгин

2. Сидней Рейли

Когда осенью 1925 года я готовился перейти русскую границу, для чего вошел в связь и "дружество" с теми, кого я впоследствии обозначал именем "контрабандистов", последние предупредили меня, что, хотя они ручаются за безопасность перехода, но... но бывают несчастия. Так, недавно, произошла трагическая история с одним англичанином, которого переводили те же "контрабандисты". Они наткнулись на пограничную стражу, которая залпами из засады убила англичанина и сопровождавших его лиц в числе пяти человек.

Я, подумавши, ответил, что в "контрабандистском" деле, как и во всяком ином, бывают "издержки ремесла" и что я, даст Бог, буду счастливее бедного англичанина. Действительно, меня перевели благополучно. В России мне подтвердили гибель

англичанина и его спутников, но пояснили, что их убила не пограничная стража, а специальный отряд Гепеу, прибывший на финляндскую границу из Петербурга. Произошло, мол, какое-то частичное предательство, Гепеу узнало о готовящемся переходе англичанина, устроило засаду и убило всех на месте.

Я от души пожалел англичанина и погибших с ним, а, впрочем, и оставшихся в живых "контрабандистов", так как, видимо, это происшествие их чрезвычайно расстроило. Тогда же я узнал имя погибшего англичанина: Сидней Рейли. И в таком виде, как мне ее рассказывали, эта грустная история и осталась у меня в памяти.

*

На этих днях я прочел, что в официальном сообщении от 9-го июня по поводу убийства Войкова советское правительство рассказало историю Рейли в следующих словах:

"Летом 1925 года какой-то коммерсант с советским паспортом на имя Штейнберга был арестован и ранен пограничной стражей в момент, когда он пытался перейти финляндскую границу. На допросе арестованный сознался, что его настоящее имя Сидней Джордж Рейли; что он — агент английской контр-разведки, капитан королевской авиации. Он был одним из главных организаторов заговора Локкарта и был объявлен вне закона 3 декабря 1918 года. Рейли заявил, что он прибыл в СССР с специальной целью организовывать террористические акты, поджоги, бунты. Все инструкции он получил лично от Черчилля. Его письменное показание находится в руках правительства. Документы, обнаруженные во время последующих арестов, полностью подтверждают показания Рейли".

Так рассказывает дело советское правительство, но, мне кажется, и англичанам и русским важно узнать и совершенно другой вариант этого происшествия, а также и конец Рейли, о котором советское правительство умалчивает. Этот другой вариант изложен Опперпутом, который бежал из России 10-го апреля настоящего года. До сего числа он, Опперпут, по его словам, служил в Гепеу, причем начиная с 1921 года.

Опперпут утверждает, что антисоветская организация, услугами которой воспользовался несчастный Рейли — та самая

организация, которая и меня перевела через границу, словом те, кого я в своей книжке называю "контрабандистами", на самом деле была "легендой", то-есть симулированной организацией. Ее цель и незначение было вести разведку среди русской эмиграции, а также внутри иностранных штабов. Один из "контрабандистов" по приказанию Гепеу заманил Рейли в Россию, но этому "контрабандисту", по словам Опперпута, было со стороны Гепеу формально обещано, что самого Рейли не тронут и что он будет целым и невредимым переправлен обратно через русскую границу. Судя по тому, что со мною поступили именно так, то есть, по каким-то расчетам, меня не схватили и дали мне уйти, такое обещание не представляется невероятным: очевидно у Гепеу могли быть те же приблизительно расчеты, то-есть, что благополучно вернувшийся Рейли внушит англичанам полное доверие к его организации. В этом случае тайные английские проникновения в советскую Россию, если такие будут иметь место, потекли бы по "контрабандистскому" каналу и советская власть могла бы держать их под своим контролем. Как бы там ни было, но первое время этот именно план проводился в исполнение. Рейли, по словам Опперпута, вовсе не был убит при переходе через границу, каковая версия была пущена первоначально, и не был "ранен пограничной стражей в то время, как собирался перейти финляндскую границу", как ныне сообщает советское правительство. Рейли был благополучно переведен через границу, благополучно прибыл вглубь России и проживал на даче под Москвой, но через некоторое время планы Гепеу изменились. Опперпут понял, что Рейли решили арестовать. Тогда "контрабандисты", по словам Опперпута, оказали возможное в их положении моральное сопротивление. Тот, кому специально была обещана жизнь и неприкосновенность Рейли, даже грозил покончить с собой, если Рейли тронут. Но "контрабандистам" удалось только оттянуть на несколько часов арест Рейли, потребовав от Гепеу подтверждения приказания об аресте. Гепеу не только подтвердило, а ответило, что арест совершается по приказанию Политбюро и что "сам Сталин" через каждые полчаса запрашивает сведения по этому делу. Рейли был арестован и отвезен в Гепеу. На вопрос, зачем он прибыл в Россию, он ответил, что хотел лично убедиться в

провале социализма, чтобы затем, вернувшись на родину, написать книгу под заглавием "Великий блефф". Первое время, по словам Опперпута, Рейли держался в Гепеу очень твердо, заявив: "Среди английских офицеров не бывает предателей". Тогда его стали водить присутствовать при расстрелах, что является, по словам Опперпута, одним из приемов тех нравственных пыток, которые ломают в Гепеу волю жертв. После этих ужасных зрелищ Рейли будто-бы согласился дать какие-то показания. Один из гепистов говорил по этому случаю Опперпуту: иностранцы не могут выдерживать этих картин -- просьб о пощаде убиваемых с матерщиной палачей; это на них так действует, что они готовы после этого на все, лишь бы вырваться на свободу и там "разоблачить", что мы тут делаем. Они забывают, что разоблачать не придется.

Действительно — не пришлось. По словам Опперпута, советское правительство стало опасаться, что Англия, узнав о том, что Рейли жив, потребует его выдачи. Поэтому решено было с ним покончить. В виде "особой милости" Рейли не повели на расстрел в обычном порядке, а убили, когда он меньше всего этого ожидал. Ему разрешили прогулку на Воробьевы Горы и там его застрелил "лучший стрелок Гепеу" -- товарищ Ибрагим.

Одновременно с этим была поставлена "сцена на финляндской границе". Вот вы увидите -- сказали Опперпуту -- будут убитые и раненые. Сцена удалась прекрасно, отряд гепистов ночью, изображая англичанина и его спутников, приблизился к границе, где его обстрелял другой отряд Гепеу, разумеется — "поверх голов". Падали "раненые и убитые". Последних, для верности, "засняли". В числе "убитых" на границе оказался и Рейли, конечно. Ведь вся сцена была поставлена только для того, чтобы в случае чего не нести ответственности перед Англией: Рейли, мол, тайно переходил границу, что запрещено, и был убит пограничной стражей.

Таков вариант Опперпута. Похоже на то, что он говорит правду. Советское правительство ныне утверждает, что Рейли был "ранен". Было бы гораздо проще утверждать, что он был убит, как это распространилось среди "контрабандистов" полтора года тому назад, когда я переходил границу, но ведь теперь -- другое время. Теперь, после разрыва с Англией, надо

доказывать, что последняя всегда вела тайную антисоветскую работу в России. Теперь очень удобно вспомнить Рейли и выставить его агентом "самого Черчилля". Ведь "в руках" советского правительства находятся "письменные показания" Рейли, но "убитый" Рейли не мог дать ни письменных, ни устных показаний, а потому советскому правительству необходимо, чтобы Рейли перешел границу "живым", но, на всякий случай, оно его "ранит" при переходе: раненый человек, дав все необходимые показания "насчет Черчилля" (какими приемами добываются эти "письменные показания", видно из рассказа того-же Опперпута), может, в случае надобности, и "умереть от ран". Если он это сделает, не придется сознаваться перед всем миром, что Рейли застрелил на Воробьевых Горах "лучший стрелок Гепеу" -- товарищ Ибрагим.

В. Шульгин

3.

По моей просьбе один из моих друзей (тот, который поддерживал с "Трестом" некоторые, можно сказать, частные связи) обратился к Федорову с письмом в том смысле, что я хочу пробираться в Россию искать сына и что не согласен ли "Трест" мне помочь. При этом я просил напомнить приглашение, сделанное Федоровым в 1923 году в Берлине. Тут уместно будет сказать, что у "Треста" была великолепно налажена служба связи, которая осуществлялась через агентов "Треста", проживавших в государствах, граничащих с Советской Россией. Федоров ответил согласием и это дело было решено еще в конце 1924 года. Федоров при этом предупреждал, что он сделает все возможное, но полной гарантии взять на себя не может, но кто мог бы вполне гарантировать такое дело? Мой друг, который вел переговоры, оценивал положение как 60 и 40 процентов. Сорок процентов опасности и шестьдесят за благополучный успех. Кроме того, надо сказать, что к этому времени уже несколько лиц побывало в Советской России и благополучно вернулось обратно при помощи "Треста". Они привозили с собой самые лучшие отзывы, хотя, кажется, был кто-то, кто засомневался.

Но веским противопоказанием была история, происшедшая с одним из лиц, доверившихся "Тресту" и попавших по собственной оплошности в Гепеу. Его в трамвае узнал один чекист, который его знал персонально. Он остановил трамвай и при помощи милиционера арестовал его. В Гепеу пришлось сознаться, что арестованный — эмигрант и тайно прибыл из заграницы. Положение этого человека было безнадежно, ему грозил расстрел и вот тут-то "Трест" под руководством Федорова проявил чудеса решительности, смелости, находчивости и спас эмигранта, выкрав его из его психиатрической лечебницы, куда его запрятали после экспертизы врачей, признавших его сумасшедшим. Естественно, что такой человек был готов идти за "Трест" на костер. Надо сказать, что он перенес все "удовольствия" Гепеу. Началось с того, что следователь, к которому его привели, закричал: "Ну, сознавайся, сукин сын — нам всё известно!". Это, как мне говорили, обычное — можно сказать, классическое — начало. Затем последовали ночные допросы и все виды психической пытки, которые можно себе представить. От него добивались признания, но этот человек оказался сильной психики. Он не сдавался. Глубоко верующий, он находил утешение и подкрепление в молитве. Мистические силы и пришли ему на помощь. Он слышал голоса близких ему людей, которые беседовали с ним и запрещали ему назвать номер телефона, который он знал, а, между тем, это было бы его спасение. "Трест" в это время работал во-всю. Он послал ему в хлебе скатанный шарик бумаги, где ему рекомендовалось сказать следующее: "Я знаю город, в который меня привезли после того, как перевезли через границу, но я не знаю ни улицы, ни номера дома, где живут люди, мне помогавшие. Но, если меня привезут в этот город, я найду улицу и дом". При этом ему указывался город, который он должен указать. План у "Треста" был такой. Когда его будут водить по улицам этого города, напасть и отбить. Но бедный узник съел записку с хлебом. Вторую записку он нашел, но, полагая, что это провокация, предпочел отдать ее следователю. Трудно было помочь при таких обстоятельствах. Наконец бедный человек не выдержал и (в то время он уже был заключен в одиночной камере) перерезал себе жилы оконным стеклом, но это заметили и спасли его. Этим

происшествием был крайне огорчен и возмущен тюремный надзиратель, увидев, какую он развел "грязь" в виде лужи крови. "Ну, как вам не совестно такие мне доставлять неприятности!", заявил он ему. В конце концов нервы не выдержали и "от постоянных молитв", как говорили в Гепеу, человек помешался. Это не была симуляция, но то, что казалось гепистам сумасшествием, было, на самом деле, религиозным экстазом. Как бы там ни было, назначили экспертизу. Когда комиссия вошла к арестанту, он перекрестил их всех. Тогда они признали его сумасшедшим. (Вряд ли это логично: кого же и крестить, как не чертей!), посадили в сумасшедший дом, откуда "Трест" его выкрал при помощи подложного телефонного звонка будто-бы из Гепеу с приказом выдать больного такого-то на руки людям, которые за ним сейчас явятся. Прямо из больницы его отправили заграницу и благополучно выбросили в эмиграцию.

Не для чего рассказывать, почему моя "экспедиция", несмотря на согласие Федорова, отложилась еще на год. Словом, осенью 1925 года я был готов. Несмотря на все мои усилия, секрет моей поездки не удалось сохранить вполне. Между прочим, один из моих друзей (тот самый, который берлинское свидание с Федоровым резюмировал словом "провокатор") вызвал меня на объяснение. Я помню хорошо этот день.

Я жил тогда в Сремских Карловцах, в Сербии. Мы пошли гулять в горы, с которых видны изгибы Дуная, сильно напоминающие Днепр под Киевом. Высоко стоит там большой деревянный крест, от подножия которого далеко видна долина уходящей реки: зрелище, которое со времен варягов будит в душе "авантюристические" желания. Мой собеседник говорил мне, что Федоров -- провокатор, что "Трест" -- это отделение Гепеу, что я непременно погибну, что меня ждет судьба Савинкова, то есть что меня опозорят, прежде, чем убить.

Я слушал это и, должен сказать, крайне раздражался. Решение ехать в моей душе было непоколебимо. Я взвесил всё, я согласился с моим другом, что есть шестьдесят процентов за успех, а на сорок я должен был рисковать. Да, я должен был потому, что мой сын, если бы нужно было спасти меня, бросился бы -- я в этом уверен -- даже если бы был только один процент

успеха. Поэтому, имея решение, которое нельзя было поколебать, мне казалось, что просто бесчеловечно со стороны моего друга отнимать у меня психические силы, которые были мне теперь весьма нужны, такими разговорами и, в порыве раздражения, я ответил то, чего совершенно не думал, а именно:

"Если Трест, как вы утверждаете -- во что я совершенно не верю -- отделение Гепеу, то, в таком случае, я совершенно спокоен за себя лично потому, что если Федоров и все они -- провокаторы, то им полный расчет благополучно выбросить меня обратно, ибо сам я не представляю для них особо лакомой добычи, но они будут думать, что мое благополучное возвращение создаст в их пользу доверие, которое они могут широко использовать".

Теперь, повидимому, оказывается, что я оказался прав в том, во что сам не верил. "Трест" не успел воспользоваться тем доверием, которое, действительно, вызвало мое благополучное возвращение, по обстоятельствам, о которых речь будет ниже.

*

Мое знакомство с людьми, которые работали для "Треста" по эту сторону границы, то-есть в эмиграции, произвело на меня крайне благоприятное впечатление. Молодые, живые, точные, дисциплинированные. Они отчетливо исполняли приказания, получаемые ими от "центра" и, в частности, испытывали чувство глубокого уважения к Федорову и веры в него, в его мужество, патриотизм и счастливую звезду. Им было известно скептическое отношение некоторых к "Тресту", но это вызывало только презрительную улыбку людей, которые даже не хотят спорить.

Чти правду и не оспаривай глупца -- так можно бы охарактеризовать их настроение. Вообще они относились к эмиграции, не работающей с "Трестом", с высокомерным презрением, от которого мне приходилось их удерживать: "Только ссорятся и ровно ничего не делают". Настоящую работу они видели только в "Тресте", им жили, в нем видели цель своего существования. Должен сказать, что это настроение быстро стало передаваться и мне, за исключением презрения к эмиграции, которая не виновата же была, что "Трест" еще не

вобрал ее в себя, но я готов был уже этому всемерно способствовать.

Что для них было характерно -- это вера в Россию, что она жива, что она воскресает, несмотря на большевиков. Таковы были их сведения, которые им приносили члены "Треста", потому что сами они границы пока не переходили: их служба была здесь, а "для удовольствия" путешествовать в серьезном деле не принято, но их живо интересовало, что я привезу на обратном пути, какова мне покажется Россия, заживо погребенная эмигрантскими газетами.

*

Мой переход границы, однако, несколько задержался. Тут, пожалуй, важно было бы зафиксировать некоторые даты. Задержка произошла, как мне объяснили, вот по какой причине.

Произошло несчастье. "Трест" переводил через границу одного англичанина. При этом вся группа натолкнулась на засаду пограничной заставы и была убита залпами на месте. История эта, по словам моих новых друзей, вызвала естественное замешательство в организации и мой переход был несколько отложен, пока "всё наладится". Особенно обо всем этом со мной не распространялись, что я объяснил как нежелание смущать мое мужество рассказами про то, как погиб человек при переходе, к которому я готовился, но мне сказали, что это -- первый провал с трагическим исходом, что всегда все обходится благополучно, что в данном случае проводники англичанина сами виноваты, что они обнаглели от предыдущих удач, что они слишком близко подъехали к границе в санях, когда уже надо было идти пешком, громко разговаривали и т. д. Я отнесся к этому философски, заявив, что смотрю на это несчастие, как на "издержки ремесла", что в таком деле не может не быть потерь, вообще говоря, и что я надеюсь быть счастливее бедного англичанина.

Впоследствии, уже будучи в России, я узнал от членов "Треста" имя погибшего англичанина: Сидней Рейли. Обстановку его гибели рисовали уже несколько иначе. Не неосторожность была, мол, причиной несчастия, а произошло частичное предательство, и не пограничная стража убила Рейли и

его спутников, а отряд Гепеу, прибывший на финляндскую границу из Петербурга.

Как я уже говорил, тут — как мне кажется — следует заметить некоторые даты. Я перешел границу в ночь на 23-е декабря 1925 года. Кровавый инцидент с Рейли задержал переход на три недели — ну, скажем, на месяц. Следовательно, по мнению членов "Треста", работавших по эту сторону границы (кстати, в последующем разоблачении "Треста" они оказались вне подозрений), Рейли погиб, скажим, в конце ноября. Это важно в том смысле, что так им сообщили из центра, а почему это важно, будет видно из дальнейшего.

(На этом сохранившийся в бумагах покойного П. Б. Струве и им не опубликованный текст В. В. Шульгина обрывается. Федоровым в этом тексте Шульгин назвал А. А. Якушева, пользовавшегося в "Тресте" двумя псевдонимами — Федоров и Рабинович).

ПРИМЕЧАНИЯ

История созданной чекистами "легенды" — Монархического Объединения России, называвшего себя в сношениях с эмигрантами Трестом — полностью еще не написана. Многое скрыто в недоступных поках архивах коммунистической диктатуры. Наши сведения пополняются, однако из неожиданных источников. Одним из них стала книга А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" (части 1-ая и 2-ая, стр. 640, ИМКА Пресс, Париж, 1974.)

Без связи с делом "Треста" Солженицын написал: "Совесть Ворошилова умерла задолго до него самого. Он и своего ближайшего адъютанта Лангового не имел смелости оградить от ареста и пыток". Между тем, этот красный командир был с "Трестом" тесно связан. В моих воспоминаниях об этой советской провокации ("Трест", стр. 29, издательство "Заря", Канада, 1974.) о нем сказано:

"В Варшаве появился перешедший границу в "окно" Александр Алексеевич Ланговой, называвший себя евразийцем... Молодой, долговязый, вертлявый человек с впалой грудью, сын московского врача, близкого до революции к

Максиму Горькому и к другим революционным писателям, не понравился мне обостренным вниманием к связи эмигрантов с Россией и не вязавшимися с "бытовым исповедничеством" эпикурейскими замашками".

Как участник "Треста" он упомянут и в "романе-хронике" Льва Никулина "Мертвая зыбь" (журнал "Москва", № 7, стр. 48-49, 1965.) В нем сообщено, что руководивший Трестом чекист Артузов нуждался в "новых людях, преданных советской власти, которых следовало ввести в белоэмигрантские круги" и что одним из них был Ланговой, который "добровольно вступил в красную армию, участвовал в гражданской войне и был награжден орденом Красного Знамени". Он — по словам Никулина — "получил задание отправиться через окно в Варшаву и договориться об организации еще одного близ Вильны". Он же позже встречал на польско-советской границе "не одного представителя белой эмиграции, в том числе и переправлявшегося через границу Шульгина".

Автор "Мертвой зыби" утверждает, что с 19-го до 31-го января 1925 года Ланговой участвовал в Берлине, на квартире А. И. Гучкова, в евразийском съезде, на котором, по его собственным словам, "врал немилосердно", благо "несусветная чушь здесь сошла за глубочайшую истину".

О судьбе Лангового Никулин коротко написал, что он "скончался в Москве 26-го февраля 1964 года" и "почти до последних дней оказывал автору товарищескую помощь в создании этой книги". Осенью 1963 года в разговоре с ее автором, Ланговой сказал: "Если увидите Василия Витальевича Шульгина, передайте ему привет от старшего контрабандиста. Это был я".

На фотографии, включенной в "Мертвую зыбь", Ланговой изображен молодым командиром красной армии, с орденом Красного Знамени на груди. В одном случае он назван отставным полковником, в другом — отставным комбригом, из чего можно вывести заключение, что его военная служба прервалась до переименования комбригов в генералы. Ныне — благодаря Солженицыну — известно, что этот чекист и провокатор испытал не только арест, но и пытки.

*

Сохранившиеся в бумагах покойного П. Б. Струве заметки В.В. Шульгина о "Тресте" и Опперпуте отчасти дополняют то, что было до сих пор известно, но они же содержат мнения и предположения, опровергнутые более поздней информацией. Они, кроме того, показывают, что их автор, признав "Трест" орудием О. Г. П. У., колебался в определении своего отношения к М. О. Р. и, в нескольких случаях, приписал ему действия, не совместимые с зависимостью от Артузова и других чекистов. Это проскальзывает в статье, озаглавленной "Опперпут", и ярко выражено в той части "Послесловия" к "Трем столицам", которую П. Б. Струве не напечатал. Некоторые утверждения Опперпута, сделанные в апреле 1927 года, после его "бегства" из Москвы в Гельсингфорс, были, очевидно, приняты Шульгиным на веру.

Можно предположить, что Шульгину тогда еще не было известно опубликованное московскими газетами 5-го июля того же года сообщение коллегии О. Г. П. У. о возвращении Опперпута из Финляндии в Россию и о его смерти.

Некоторые русские зарубежные и иностранные "историки" до сих пор верят этому сообщению настолько, что сомневаются в достоверности включенного в мои воспоминания о "Тресте" рассказа генерала В. В. Бискупского о том, что в годы второй мировой войны, в оккупированном германскими войсками Киеве, немцы опознали Опперпута в арестованном и расстрелянном ими организаторе коммунистического подполья Александре Коваленко. Между тем, лживость сообщения О. Г. П. У. изобличается изданной в Москве, в 1928 году народным комиссариатом по иностранным делам брошюрой Н. Кичкасова "Белогвардейский террор против СССР". Сопоставление этих двух документов доказывает убедительно, что Опперпут не был убит при обстоятельствах, описанных в сообщении О. Г. П. У.

*

В этом сообщении, подписанном Менжинским, было сказано:

"В ночь на 3 июня с. г. имело место... предупрежденная

сотрудниками О. Г. П. У. попытка взорвать жилой дом № 3/6 по М. Лубянке... Установлено, что злоумышленниками, совершившими попытку взрыва, являются трое террористов: Захарченко-Шульц, Опперпут и Вознесенский... После неудачи покушения ...террористы направлялись в Смоленскую губернию, где в 10 верстах от Смоленска Опперпут был застигнут крестьянской облавой... При задержании Опперпут оказал вооруженное сопротивление и был убит в перестрелке. Захарченко-Шульц со своим спутником Вознесенским 23 июня наткнулись на красноармейскую засаду в районе Дретуни... Оба были убиты".

Не так -- год спустя -- изобразил судьбу кутеповцев Захарченко-Шульц и Петерса (подлинная фамилия Вознесенского) народный комиссариат по иностранным делам в брошюре Кичкасова. Рассказав в ней об удачном нападении на коммунистической клуб в Петрограде, совершенном 7-го июня 1927 года кутеповцами Ларионовым, Соловьевым и Мономаховым, народный комиссариат сообщил:

"Вторая группа -- Захарченко-Шульц и Петерс -- оказалась менее удачной. Хотя ей удалось подложить в дом № 3/6 по Малой Лубянке... мелинитовую бомбу, ... последняя в ночь на 3 июня была обнаружена... Оба в результате организованного преследования были убиты...

16 июня... по дороге Ельшино-Смоленск через Яновский спирто-водочный завод... проходил неизвестный, который... на предупреждение, что проход через завод запрещен, выхватил браунинг и ранил милиционера... Была организована погоня... Неизвестный был застигнут в 10 верстах от Смоленска... и в перестрелке убит... Убитый оказался Петерсом -- он же Вознесенский -- одним из террористов московской группы.

18 июня автомобиль штаба Белорусского военного округа, ... возвращавшийся из Витебска в Смоленск,... был остановлен... вооруженной женщиной, предложившей шоферам повернуть машину обратно на Витебск. Последние отказались, в результате чего тов. Гребенюк был убит, а Голенков ранен... Следы преступницы были обнаружены в районе станции Дретунь... Между подоспевшими красноармейцами и неизвестной завязалась перестрелка, в которой последняя была убита. Убитая

оказалась М. В. Захарченко-Шульц, другим членом московской группы".

Таким образом народный комиссариат по иностранным делам отвергнул версию О. Г. П. У. об одновременной смерти Захарченко-Шульц и Петерса в районе Дретуни, но сообщил, что Петерс был убит в 10 верстах от Смоленска, то есть там, где, по сообщению О. Г. П. У., прервалась жизнь Опперпута. Обращает на себя внимание и различие дат, сообщенных О. Г. П. У. и комиссариатом.

Об Опперпуте и его смерти в брошюре Кичкасова нет ни слова, хотя — казалось бы — именно он был возглавителем проникших в Россию из Финляндии террористов.

*

В статье Шульгина об Опперпуте упомянут не известный до сих пор литературе о "Тресте" факт их встречи за обедом, но не сказано, когда и как автор статьи узнал, что одним из его московских собеседников был Опперпут. В виде гипотезы можно предположить, что Опперпут назвал себя тогда Стауницем, то есть тем псевдонимом, который проникавшие в Москву кутеповцы считали его подлинной фамилией.

Мнение Шульгина, что его благополучному возвращению из России способствовало желание Треста установить связь с генералом Врангелем, кажется мне обоснованным, но — как мы теперь знаем — этот расчет О. Г. П. У. не оправдался.

Шульгин верно заметил, что весной 1927 года О. Г. П. У. "собственными руками закрыло те капканы, в которые оно имело возможность ловить нашего брата". Прав он был и в предположении, что "только очень серьезные причины могли его к такому рискованному шагу побудить".

Эти причины, действительно, возникли, но и о них нужно говорить особо, а не в примечании к сохранившимся в архиве П. Б. Струве документам.

*

В ненапечатанной газетой "Россия" части "Послесловия" к "Трем столицам" Шульгин рассказал трагедию эмигранта,

проникшего в Россию, испытавшего там тюрьму и психиатрическую больницу, освобожденного "Трестом" и переправленного им за границу.

К сожалению, этот рассказ написан беллетристически и не может быть назван достоверным документом, хотя в его основу положен действительный случай. Пострадавшим эмигрантом был П. П. Демидов, побывавший в тюрьме и больнице, освобожденный якобы "Трестом" без ведома О. Г. П. У. и доставленный в Польшу в тяжелом, удрученном состоянии. Мнение Шульгина, что в этом деле "Трест" "проявил чудеса решительности, смелости и находчивости", говорит о том, что и после гельсингфорских "разоблачений" Опперпута он не отделался от двойственного отношения к "Тресту" и допускал его раздвоение на чекистов и вовлеченных ими в М. О. Р. подлинных монархистов.

*

Остается сказать несколько слов о статье, озаглавленной "Сидней Рейли". Шульгин коснулся этой темы, вероятно, потому, что судьба Рейли вызвала отсрочку его отъезда в Россию, но все, написанное им — повторение чужих слов.

Шульгин неоднократно называл Рейли англичанином, не подозревая, что он был в действительности уроженцем Одессы, сыном врача, польского еврея — Зигмунтом Григорьевичем Розенблюмом. В Лондоне сохранилась метрическая запись состоявшегося в 1898 году его бракосочетания с вдовой состоятельного англиканского священника Маргаритой Томас, в которой он назван своим действительным именем и фамилией. Псевдонимом Рейли он стал пользоваться значительно позже.

Как в случае Опперпута, советская версия о том, что побудило Рейли проникнуть в Россию и что там с ним случилось, испытала несколько изменений. В 1968 году в самиздате появилась статья Револьта Пименова: "Как я искал шпиона Рейли?".

Назвавший песни чекистов "песнями моего детства", автор этой статьи назвал Рейли Сиднеем Георгиевичем Розенблюмом-Реллинским и осудил замалчивание его заслуг, прибавив, что

"нельзя ждать 1978 года, чтобы реабилитировать верного сына России".

Он написал в заключение, что "не успокоится мое жаждущее справедливости сердце, пока в Москве, на самой видной ее площади, не станут в граните изваяния героям разведки Реллинскому, Берзину, Шмидхену-Буйкису, Спрогису от благодарного народа".

С. Войцеховский

ОЧЕНЬ КРАТКАЯ, НО ДОСТАТОЧНО ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Мы с удовольствием печатаем присланную нам Анатолием Павловичем Федосеевым эту чрезвычайно ценную статью. Напомним читателям, что А. П. в Сов. Союзе был выдающимся ученым в области военной электронной техники, доктором технических наук, заслуженным деятелем науки и техники, за свои работы был награжден двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, имел звание героя социалистического труда. Тем не менее в 1971 году во время международной авиационной выставки в Париже А. П. "выбрал свободу", оставшись на Западе, получил право политического убежища в Англии. РЕД.

Зарождение Великой Идеи.

Человеку, живущему натуральным хозяйством, не на кого пожаловаться за свои беды. Его жизнь зависит только от него самого и, конечно, от природы, а она от Бога. Вот и можно пожаловаться Богу.

Другое дело — человек, живущий в обществе с развитым разделением труда. Поскольку в этом случае его жизнь зависит от множества других людей, то ему уже не нужен Бог, чтобы

служить козлом отпущения. Выбор у него огромный: сосед, работник, хозяин, капиталист и т.д. Однако, пожаловаться на соседа может от силы помочь другой сосед. Такая жалоба мало что даст. Зато, если жаловаться на хозяина или капиталиста (конечно, не на конкретного, а вообще), здесь ему представляется максимально возможная компания таких же, как он. С течением времени идея козлов отпущения в виде хозяев, начальников или капиталистов становится четкой и очень удобной. Человек начинает ощущать себя членом большой компании-класса и свои претензии как классовую борьбу. В то же время он понимает, что это, созданное им самим в своей голове "Классовое Общество" опасно разрушить: ему самому тогда придет конец.

Тут на помощь ему приходят Великие Мыслители и говорят: "не бойся, разрушай до основания и на обломках мы с тобой построим разумное, справедливое общество, где все будет хорошо и радостно и где не будет классов".

Конечно, человек интуитивно чувствует, что в этом новом обществе ему все равно захочется свалить какие-нибудь свои новые беды на кого-нибудь другого. Однако эта идея разума и справедливости, обещающая ликвидацию всех его истинных и воображаемых бед и врагов, его все же устраивает. Он даже не задумывается над тем, а как же это можно будет примирить миллиарды противоречий миллионов людей. Кстати, он даже не пытается себе уяснить, что, как бы то ни было, с бедами, несчастьями, но это самое общество развитого разделения труда все же решало эти миллиарды противоречий и, как никак, но двигалось вперед, к лучшему.

Конечно, его, этого отдельного человека, безусловно, можно оправдать. Законы, по которым общество живет и развивается (а они, явно, существуют), он и принципиально не может себе представить за исключением нескольких весьма грубых упрощений и все ему представляется сплошным хаосом и анархией. Ведь, если весь его жизненный опыт и суждения заключены в 10^{11} клеточках его мозга, то общество, скажем, из 100 миллионов человек имеет в совокупности опыт и суждения, заключенные в 100. 000. 000 X 10^{11}, т. е. 10^{19} клеточках. Таким образом, общество живет и развивается в статистическом

соответствии с тем, что заложено в 10^{19} совокупных мозговых клеточках. Ясно, познать то, что составляет опыт 10^{19} клеток, 10^{11} клеток принципиально не могут.

Дело, однако, и еще хуже. Даже совокупные 10^{19} клеточек всего общества не в состоянии зарегистрировать и осознать все факты и явления в окружающей природе и вселенной. Если бы это было возможно, вероятно, человечество разрешило бы свои беды раз и навсегда.

Но теперь на такое состояние дел ему даже наплевать. У него появилась теперь вера в будущее разумное, справедливое плановое общество — в Великую Идею. Любопытно, что и мыслителям на сложности наплевать. Они тоже о них не думают. Однако, они думают, примерно, следующее: — 1. Попробуйте двинуть это неорганизованное общество туда, куда мы считаем правильным. Ничего не выйдет (конечно, ведь эти мыслители всего комплекса законов развития общества не знают и не могут знать). Существующее общество — хаос (когда не понимаешь, так что другое можно сказать?). 2. Нужно построить организованное общество, живущее по единому, разумному, справедливому плану (т. е. не по сложнейшим и запутанным естественным законам). 3. Такое общество уже и я, мыслитель, смогу двигать в любую правильную сторону. И эта правильная сторона будет указана мной, мыслителем. 4. Такая задача для меня, мыслителя, завлекательна и почетна: человечество на века будет мне благодарно за мою гениальность.

Ленин.

На этом этапе истории Великой Идее уже был нужен не столько великий мыслитель, сколько человек несокрушимой воли и энергии для практического претворения в дело этой Великой Идеи. Конечно, такой человек появился. Это был Ленин.

Отличие Ленина от других аналогичных деятелей состояло в том, что, когда он говорил и думал о классовой борьбе, о классах, о диктатуре пролетариата, об экономике и т. д. и т.п., в его

голове все время фактически была все та же главная мысль: "в обществе, управляемом единым национальным планом, человек, стоящий во главе этого плана, получает такую колоссальную власть, о которой не могли мечтать никакие диктаторы на всем протяжении человеческой истории. Получив эту власть, я могу осчастливить человечество потому, что я самый умный и самый знающий среди всех и знаю, куда нужно двигать человечество". Он был, в основном, прав, так как остальные деятели цеплялись за всякие несущественные детали, вроде диктатуры пролетариата, бесклассового общества, многопартийного социализма, справедливости, равенства и т.д. и т.п.

Партия "демократического централизма" — партия особого типа. Усвоив сердцем и умом идею общества Национального Плана Ленин вполне правильно рассудил, что теперь и прежде всего нужно создать партию особого типа, не похожую на все эти объединения болтающих желеобразных интеллигентов. Для создания будущего единого плана нужна была партия, которая бы послушно подчинялась единой воле, была бы активной, энергичной и лишенной всяких предрассудков. В меньших масштабах такие партии или, точнее, организации существуют и существовали и раньше. Однако, значение новой партии заключалось не только в железной дисциплине, но также и в Великой Идее, которую она хотела осуществить.

Конечно, Ленин все же не успел в окончательном виде построить партию, которая ему была нужна, но это дело было вполне успешно завершено Сталиным. Любопытно, что, пожалуй, единственной организацией на Западе, похожей на партию Ленина-Сталина, являются в наше время монопольные английские Тредюнионы. Если в любую обычную партию можно войти и выйти свободно, то в тредюнион Англии и вступить не просто, а выйти значит потерять зарплату и работу. Партия Ленина построена именно так: имеет возможность применять к непослушным примерно такие же санкции, как и английские Тредюнионы с их закрытыми для нечленов предприятиями. Следует отметить, что именно поэтому никакие политические партии не в состоянии противоборствовать Тредюнионам и даже поддерживать дисциплину в своих рядах.

Великая особенность Великой Идеи.

История человечества насыщена идеями разного калибра и разной долговечности. Однако, известны ли вам идеи, которые требовали бы полной перестройки образа жизни ВСЕХ людей? Если вы скажете, что все религиозные идеи именно таковы, то это не так. Религии не требуют. Они просят, они убеждают, но они великолепно могут сосуществовать вместе с обычным человеческим образом жизни. Быть религиозным отнюдь не означает отказа от обычной жизни с множеством ее обстоятельств, множеством решений и действий, основанных на здравом смысле. Наша Великая Идея имеет коренное отличие от всех других идей. Ее осуществление требует, именно *требует* полной перестройки образа жизни ВСЕХ людей. Ведь жить в соответствии с Великой Идеей означает жить в обществе, организованном по единому, разумному, справедливому плану, одинаковому для ВСЕХ. Поскольку план один, а конкретных местных обстоятельств — миллиарды, то наш старый друг и знакомый — здравый смысл из нашего союзника и друга превращается во врага. Мы уже не можем жить и действовать в соответствии с местными обстоятельствами, руководствуясь этим самым здравым смыслом. Мы должны действовать в соответствии с единым планом. Не думайте, пожалуйста, что эта необходимость позабыть здравый смысл есть нечто лишнее. Отнюдь нет. Это вытекает из того, что единый план должен вполне разумно предусмотреть балансы между производством товаров и их потреблением, между ценами и зарплатами, между числом трудящихся и числом рабочих мест в масштабе всей страны. В противном случае инфляция и безработица будут даже хуже, чем до осуществления Великой Идеи. 10% ошибки в едином плане или в его выполнении и 10% безработицы обеспечено. 10% искажения плана здравым смыслом трудящихся и снова 10% инфляции или 10% безработицы обеспечены. Понятно, что балансы единого разумного, справедливого плана не могут терпеть никакого сосуществования с достаточно значительной частью непланируемого хозяйства. Ведь балансы тогда просто невозможны.

Понятно, что и децентрализация также нетерпима, так как,

допуская местный здравый смысл, т. е. произвол с точки зрения единого плана, она не даст возможности составить и осуществить необходимые балансы. Поэтому во имя единого плана местный здравый смысл должен быть исключен из жизни, как злейший враг.

Принципиальная, коренная разница между национальным планированием и обычным планированием.

Каждый человек планирует свою жизнь или расходы в соответствии со своим здравым смыслом и обстоятельствами. Эти планы он очень редко записывает на бумаге и нередко даже забывает их выполнить. Тем не менее никто без этого планирования не обходится. Какова главная черта этого планирования? Нежесткость и возможность при столкновении с непредвиденными обстоятельствами немедленно учесть эти новые обстоятельства путем соответствующего изменения нашего плана: никакой бюрократии, никакого замедления.

Планирование частной фирмы, в сущности, очень похоже на личное планирование. Конечно руководители фирмы предпринимают все, что в их силах, для досконального уяснения себе всего их прежнего опыта, производства и продажи своих изделий. При этом они ведут часто очень дорогие исследования рынка для их товаров. Все это для того, чтобы на этой базе спланировать будущую деятельность фирмы как можно более безошибочно. Составляя свой личный план, мы конечно пользуемся значительно меньшим количеством информации. Процесс значительно проще, но вполне аналогичный.

План фирмы, как и личный план, не является жестким и появление новых обстоятельств приводит к изменению плана фирмы. Понятно, что это изменение требует часто очень значительной бюрократии в смысле совещаний, дискуссий, расчетов, включая таковые на компютерах, и, конечно, много больше времени, чем для изменения личного плана.

Для личного плана и для плана фирмы характерно то, что в обоих случаях нет никакой возможности учесть при планиро-

вании все миллионы других личностей или тысячи других фирм, которые могут самым неожиданным образом столкнуться с нашим планом при его выполнении. Едва ли, например, отдельный человек, даже если он этого захочет, сможет правильно учесть интересы общества. Отдельная фирма, с большой неопределенностью учитывающая действия своих конкурентов, тоже едва ли может, если и захочет, правильно учесть интересы общества, которые, как правило, далеко не очевидны. В сущности, и личный план и план фирмы представляют собой, скорее, наметку стратегии поведения, чем точное расписание действий. Поэтому эти планы редко исполняются в полном виде, а, бывает, и претерпевают полное крушение, приводя к банкротству, несчастному случаю, к самоубийству, к потере здоровья, работы, жилища и т.д. и т.п.

Это обычное планирование не может и не берется решать вопросы стабильных цен, полной занятости и т.д. В то же время естественно, что национальный план рассматривается в первую очередь, как план, который должен учесть всё и гарантировать всем работу, стабильные цены и жизнь. Иначе, зачем же он нужен? В этом заключается первая и колоссальной важности особенность национального плана. Эта особенность требует не просто оценки обстановки в государстве и определения стратегии, но составления точных количественных балансов, о которых мы говорили. Это ведет к необходимости колоссальных затрат труда, времени от людей и от компютеров, не говоря уже о бумаге, на составление этого национального плана, и к неизбежной его негибкости: миллиарды местных конкретных обстоятельств, учтенных в национальном плане, успевают весьма значительно измениться к тому времени, когда план окажется готовым и утвержденным для исполнения. Личный здравый смысл легко и быстро следует за изменением местных обстоятельств, чего национальный план сделать не в состоянии. Национальный план, венчая огромный и разумный труд его составителей, естественно требует самого строгого его выполнения. Его составители, естественно, любыми средствами будут требовать выполнения балансов национального плана, а люди на местах, тоже естественно, стремиться к учету на базе

здравого смысла изменившихся условий и, следовательно, к невыполнению плана.

Вторая особенность национального плана в том, что он предназначен учесть "все и вся" и этим гарантировать успех его балансов. Однако, десяток или тысяча голов его составителей еще более ограничена в своем понимании этих "все и вся", чем десятки и сотни миллионов голов граждан, не обязательно совсем глупых. Поэтому риск невыполнения национального плана и соответствующих бед в масштабе государства, пожалуй, значительно больше, чем у плана фирмы или у личного плана. Последнее усугубляется еще и третьей особенностью национального плана.

План фирмы в большей своей части определяет движение, в основном, вещей (материалов, инструмента, полуфабрикатов и т.д.) в относительно простой производственно-административной структуре фирмы. Это движение вещей хорошо определяется и предсказывается законами физики, химии или, вообще, технологии. Поведение людей в этой структуре определяется достаточно подробными инструкциями и достаточно ясными договорными условиями и, следовательно, дисциплиной. В этом смысле армия является чем-то подобным фирме с наивысшей дисциплиной и предсказуемостью.

Национальный план имеет дело в весьма значительной степени не с вещами и с простыми технологическими законами, а с миллионами непредсказуемых по поведению граждан в условиях чрезвычайно сложной, неохватываемой сознанием и часто совершенно нецелесообразной структуры общества в целом. В масштабе национального плана граждане не имеют ни точных инструкций, ни конкретных договорных условий, которым они обязаны следовать.

Любопытно, что не только средний человек этого коренного и принципиального различия не представляет, но даже и самые опытные руководители крупнейших фирм. Последние весьма склонны считать, что государство — просто очень большая фирма и национальный план отличается от плана фирмы лишь количеством исходных данных. Это — трагическое заблуждение.

Первый важный шаг осуществления Великой Идеи: ликвидация скоплений старого здравого смысла.

Нет необходимости останавливаться на захвате власти в России партией особого типа. Этот факт, хотя и очень важный, не является существенным с точки зрения истории развития Великой Идеи. Не в России, так в другом месте. Не в 1917, так в другом году, но Великая Идея нашла бы свое развитие. Просто, именно в России государственная власть не только была разложена, но и не проявляла желания управлять. Поэтому захват власти партией особого типа был вполне естественным шагом в развитии Великой Идеи. Кстати сказать, то, что происходит сейчас на Западе очень похоже на то, что раньше происходило в России.

После того, как власть, можно сказать, свалилась в руки Ленина, он должен был предпринять первый важный шаг на пути к осуществлению Великой Идеи. Нужно было ликвидировать людей, неспособных распрощаться с въевшимся в их сознание личным здравым смыслом и умением руководствоваться только конкретными обстоятельствами, а не указанием сверху. Таких людей было огромное множество. Хотя многие из них и были против старого режима и помогали Ленину захватить власть, но и это их действие основывалось на их личном здравом смысле и знании личных конкретных обстоятельств. Они представляли элиту старого общества. Переучивать их и перестраивать их мозги со здравого смысла на единый план было некогда и некому. Как всем известно, эта колоссальная задача была блестяще выполнена истреблением этой элиты.

Второй важный шаг в осуществлении Великой Идеи: ликвидация остатков здравого смысла в самой партии особого типа.

Здравый смысл исключительно живуч. Стоит только прекратить жестокую борьбу за осуществление единого, разумного справедливого плана и эта "сорная трава" начинает плодиться самым невероятным образом. Не успели ликвидировать старую элиту — поборников здравого смысла, как появились новые люди со здравым смыслом. Конечно, их тоже

приходилось ликвидировать: на их переучивание никаких сил не хватило бы.

Самое же страшное происходило внутри самой партии Ленина еще до его смерти. В партии самой появились поборники здравого смысла, подрывающие необходимую для Великой Идеи единую волю. Ведь единый план с его будущими и жизненно необходимыми балансами не может иметь несколько вариантов на выбор населения: *он может быть только один.*

Понятно, что эти Троцкие, Зиновьевы, Бухарины и иже с ними подрывали каждый со своими здравомысленными идеями самое существо Великой Идеи, самый ее корень. Увлекшись здравым смыслом и сомнительным знанием конкретных обстоятельств текущего момента, они позабыли о сути Великой Идеи. Сталин же это, если и не понимал, то чувствовал. Поскольку на его стороне были несгибаемая воля и Великая Идея, то здравый смысл потерпел полное поражение и его именитые носители были ликвидированы. Конечно, можно размышлять: а что было бы, если бы Бухарин или Троцкий ликвидировали других? Очевидно, что тогда здравый смысл бы именно Бухарина (или Троцкого) стал бы выразителем Великой Идеи и единого плана, а здравый смысл других превратился бы во врага. Все бы, конечно, продолжалось, хоть и с вариантами, но в прежнем направлении. Что то другое могло бы быть, если бы, скажем, Бухарин после ликвидации соперников отказался бы вообще от Великой Идеи (без ликвидации соперников ему даже отказаться бы не удалось).

Эта новая победа Великой Идеи показала, что быстро преодолевать здравый смысл можно только с помощью террора и истребления не только самих ростков здравого смысла, но даже и самой возможности их появления. Понятно, что дальнейшее осуществление Великой Идеи было бы невозможно без быстрого развития и укрепления Чека. Нужно было создать такую и, понятно, тайную систему, которая пронизывала бы все поры общества, а также самой партии и подавляла бы здравый смысл в самом его зародыше. И эта колоссальная задача была тоже успешно выполнена. Без ее решения осуществление Великой Идеи было бы невозможно, а оно, это осуществление, уже происходило: параллельно описанным великим событиям.

План ГОЭЛРО — план электрификации России — первый камень фундамента грандиозного здания, воплощающего Великую Идею в жизнь.

Еще только-только новая власть последователей Великой Идеи консолидировалась, еще не все трупы закопаны в землю и еще далеко не все жертвы превращены в трупы. Разруха и хаос еще находятся в своем апогее. Тем не менее практический гений Ленина уже закладывает первый и знаменитый камень в будущее грандиозное здание единого, разумного, справедливого плана и планового общества. Речь идет о великом плане ГОЭЛРО — плане электрификации России. Именно этот план стал началом цепочки все более и более совершенных разумных и справедливых пятилетних планов. Планов, которые постепенно охватывали всю территорию России до самых далеких ее уголков. Планов, которые постепенно распространили свою регулирующую власть все более исчерпывающим образом на все стороны человеческого поведения, приводя таким образом огромную страну в состояние совершенной машины, послушно выполняющей предначертания единого, разумного, справедливого национального плана.

Непокорные миллионы.

Я пропустил, как несущественный период, НЭП. НЭП это было, конечно, вынужденное отступление, вызванное невероятно бедственным положением страны, грозившим сорвать все дальнейшее осуществление Великой Идеи. НЭП являлся превосходным свидетельством живучести и эффективности здравого смысла.

НЭП является также свидетельством того, что Ленин превосходно знал великолепные свойства этого здравого смысла и построенного на нем эгоистического общества. В то же время, кратковременность жизни НЭПа отражает вполне ясно, что торжество Великой Идеи требует неограниченной власти и единства воли и в то же время обеспечивает эту неограниченную власть. Таким образом, осуществление Великой Идеи и неограниченная власть являются двумя сторонами одного и того

же явления. Гибель Великой Идеи разумного планового общества означала бы и исчезновение неограниченной власти над миллионами. Так же, как исчезновение неограниченной власти над миллионами людей означает и гибель разумного и справедливого планового общества.

Именно в ходе первых побед Великой Идеи постепенно выяснилась огромная сила частного здравого смысла и эгоистической, анархической природы человека. Оказалось мало даже только страха за жизнь или здоровье. Все равно, противостояние миллионов единой воле единого плана непрерывно питало новые и новые ростки частного здравого смысла и частного эгоизма. Приходилось изобретать и вводить все новые и новые способы подавления этих ростков. Пресса, радио, все средства связи, телевидение были постепенно подчинены одной Великой Идее. Пришлось даже историю и старые книги редактировать и переписывать так, чтобы они служили Великой Идее. Пришлось зарегулировать все каналы связи с внешним миром, чтобы и они не опорочивали, а служили Великой Идее. Пришлось подчинить всю воспитательную систему служению Великой Идее. Пришлось снова и снова промывать мозги и взрослым через бесчисленные кружки и общества, чтобы они забыли о здравом смысле и о своих эгоистических привычках. Пришлось создать огромную систему материальных и духовных поощрений за служение единому плану и за отказ от здравого смысла.

История человечества еще не знала такого многомиллионного общества, настолько пропитанного одной идеей и этой одной идее служащего. И тем не менее, рецидивы частного здравого смысла и эгоизма продолжают все возникать и отвлекать живительные соки от колоссального дерева единого разумного плана, которое все время имеет тенденцию чахнуть и разрушаться.

Национальный план требует тщательного регулирования и учета связей с внешним миром через монополию внешней торговли.

Совершенно очевидно, что балансы единого плана невозможны без соответствующего регулирования внешней торговли. Монополия внешней торговли является необходимой

при осуществлении Великой Идеи. Понятно, что и денежная система должна быть государственной и независимой от капризов мировых денежных рынков. Иначе, как получить балансы плана? Отсюда неконвертируемость рубля. Можно вспомнить, как на заре планового хозяйства в СССР были явные попытки создать конвертируемую валюту. Понятно, что это противоречило единому плану и было быстро забыто.

Почему нужно завоевание Великой Идеей всего мира?

Хотя теперь СССР и представляет собой максимальным образом закрытую систему, однако, воздействие внешнего мира продолжает оставаться слишком сильным, чтобы им можно было пренебречь. Это обстоятельство, конечно, значительно вредит завершению стройного здания единого разумного и полного плана. Чем совершеннее становится внутренний единый план, тем яснее становится влияние на него "хаоса" во внешнем бесплановом мире. При этом не следует относить к этому внешнему миру другие страны, осуществляющие Великую Идею. Отношения с ними даже если они враждебны СССР, вполне предсказуемы (с позиций Великой Идеи) и регулируемы. И там и в СССР — Великая Идея на разных ступенях ее осуществления, а Великая Идея еще и потому велика, что она примитивно проста и доступна для всех без чрезмерного напряжения мозгов.

Поэтому первым и главным врагом СССР являются страны Запада и именно их нужно разложить и покорить или разложить и завоевать.

Армия же и система вооружения по своим дисциплине и подчинению единой воле являются, в сущности, наивысшим выражением Великой Идеи, т. е. единого разумного плана: это не анархия штатских миллионов. Поэтому именно армия и система вооружений пышно расцветают на почве осуществления Великой Идеи. Совокупность же явной силы армии и тайной силы системы Чека и есть то, что нужно для последней ступени осуществления единого разумного плана для всего человечества. Кстати, стоит вспомнить знаменитые в свое время споры в партии по вопросу: можно ли построить социализм (осуществить Великую Идею) в одной, отдельно взятой стране? Вы

можете убедиться, что это были отнюдь не схоластические, а вполне практические споры.

Почему сателиты СССР не включаются в состав СССР?

Теперь нам легко понять, почему сателиты СССР не включаются в состав СССР. Огромному населению СССР потребовалось полвека, чтобы, с грехом пополам, позабыть о здравом смысле и подчиниться Великой Идее. Если включить все сателиты сразу в сферу действия единого разумного плана СССР, то по полувековому опыту здравый смысл и эгоизм их населения, безусловно, приведут в хаос этот единый план. Нужна длительная и постепенная обработка населения (не исключая разумную степень истребления) с помощью местных средств и планов. В то же время плановость хозяйства сателитов позволяет достаточно хорошее согласование планов сателитов и единого плана СССР. Когда осуществление Великой Идеи в сателитах более или менее догонит ее осуществление в СССР, слияние сателитов с СССР будет вполне естественным.

Обязательно ли нужна революция или военное завоевание для победы Великой Идеи?

Идея единого разумного плана (Великой Идеи) сама по себе совершенно не требует революции или военного захвата, хотя одно другое не исключает. Идеи классовой борьбы, диктатуры пролетариата, марксизма, вульгарного социализма, коммунизма и т.п. не являются обязательными атрибутами Великой Идеи. Они являются чисто вспомогательными тактическими лозунгами, полезными для привлечения масс на сторону Великой Идеи.

Коммунистические партии также не являются единственным инструментом в деле. Любые другие партии могут превосходно служить делу Великой Идеи. Идея национального, единого, разумного плана и планового общества сама по себе является великолепной приманкой в особенности для высокообразованных и интеллигентных слоев населения. Она сама по себе хорошо выражает веру этих слоев в могущество и последующее торжество человеческого разума на благо всего человечества.

Поэтому эта вера, а с нею и Великая Идея, проникает, буквально, во все партии и, в сущности, разлагает их изнутри даже без каких-либо внешних воздействий. В Португалии премьер-министр социалист Соареш намерен произвести национализацию основных средств производства Португалии, что является важнейшим шагом в осуществлении Великой Идеи. Ясно, что португальской компартии можно не беспокоиться, так как Соареш превосходно работает на компартию. Придет время (после национализации) и реалисты коммунисты заменят в управлении страной провалившихся со своими идеалами социалистов точно так же, как это произошло в свое время в России.

В Англии на коммунистов превосходно и самоотверженно работает TUC (Конгресс Тредюнионов, насчитывающий в своих рядах около 13 миллионов членов) и другие монопольные профсоюзы, проталкивая всеми доступными средствами разрушение частных предприятий и проведение всеобъемлющей национализации.

Ступени к мирному торжеству Великой Идеи могут быть следующие:

1. Распространение Великой Идеи интеллигентными слоями на весь народ.

2. Опорочивание "бесплановой" хозяйства.

3. Постепенное разложение и разрушение "бесплановой" хозяйства (имеется в виду хозяйство вне национального плана) путем воздействия на него со стороны интеллигенции и масс, охваченных Великой Идеей.

4. Дальнейшее ухудшение жизни (инфляция, безработица и т.п.) в результате чего еще большее усиление давления в пользу национального планирования.

5. Постепенный рост мощи государства, как первого выразителя национального плана, и захват им все большего числа функций в жизни общества.

6. Необходимость создания эффективной системы управления колоссально разросшимся государственным хозяйством.

7. Планирование государственного хозяйства по типу "планирования" крупнейших (децентрализованных) фирм (предложенное и проводимое бывшими управляющими крупных

фирм) показывает постепенно свою несостоятельность устранить инфляцию, безработицу, экономический развал и ухудшение жизни.

8. Постепенное подчинение сконцентрированной мощи государства силе какого-либо объединения особого типа, скажем, монопольных тредюнионов. Национализация хозяйства страны в основном завершена и появляется первый и, конечно, неудачный план.

9. Неудача представляется, как следствие сопротивления капиталистов и их пособников и разжигается ненависть к любым несогласным. К этому времени завершился также захват прессы, радио, телевидения монопольными профсоюзами (партия особого типа).

10. Дальнейшее развитие национального планирования. Директивы дает партия особого типа — профсоюзы.

11. Постепенная изоляция от остального беспланового мира из-за экономического развала и потребностей национального планирования (балансов).

12. Постепенное устранение от власти идеалистов, неспособных к дальнейшему осуществлению Великой Идеи, требующей единой и несгибаемой воли, и захват власти реалистами, понимающими суть дела.

13. Постепенное уничтожение сопротивляющихся и идеалистов и появление единовластного вождя или кучки.

14. Совершенствование национального плана и завершение изоляции от беспланового мира и укрепление связей с плановым внешним миром. Окончательное подчинение страны единой воле, без которой единый разумный национальный план невозможен.

15. Появился еще один аналог СССР, Китая и т.д. Гулаг, КГБ, армия процветают.

Почему так сильна Великая Идея в умах и так слаба в деле, что не может обойтись без неограниченного насилия?

250 миллионов людей в СССР уже знают, что значит торжество Великой Идеи. Она отняла у них не только возможность пользоваться своим здравым смыслом. Она разрушила их

прежнюю национальную культуру и оторвала их от мировой культуры. Она лишила их возможности создания и какой-либо новой культуры за исключением "культуры" Великой Идеи. Она лишила их возможности пользоваться языком для выражения своих мыслей и пером для их запечатления на бумаге. Она лишила их возможности безопасного, откровенного обмена мыслями. Лишив их всех свобод и духовной жизни, она не дала им и утех материальной жизни.

По соотношению цен на товары потребления и заработных плат можно легко подсчитать следующее:

1. Уровень жизни в СССР в 1968 году составил в среднем около 50% от такового в Царской России.

2. Уровень жизни в СССР в 1968 году составил в среднем около 20% от такового в Англии в том же году.

3. В то же время в Англии за тот же период от 1914 года по 1968 год уровень жизни возрос до 270%, составив по отношению к уровню жизни в Царской России 216% (в 1914 году он был около 80%).

4. Официальная средняя зарплата трудящихся в СССР в 1968 году (120 рублей в месяц) составила по покупательной способности всего 18 фунтов стерлингов, т. е. меньше минимального пособия по безработице в Англии.

5. По покупательной способности 1 рубль в 1968 году был равен 0,16 фунта стерлингов, т.е. 16 пенсов.

6. Средняя инфляция с 1914 по 1968 год в СССР составила 8% в год (в Англии — 7,2% в год за тот же период).

9. По секретному государственному обследованию в 1967 году в СССР было 13,4% безработных, из которых около 40% были согласны с отчаяния на любую работу.

В довершение ко всему в СССР сохранилось и (конечно) разделение труда и общественные слои с резкими различиями между собой в материальном смысле и с трудно проницаемыми социальными перегородками между ними. "Бесклассовый" СССР сейчас представляет собой, пожалуй, наиболее классовое общество в мире. И это есть, конечно, не следствие самой по себе диктатуры, а есть следствие самой "механики" создания и проведения в жизнь единого национального плана. Богатейший опыт СССР показывает полную экономическую и социальную неспо-

собность Великой Идеи обеспечить людям лучшую жизнь. Если бы население СССР знало какую-нибудь альтернативу кроме возвращения к старому (о котором они и знают только по наслышке), эта Великая Идея была бы уже населением разгромлена.

Тем не менее появились и появляются все новые и новые государства, осуществляющие Великую Идею: Китай, Вьетнам, Бирма, Камбоджа, Монголия, Северная Корея, Чехословакия, Болгария, Румыния, Югославия, Венгрия, Восточная Германия, Польша, множество африканских государств. И несмотря на все различия в народах, в климате, географии, ресурсах и т.д. все они идут (с несущественными вариантами) по одному и тому же пути. Пути, который характеризуется насилием, истреблением, диктатурами, обнищанием, подавлением свободы. Практика более, чем миллиарда человек на земле демонстрирует порочность и страшную опасность Великой Идеи, дает предостережение народам, еще оставшимся на свободе. И ничего! На голове интеллигентов Запада хоть кол теши, но не заставишь отказаться от Великой Идеи. Конечно, когда они будут стоять у стенки для расстрела или погибать в собственном Гулаге, им станет ясно. И то не во всех случаях: иные и при этом будут кричать ура!, и "да здравствует Великая Идея!" Почему же?

1. Они верят в силу человеческого разума и не могут понять, как это можно их, свободных и разумных людей превратить в бездумных рабов с помощью такой прекрасной идеи, как разумный национальный план. Действительный опыт миллиарда человек проникает сквозь "границы на замке" во внешний мир на Запад в ничтожных дозах, тогда как официальная пропаганда тратит не один миллиард рублей на расхваливание Великой Идеи. То из действительного опыта, что проникает на Запад, кажется интеллигентам Запада настолько чудовищно нелепым (что, конечно, верно), что они просто не могут поверить, а не только почувствовать страшную правду.

2. Чрезвычайно опытные и авторитетные управляющие крупнейших капиталистических фирм с готовностью утверждают, что в Великой Идее нет ничего опасного и они даже берутся все устроить в лучшем виде, так как государство хоть и больше самой большой фирмы, но ничем существенным (якобы) не

отличается. Это опорочивает опыт миллиарда несчастных людей и укрепляет убеждение интеллигентов Запада, что они не допустят превращения Великой Идеи в Великое Рабство.

3. Эти интеллигенты Запада, занимаясь каждый своими историей, экономикой, физикой, математикой, биологией, религией и т.д. не чувствуют за недостатком времени даже желания разобраться в вопросе или придумать что-нибудь, более подходящее, чем Великая Идея разумного планового общества.

4. Любая машина, если ее не смазывать, да ставить палки в колеса, перестанет действовать, как надо. Общественная машина Запада скрипит и постепенно разваливается под непрекращающимся разрушительным (ломать — не строить) напором интеллигенции во главе масс. Получилась ловушка. Разрешением и осмеянием создававшихся веками духовных и материальных ценностей добились, что действительно стало плохо. Тут же готовая Великая Идея все "объяснила" и поощрила дальнейшее разрушение. Мысль же, что виноваты в этом плохом сами и пора одумываться и исправлять, а не разрушать далее, понятно, неприятна, да и кажется нелепой. А ничего другого и нет. И вот тучи лауреатов Нобелевской Премии, писателей, журналистов, артистов, математиков, физиков, биологов, социологов, кардиналов, епископов и просто священников, а с ними и менее грамотного народа вопит во все горло, заглушая все отдельные трезвые голоса: "Да здравствует Великая Идея! Долой общество эгоизма и поклонения успеху!" (а кто бы они были сами, эти лауреаты, если бы не их собственный эгоизм и успех?), "Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо!".

А. П. Федосеев, 1976

"РОДОСЛОВНАЯ БОЛЬШЕВИЗМА"

(По поводу утверждений Ричарда Пайпса, Тибора Самуели и некоторых других западных историков о том, что корни большевизма нужно искать не в марксизме, а в русской истории).

Об этом опасном заблуждении мне уже приходилось писать. На Западе всё больше распространяется мнение, что тоталитарный советский строй порождён вовсе не марксизмом, а русской историей. Мнение это стало общим местом. Только ленивый этого не повторяет. Большевики, дескать, не столько социализировали Россию, сколько русифицировали социализм. Сталин просто напросто восстановил "исконные тоталитарные устои русского государства, созданные византийским цезаре-папизмом, татарским игом, московскими царями и бюрократическим абсолютизмом Империи, описанным маркизом де Кюстин. И вот ещё — феодализма в России не было! Короче говоря: белого царя сменил красный, но всё осталось по-старому. А марксизм тут не при чём и никакой ответственности за архипелаг Гулаг не несёт. Поэтому бояться прихода к власти "наших" коммунистов не нужно. Никакие они не сталинцы. Не верите? Напрасно. Смотрите, сам редактор "Юманите" Ренэ Андриё пишет: "французская коммунистическая партия со всей необходимой решительностью осудила эксцессы сталинского времени в Советском Союзе. В наши дни она одна обличает все покушения на свободу, где бы в мире они не происходили".

Однако, послушаем, что рассказывает в своей последней книге "В общем.." бывший коммунист Клод Руа. Когда в 1957

году его исключали из французской компартии, Жорж Марше кричал: "Миллионы арестованных в Советском Союзе, десятки тысяч в Венгрии! А я говорю тебе: ещё недостаточно арестовывали, ещё недостаточно сажали в тюрьмы!".

И вот с этим самым Жоржем Марше, ещё недавно "любимым сыном Москвы" французские социалисты собираются "восстановить свободу во всём её сиянии". Для оправдания этого противоестественного союза и потребовалась теория, что сталинщина исключительно русская болезнь. Запад никогда ею не заразится. Климат другой.

За Сталиным пришлось отступиться и от Ленина. После выхода первого тома "Архипелага Гулаг" Солженицына и некоторых других исследований стало больше невозможно сомневаться: сталинская модель социализма в главном сложилась уже при Ленине. Некоторые французские левые, Морис Клавель, Андрэ Глюксман и их друзья, сделали тогда единственно правильный вывод: зачаток Архипелага Гулаг в марксизме, а не в русской истории. Но большинство левых не хочет этого допустить. Марксизм во что бы то ни стало нужно выгородить, даже ценой отказа от Ленина. Первый шаг: Ленин, конечно, марксист, спора нет, но ему помешали особые исторические обстоятельства: отсталость России, пережитки царизма, привычка и даже "любовь русских к рабству", гражданская война, разруха, капиталистическое окружение и т. д. Второй шаг, на него, впрочем, многие левые ещё не решаются: Ленин вовсе не завершитель марксовой мысли, как это ещё недавно утверждалось. Нет, его учитель на самом деле не Маркс, а Ткачёв. Этот увёрткой, придуманной в свое время меньшевиками, начинают теперь пользоваться и на Западе. Так в 1974 г. в Англии выходит книга бывшего венгерского коммуниста Тибора Самуели "Русская Традиция". Недавно эту книгу перевели на французский. Некоторые критики поспешно объявили её великой. Объяснение, как при социализме мог возникнуть Архипелаг Гулаг, найдено: Ленин — последователь Ткачёва!

Книга Самуели во многих отношениях действительно ценная. В ней с глубоким знанием и добросовестностью рассказана повесть русской революционной интеллигенции. Но этот подроб-

ный и нелицеприятный рассказ никак не подтверждает главного тезиса Самуели, а именно, что большевизм будто бы вышел не из марксизма, а из особой варварской русской революционной традиции, немыслимой на Западе.

Решить вопрос, у кого главным образом учился Ленин, не трудно. Достаточно вспомнить: в многотомных его сочинениях имена Маркса и Энгельса мельтешат чуть не на каждой странице, а имя Ткачёва названо, если не ошибаюсь, раза два, три. Правда, тут обычно ссылаются на рассказ Бонч-Бруевича о том, как Ленин после октябрьской революции уговаривал своих сообщников изучать Ткачёва (и Нечаева).

Что же, верно так и было. Ткачёв должен был Ленину нравиться. В знаменитой своей брошюре "Что делать?" великий Ильич отзывается о нём с одобрением: "подготовленная проповедью Ткачёва и осуществлённая посредством "устрашающего" и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть — была величественна".

Но когда в той же брошюре Ленин говорит о родословном дереве социализма, он называет не Ткачёва, а Маркса и Энгельса и их учителей: "Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна — трёх мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времён и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, которые мы доказываем теперь научно, — так немецкое рабочее движение не должно никогда забывать, что оно развилось на плечах английского и французского движения...".

На тех же самых, а не на каких других плечах стоял и развивался Ткачёв. Его учителя: Макиавелли, якобинцы, Огюст Бланки и "утопические" социалисты, которых он переводил на русский язык. Всё те же авторы, властители дум Сенкаля и других революционных героев романа Флобера "Воспитание чувств".

Вспоминая о своих встречах с Ткачёвым в редакции журнала "Дело" П. П. Суворов описывает его так: "небольшого роста, тоненький, молоденький, стыдливый, вкрадчивый, скрытный, с улыбающимся личиком, Пётр Никитич походил на

институтку в первый раз попавшую в общество". Этот похожий на институтку юноша мечтал о строе, при котором будут господствовать "мир, любовь, согласие и братство, при совершенной солидарности интереса всех людей".

Как ускорить приход такого строя? Сестра Ткачёва А. Анненская рассказывает: "Он со всем пылом молодости ненавидел господствующий в России режим и находил, что для обновления страны необходимо ни мало ни много, как уничтожить всех людей старше 25-ти лет".

Однако, значит ли это, что только русская жизнь могла породить такого политического Франкенштейна как Ткачёв? Кровожадных мечтателей, готовых для счастья человечества без счёта губить человеческие жизни было не мало и на Западе. Не говоря уже о знаменитых: Марате, Робеспьере, Сен-Жюсте, Кутоне. Но вот, например, что пишет Герцен о своей встрече в Женеве с "умеренным" немецким революционером Гейнцем: "он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдёт как по маслу". Конечно, по теперешним стандартам два миллиона не так уж много, но всё же...

Сам Ткачёв совершенно справедливо называл себя якобинцем. Подобно другим русским якобинцам и бланкистам, он считал, что только "Акулина", дисциплинированная организация заговорщиков способна совершить переворот и захватить власть. Но Ткачёв был не только якобинцем. Покровский не без основания назвал его первым русским марксистом. Он действительно первый из русских политических мыслителей изучил и принял марксизм и первый стал пользоваться марксистским анализом. Только в отличие от ортодоксальных марксистов он допускал возможность для России миновать период капиталистического развития и непосредственно, одним скачком перейти к социализму. Обычно его считают народником, но он не идеализировал, как они, общину и артель и не верил, что тёмная, невежественная и консервативная крестьянская масса способна сама разобраться в причинах своего бедственного положения и найти средства, как его улучшить. Нет, сделает революцию и построит социализм образованное,

сознательное, сплочённое небольшое революционное меньшинство.

По просьбе друзей Лаврова Энгельс выступил с высокомерной отповедью Ткачёву. Но Ткачёв в "Открытом письме господину Фридриху Энгельсу" продолжал настаивать: в России, именно благодаря её промышленной отсталости и отсутствия городского пролетариата и настоящей буржуазии, условия для социальной революции благоприятнее, чем в Германии. Об этом письме Маркс сказал: "это так глупо, что могло быть написано Бакуниным".

Маркс и Энгельс защищали тогда ортодоксально-марксистскую точку зрения. "Буржуазия, — писал Энгельс, — так же необходима для социальной революции как сам пролетариат. Следовательно, заявлять что такая революция легче осуществима в стране, где нет ни пролетариата, ни буржуазии, это значит обнаружить незнание азбуки социализма". Бердяев сделал отсюда вывод: "Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее "меньшевиками", чем "большевиками"".

Можно ли с этим согласиться?

В 1877 году, не вспоминая своих насмешек над Ткачёвым, Маркс и Энгельс круто меняют свой взгляд на возможность революции в России. Не называя Ткачёва, они принимают теперь *все его положения:* мировая революция начнётся в России, её сделает небольшая организация заговорщиков. Благодаря общине Россия может миновать капиталистическую фазу развития и прийти к социализму прежде всех.

В 1881 году Маркс пишет Вере Засулич: он никогда, мол, не утверждал, что капиталистическая фаза неизбежна повсюду. Изучение убедило его, что община — горнило русского возрождения. В 1882 году в предисловии к новому русскому изданию "Манифеста коммунистической партии" Маркс и Энгельс признают, что община может послужить исходной точкой развития коммунизма.

Когда землевольцы раскололись на чернопередельцев и народовольцев, Маркс принимает сторону террористов, а не чернопередельцев, хотя те как раз в то время становятся орто-

доксальными марксистами. По выражению одного историка, в Марксе снова проснулась его якобинская душа.

Но засыпала ли когда-нибудь эта якобинская душа Маркса? Он сам так часто с гордостью говорил о своём якобинстве. И в самом деле, разве не якобинским духом вдохновлено составленное им в 1850 году "Обращение Центрального Комитета Лиги Коммунистов": ".. им (рабочим) необходимо образовать по возможности прочную и сильную организацию... они не только не должны выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести по отношению к ненавистным лицам или официальным зданиям, с которыми связаны только ненавистные воспоминания, они должны не только терпеть эти выступления, но и взять на себя руководство ими.. рабочие должны не только стремиться к установлению республики единой и неделимой, но сверх того пытаться осуществить абсолютную централизацию державного могущества в руках государства".

Не этим же ли глубоким, утробным якобинством Маркса объяснялась и его ненависть к федерализму Прудона, к анархизму Бакунина и к Гельвитической конфедерации, и его усилия преобразовать Первый Интернационал в объединённую партию, и его убеждение, что в Германии борьба за централизацию — это борьба между современной цивилизацией и феодализмом.

Отец "научного" социализма безоговорочно одобряет революционный террор. Он видит в нём эффективное средство для разжигания революции, своего рода фитиль, который вызовет общий взрыв. 5-го ноября 1880 г. он пишет Зорге, что в России "наш успех ещё значительнее. Мы имеем там ... центральный комитет террористов". После суда над убийцами Александра 2-го в письме к дочери Женни от 11-го апреля 1881 г. хвалит манифесты Исполнительного Комитета Народной Воли: это не мальчишеские манеры ребяческих крикунов...они наоборот стремятся убедить Европу, что их modus operandi является специфически русским, исторически неизбежным способом действия".

Мечтая о "социал-демократических Желябовых" Ленин знал, что Маркс его одобрил бы. То же и Энгельс. В споре Плеханова с Львом Тихомировым он на стороне террористов.

Плеханов же вызывает у него только раздражение. Между тем в этом споре Плеханов, считая народовольцев наследниками Ткачёва, повторял все те доводы, какие десять лет до того сам Энгельс приводил для посрамления "недоучившегося гимназиста".

В 1885 году Энгельс пишет Вере Засулич: "Россия приближается к своему 1789 году.. если когда-либо бланкистская мечта перевернуть общество путём небольшого заговора имела малейший шанс на успех, то это несомненно теперь в Санкт-Петербурге... Когда 1789 г. происходит в такой стране, то не далёк и 1793 г.". То-есть год начала террора. Далее Энгельс писал: "На мой взгляд Россия больше всего нуждается теперь в толчке, способном развязать революцию. Будет ли сигнал подан той или другой группой, под тем или другим знаменем, не имеет значения".

Только в начале девяностых годов, когда бурный рост капитализма в России стал очевиден, Энгельс расстаётся с надеждой на скорый приход русской революции и возвращается к ортодоксально-марксистскому положению, на котором настаивал Плеханов: капиталистический период развития неизбежен.

Зачем всё это вспоминать? Да вот зачем: теория, которая ввела в заблуждение Бердяева, что Маркс и Энгельс были скорее "меньшевиками", чем "большевиками", снова пущена теперь в ход. Она нужна, чтобы убедить Запад не бояться прихода к власти "наших" коммунистов. Этот усыпительный миф губителен. На самом деле Маркс и Энгельс не были "меньшевиками", не были ортодоксальными марксистами, и тем более в последние годы их жизни хорошими леберальными старичками, какими их стараются теперь представить. Нет, они всегда были такими же якобинцами как Ткачёв и Ленин и всем теориям всегда предпочитали революцию, кем бы и какими бы средствами она не делалась. Доживи Маркс до октября 17-го он так же бы его благословил, как благословил в свое время "методы" народовольцев-террористов. Поэтому неверно говорить, что Ленин "исказил" Маркса, и так же неверно подкидывать ему какую-то особую русскую революционную традицию. Он был верный ученик Маркса и Энгельса и вместе с ними учился

революционной науке и революционной морали у Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и несчастного Бабёфа. У них у всех та же родословная, все они питомцы одной и той же международной революционной среды, порождённой апокалиптическим взрывом французской революции.

В мае 1905 года на Третьем партсъезде Ленин заявил: "Пугать якобинством в момент революции величайшая пошлость. Демократическая диктатура, как я уже указывал, есть не организация "порядка", а организация войны. Если бы мы даже завладели Петербургом и гильотинировали Николая, то имели бы перед собой несколько Вандей. И Маркс прекрасно понимал это, когда в 1848 г. в "Новой Рейнской Газете" напоминал о якобинцах. Он говорил: "террор 1793 г. есть ничто иное, как плебейский способ разделаться с абсолютизмом и контрреволюцией". Мы тоже предпочитаем разделываться с русским самодержавием плебейским способом и предоставляем "Искре" способы жирондистские".

Мудрый Токвиль говорит: "Из 18-го века и революции вытекают две реки: одна вела людей к свободным учреждениям, другая к абсолютной власти". Первую из этих двух рек условно назовём Жирондой. Из неё возник политический либерализм: утверждение неотъемлемых прав человека, гражданские свободы, плюрализм, разделение властей, конституционный парламентский строй. Вторая донесла до наших дней ненависть якобинцев к либерализму. Продолжаясь в 19-м веке якобинская традиция способствовала в условиях промышленной революции произрастанию современных тоталитарных идеологий. Сподвижник Бабёфа Буонаротти передаёт революционерам романтической эпохи эстафету эгалитарного коммунизма.

Огюста Бланки и Маркса, и Энгельса, и их учеников Ткачёва и Ленина вспоила вторая река Токвиля. Большевицкая революция — начало её великого разлива. Она затопила в наши дни уже полмира.

Сам Ленин постоянно подчёркивал преемственную связь большевизма с якобинством. В самом деле сходство двух диктатур разительно. На это уже много раз указывалось. Только к счастью Франции 9-е термидора спасло её от дальнейшего углубления этого проклятого сходства.

Так же как большевики, Робеспьер и Сен-Жюст до прихода к власти были убеждёнными противниками смертной казни. Несмотря на всё своё преклонение перед автором "Общественного договора" Сен-Жюст осуждал Жан-Жака за то, что тот требовал смертной казни для отступников от "общественной религии": "О, великий человек, я не могу тебе простить, что ты оправдал смерть!".

Но войдя в Комитет Общественного Спасения Сен-Жюст говорит уже по-другому: "Республика не будет в безопасности до тех пор пока остаётся в живых хотя бы один её противник".

Один за другим сыпятся окаянные декреты. Эмигранты и контрреволюционеры, всякий, кого видели с белой кокардой на шляпе, объявляются вне закона. Их лишают права на суд присяжных, их дела разбираются без соблюдения правовых гарантий и процессуальных правил.

В апреле 1793 года отменяется депутатская неприкосновенность. Учреждён Революционный Трибунал.

Предтеча Лацисов и Вышинских Робеспьер доказывает, что в руках победившей партии суд должен стать орудием борьбы и расправы. Члены революционного трибунала — слуги якобинской диктатуры. Они не должны быть связаны никакими "старомодными" требованиями закона. Быть во время войны справедливым и соблюдать законы— нелепо. Верховный закон — спасение революции, достигаемое уничтожением её врагов. Подсудимый признаётся виновным не потому, что его уличили в совершении вменяемого ему преступления, а потому, что он принадлежит к определённому классу общества.

Приговоры Революционного трибунала не подлежат обжалованию и приводятся в исполнение в 24 часа. Разработанный Сен-Жюстом закон 17-го ноября объявляет "подозрительными" целые пласты населения: всех аристократов, всех не присягнувших священников, всякого, кто словом, делом или по своим личным связям проявил "дружбу" к тирании, федерализму и контрреволюции, всякого, кто не получил от своей секции свидетельства о благонадёжности, всякого, кто не заплатил налоги, всякого, кто не может доказать, что в прошлом всегда вёл себя как истинный патриот, всякого... и т. д.

Робеспьер возмущался, когда "народное правосудие" осмеливались называть подавлением: щадить роялистов и "негодяев" — это значит, не жалеть невиновных, не жалеть несчастных, не жалеть человечество. Когда идёт война, единственное средство избавиться от "нечистых" — это всех их уничтожить.

Мысль не новая. Через якобинцев она передалась коммунистам. По продолжительности, размаху и свирепству большевицкий террор несоизмеримо превзошёл якобинский, но его вдохновение и методы те же.

Когда Вышинский заявляет, что революционные трибуналы — орудие расправы с классовыми врагами, когда Лацис учит, что на следствии не нужно искать "материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против Советской власти", а нужно только спрашивать "к какому классу он принадлежит", разве это не язык Робеспьера и Сен-Жюста? Сходство полное. Завершитель мысли Робеспьера и предтеча Маркса Бабёф считал, что побеждённый класс нужно уничтожить, так как он никогда не примирится со своим поражением. Цель оправдывает средства. "Любовь к революции, — признавался Бабёф, — убила во мне всякую другую любовь и сделала меня жестоким как дьявол". Верховная администрация должна иметь власть приговаривать к каторжным работам всех виновных в антисоциальном поведении и всех тунеядцев. Бабёф предусматривал даже устройство исправительно-трудовых колоний *на островах*.

А вот и железный занавес. Космополиты-бабувисты настаивали на полной изоляции Франции. Тут только на первый взгляд противоречие. "Возрождённый" народ нужно уберечь от "заразы дурных примеров". Заговорщики, — рассказывает Буонаротти в "Истории заговора равных", собирались принять следующие меры: отгородить Францию от всего остального мира рогатками и впускать только "гонимых друзей свободы", которые будут искать во Франции политического убежища; с теми же из иностранцев, кто захочет насаждать чуждые и фривольные моды, бороться самым решительным образом; за всеми вообще иностранцами учредить строгий надзор и в определённых случаях даже арестовывать, а тех, кого под фла-

гом филантропии, а на самом деле с коварной целью сеять раздор и создавать фракции, будут засылать враждебные иностранные правительства, — тех изгонять. Свободные отношения с другими странами невозможны до тех пор, пока эти страны не примут французские принципы.

Было бы не худо, если бы западные мудрецы вместо того, чтобы выводить большевизм из русской истории, вспомнили Заговор равных. Им было бы легче тогда понять советский подход к Хельсинскому Заключительному акту.

Но вернёмся к якобинскому террору. Для достижения какой цели он служил? Не только защитить революцию от врагов, но и уготовить путь для прихода обетованного "философами" царства счастья, свободы, мудрости и добродетели. Для этого недостаточно переделать общество, нужно ещё и перевоспитать человека, освободить его от власти старых предрассудков, эгоистических побуждений и дурных привычек, сделать из него нового цельного "добродетельного" человека, которого больше не будут раздирать ни внутренние противоречия, ни дух своеволия. Он всегда будет желать, чувствовать и думать только то, чего требует непогрешимая "общая воля"... Новое гармоническое общество могло бы уже существовать, но его приходу мешают эгоизм и развращённость противников революции. Их нужно уничтожить. "Укрощайте врагов свободы террором".

Так же хотели переделать общество и человека Маркс и Энгельс и их наследники большевики. Они говорили об этом почти теми же словами, что якобинцы. Построить общество, где не будет больше ни классовых противоречий, ни эксплуатации человека человеком. Воспитать нового коммунистического "тотального" человека, который не будет совершать антисоциальные поступки. Но прежде нужно "по-якобински" разделаться со всеми, кто мешает построить социализм: враждебными классами, контрреволюционерами, врагами народа, ренегатами.

Кратко укажу ещё на некоторые другие важные черты сходства между большевиками и якобинцами. Так же как большевики Робеспьер до прихода к власти требовал неограниченной свободы печати. Но возглавив Комитет Общественного

Спасения он гневно ополчается на "продажных писак, сговорившихся убить общественную добродетель, сеять раздор и готовить политическую контрреволюцию...".

То же и Сен-Жюст: "революции нужен или диктатор, чтобы спасти её силой, или цензор, чтобы спасти её добродетелью". "Или..или" потом отбросили. Робеспьер стал и диктатором и добродетельным цензором.

29-го марта 1793 года особым законом была установлена смертная казнь для тех журналистов и авторов памфлетов, кто будет нападать на суверенитет народа, призывать к роспуску Конвента и к восстановлению монархии.

Требование свободы печати, когда революция торжествует — контрреволюционно, так как оно подразумевает свободу бороться с революцией, а такой свободы не должно быть.

Знакомая погудка. Разве не так же рассуждают и советские цензоры. Последние некоммунистические газеты были закрыты уже в 1918 году. Правда, ещё до декабря 1925 г. в партийных журналах появлялись время от времени статьи представителей внутрипартийной оппозиции. А незадолго до 15-го партсъезда ЦК даже опубликовал в форме приложения к "Правде" несколько номеров "Дискуссионного листка" с контртезисами, статьями и речами оппозиционеров. Но это в последний раз прозвучали в советской печати голоса несогласных с политикой ЦК.

Уже в 1918 г. были запрещены все некоммунистические партии, даже социалистические. Затем взялись и за внутрипартийную оппозицию. В 1921 г. Десятый партсъезд предписывает немедленно распустить все фракционные группы. С тех пор борьба с оппозицией и фракциями всё усиливается. Оппозиционеров начинают исключать из партии, а потом и расстреливать.

В своей ненависти к партиям и фракциям, в своих расправах с оппозицией, в своей одержимости идеей монолитного единства большевики, как во всём, подражатели якобинцев. Они затвердили уроки Сен-Жюста: "При режиме свободы, основанном на абсолютной истине и добродетели, партии и фракции — преступный анахронизм. Фракции были нужны при старом режиме, они способствовали изоляции деспотизма и ослаблению

тирании. Сегодня они преступны, так как они изолируют свободу... Борьба партий уводит сердца и умы от любви к отечеству. Всякая партия преступна.. всякая фракция преступна ... фракции самый страшный яд в политическом организме... Разделяя народ они подставляют на место свободы партийные страсти...".

Якобинцы заявляли, что их диктатура не только не нарушает свободу, а наоборот её укрепляет. Одни только злонамеренные, эгоистичные и развращённые люди могут жаловаться, что их свобода нарушается. Свобода будет восстановлена только когда борьба с врагами свободы кончится полным их уничтожением, народ перевоспитан и оппозиция разгромлена. Пока же существует оппозиция, свободы не может и не должно быть.

Робеспьер не сомневался: различия в мнениях — это не что-то естественное, а выражение эгоизма, извращённости и глупости. Когда после казни жирондистов, дантонистов и эбертистов, т. е. говоря сталинским языком, после ликвидации правого, праволевацкого и левацкого уклонов, в Конвенте возникли новые разногласия, Робеспьер был в ужасе.

Став диктатором он отказался от своего прежнего убеждения в необходимости разделения властей. Теперь он утверждает: революционное правительство, чтобы охранить свободу от фракций, должно обладать всей полнотой власти и необходимым аппаратом для действий быстрых и не стеснённых никаким легальным контролем, должно мобилизовать все силы народа, чтобы бить мощно и беспощадно. При разделении властей это невозможно. Поэтому, разделение властей долой. Вся власть Комитету Общественного Спасения!

Вспомним: Руссо считал, что разделять суверенную власть народа на законодательную, исполнительную, судебную, административную и т. д., так же нелепо, как составлять человека из нескольких разных тел: у одного тела только глаза, у другого только руки, у третьего только ноги и ничего больше.

При розыске родословной большевизма Руссо не обойти. По выражению Жоржа Сореля царство Руссо начавшись в 1762 году продолжалось почти сто лет. Думаю, продолжается ещё и теперь. И якобинцы, и Маркс и большевики вышли из его учения о

свободе и общей воле. Учение это неясное и противоречивое. Существуют самые разные его толкования. Наиболее проницательным и убедительным мне представляется предложенное проф. Талмоном, автором капитальных исследований для понимания природы современного тоталитаризма.

Согласно Руссо человек жил в естественном состоянии по своей, ничем не ограниченной воле. Но заключая с другими людьми общественный договор он передаёт свою естественную свободу и все свои естественные права коллективу и предоставляет общей воле этого коллектива неограниченную над собой власть. Он перестаёт жить для самого себя, становится только частицей коллектива и все его мысли, и чувства, и поступки определяются теперь общей волей.

Казалось бы, Руссо должен был признаться, как признался простодушный Шигалёв: "Я запутался в собственных данных, и моё заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом".

Но ни сам Руссо, ни его ученики якобинцы, ни ученики якобинцев коммунисты такого признания не делают. Наоборот, они уверяют, что именно когда человек тотально отдаёт себя коллективу, тогда-то он и становится свободным.

Идея общественной коллективной личности Руссо мне кажется столь же невнятной, как евразийские рассуждения о соборных, симфонических личностях. Одно несомненно, идея эта ведёт к тоталитаризму. Во всяком случае Робеспьера привела. Ещё невнятней учение Руссо о коллективной воле. Она воля народа, но вовсе не всегда совпадает с волей всех. Ведь она неизменно стремится к общему благу, а воля всех только сумма частных воль, преследующих частные интересы. "Однако, необходимо, чтобы все голоса были сосчитаны; всякое формальное исключение нарушает всеобщность".

Спрашивается: если общая воля, "постоянная, нерушимая и чистая", существует как бы объективно, вроде платоновских идей, и может не совпадать ни с волей всех, ни с волей хотя бы только большинства, то почему собственно тогда необходимо подсчитывать голоса? Тем более, что в некоторых случаях,

например, когда отечество в опасности, общую волю могут выражать всего несколько человек, и даже один только человек, наиболее достойный. Он становится верховным вождём, диктатором, даже может приостановить на время действие законов.

Робеспьер был великим почитателем Руссо. Ход мысли Неподкупного легко себе представить. Руссо указал только признак для распознания общей воли: она всегда направлена к достижению общего блага. И я, Робеспьер, я тоже всегда хотел общего блага, всегда любил добродетель и у меня нет никаких личных, никаких частных интересов. Значит, моя воля совпадает с общей волей.

Робеспьер считал, что истину и справедливость воплощает только одна партия — якобинская. Впрочем, это не партия в обычном смысле, а просвещённый авангард народа, выразитель его воли, так как сам народ, пока он тёмен и нищ, не способен её выразить. Поэтому, если народ не захочет подчиняться своей собственной подлинной воле, осуществляемой диктатурой якобинцев, его надо заставить. Применение силы и устрашения, таким образом, оправдано. Цель оправдывает средства. Право каждого свободного выражать свою волю и свое мнение отрицается. Робеспьеру открылось: тот наиболее достойный человек, о котором говорил Руссо — это именно он, Робеспьер.

Бабёф считал, что диктатура Робеспьера была "дьявольски хорошо воображена" и что робеспьеризм и демократия два однозначных слова. Робеспьер и есть партия, и даже весь народ, т.е. санкюлотрия. Бабёф признавал народом только санкюлотов.

Комитет Общественного Спасения прообраз ленинского ЦК. Владимир Ильич полностью воспринял идею просвещённого авангарда. Конечно, пролетариат исполнитель воли Истории, но сам пролетариат своими собственными силами в состоянии выработать лишь сознание тредюнионистское, но не самостоятельную идеологию. Классовое политическое сознание может быть принесено рабочему движению только извне, коммунистами. "Поэтому наша задача, задача социал-демократии состоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления тредюнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии".

Чтобы выполнить эту задачу "партия вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру". Сталин последовательно развил мысль Ленина: диктатура пролетариата есть, по существу, диктатура его авангарда, диктатура его партии.

Так большевицкая партия оказывается носительницей воли истории. В брошюре "Что делать?", уже мною упомянутой, Ленин в ответ на обвинения в непонимании демократизма ссылается вовсе не на Ткачёва, а на пример немецких социал-демократов: "..у немцев достаточно уже развита политическая мысль, достаточно накоплено политического опыта, чтобы понимать, что без "десятка" талантливых (а таланты не рождаются сотнями), испытанных вождей, превосходно спевшихся друг с другом, невозможна в современном обществе стойкая борьба ни одного класса... И вот я утверждаю: 1) что ни одно революционное движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей...".

Впрочем, организацию революционеров, этот "авангард пролетариата" может возглавить даже один человек. В двадцатом году на девятом съезде партии Ленин заявляет: "Советский социалистический демократизм единоначалию и диктатуре не противоречит: *волю класса иногда осуществляет диктатор*". В том же двадцатом году на Третьем всероссийском съезде профсоюзов: "Берите тысяча девятьсот восемнадцатый год.. Я уже тогда указывал на необходимость единоначалия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица, с точки зрения проведения советской власти. Все фразы о равноправии вздор".

На 9-м съезде член группы "демократического централизма" Сапронов выступил против Ленина с прямым обвинением: "Стремление к единоначалию видно не только в управлении фабриками и заводами, оно уже заметно в стремлении заменить советы, исполком, президиум губернаторами... Тогда зачем говорить о диктатуре пролетариата, о самодеятельности рабочих... Я тогда задам вопрос т. Ленину: а кто же будет назначать ЦК? А впрочем и здесь единоначальник. Тоже здесь единоначальника назначили...".

Уже и раньше, на 8-м съезде Осинский жаловался: "Деятельность партии была перенесена в ЦК. В ЦК устанавливалась политическая линия. Что делалось в самом ЦК, об этом местные органы не осведомлялись. Да и сам ЦК, как коллегиальный орган, в сущности говоря, не существовал.. Ленин и Свердлов решали очередные вопросы путём разговоров друг с другом".

Это не мешало самому Ленину, как истому якобинцу, утверждать, что власть находится в руках "рабочего класса и крестьянства". "Волю класса иногда осуществляет диктатор".

Приведённых мною примеров сходства между диктатурой якобинцев и диктатурой большевиков, думаю, достаточно. Сомненья нет. Та же цель насильно переделать общество и человека, те же методы, та же программа действий, та же бешеная холодная ненависть к "врагам народа". Якобинцы и большевики люди одной веры. Эта вера с её беспощадной моралью и обетованием революционного апокалипсиса пришла в Россию с Запада. "Допустим, но русские её исказили". Нет, в самом главном, в самом страшном она не меняется в зависимости от обстоятельств места и времени. Так что и без татарского ига, опричнины, охранки и Ткачёва диктатура коммунистов была бы такой же. Думать, что Советский Союз всё та же царская Россия, только фасад перекрасили — вредное и очень опасное заблуждение. Это разные исторические явления, разного порядка, разного происхождения. Нежелание Запада это видеть может привести к трагическим и непоправимым последствиям. Надежда: "наш коммунизм не будет сталинским, у нас другая история" — надежда ложная. Коммунизм бывает только сталинский.

В. Варшавский

ДЕЛО НЕ В СРЕДСТВАХ, А В ПРИНЦИПЕ

Свергнуть коммунистический строй в любой стране мира можно лишь путём насилия. Другого выхода нет, не было на протяжении минувших 60 лет и никогда не будет. Об этом знают даже те, которые "и знать не хотят"! Осознание этой истины должно стать основой лозунга: "антикоммунисты всех стран, соединяйтесь!", если мы хотим такому "соединению" придать действенный смысл. Но уничтожить коммунизм — считая его мировой заразой, чем он и является на самом деле — можно лишь под условием, если каждый из тех, кто действительно хочет его уничтожить, сочтёт "врагом номер I": коммунизм [прежде всего] *собственного* народа, собственной нации, и перестанет сваливать вину на других, на другие нации.

И вот с этой-то заразой коммунизма всякий народ и должен в первую очередь бороться: "Взявши меч, нож и винтовку..." (чему так усиленно противится Солженицын и уговаривает нас этого не делать! См. III том "Архипелага", стр. 246).

Выступив с таким моим воззрением на польском языке, я встретился со всеобщим негодованием со стороны моих соотечественников, будто я хочу погрузить Польшу в "море крови", притом в борьбе безрассудной, безнадёжной и т.д. и т.п. (впрочем аргументы знакомы по многим выступлениям Солженицына и многих других "диссидентов", которые все, как один, отрицают борьбу с коммунизмом путём насильственного сопротивления). Я отвергаю это обвинение меня в подстрекательстве к безрассудному восстанию. Во первых, воззрение — это ещё не призыв; не указание числа, места и средств действия. Во вторых, я излагаю здесь *принципиальную* точку зрения на

Мы полагаем, что статья И. А. Мацкевича вызовет возражения многих. На наш взгляд ценность этой статьи в том, что она ставит на обсуждение основной вопрос тактики борьбы с большевизмом. Было бы полезно, если б эта статья вызвала дискуссию. РЕД.

вопрос, важный не для одной, а может быть, для всех стран мира. Прошу поэтому разрешения продолжить и расширить обсуждение этого вопроса как раз с его принципиальной стороны.

Что же получится, если вышеупомянутый принцип "несопротивления силой" коммунистическому злу будет принят всеми подкоммунистическими народами? Значит, не только поляками, но и русскими (никто же не хочет "зря проливать кровь") — ни восточные немцы, ни литовцы, ни латыши, ни эстонцы, ни чехи, ни венгры, румыны, болгары, сербы, албанцы, ни украинцы, ни белорусы, ни кавказские народы, ни среднеазиатские, ни прочие. При сегодняшнем положении вещей трудно, разумеется, претендовать на вооружённое восстание китайцев, а тем менее монголов, тибетцев, корейцев, въетнамцев и проч. и проч. и проч. А там, под коммунизмом, оказались и некоторые арабские страны, и кубинцы, и африканские негры. Ведь мы не расисты, признаём за ними общечеловеческие права, присущие и нам; значит и „право на отрицание" борьбы насилием с коммунистическим злом?

Но вот вопрос: что, если на Тайване воцарится вдруг коммунизм? Раз воцарился — значит, по установленному принципу, и жителям Тайваня не годится браться за непосильное дело вооружённого восстания. Ведь так? А если, скажем, случится, что коммунизм захватит власть в Индии? Ну, там, по крайней мере, ещё до Солженицына, некий Мохандас Карамчанд Ганди, прозванный Махатмой, т.е. "великим, святым", выдвинул программу, исключающую насилие, как средство политической борьбы. Так что кровопролития зря, в борьбе с коммунистической властью, опасаться, пожалуй, не придётся. Не будем продолжать возможные примеры. Но зададим чуть неуместный вопрос: что же людям всех этих стран остаётся делать под коммунистическим ярмом?

По "диссидентской линии": ждать у моря... внутреннего преображения, морального возрождения, вроде "жизни не по лжи". (Неясно только, ждать этого: то ли от граждан, то ли от коммунистических вождей?). По другим: надеяться на помощь извне. Точнее, на помощь так называемого Запада. А в свободное время, особенно в эмиграции, ругать — и справедливо! — этот Запад за то, что он не намерен проливать

кровь в защиту стран земного шара от коммунистического рабства. И вот тут-то начинается суть проблемы. А начинается оттого что именно сама сущность определения: "Запад", в этом вопросе не точно очерчена.

Поскольку в географическом смысле, противопоставление понятий: "Восток" — "Запад" можно как-то обрисовать, — постольку в смысле проведения границы, отмежёвывающей коммунизм от антикоммунизма, такое противопоставление сделать уже почти невозможно. Оставим в стороне вопрос, где большее количество коммунистов по их собственной непринуждённой воле — на "Западе" или на "Востоке"? Обратимся к вопросу, непосредственно нас интересующему. Мы стоим перед фактом, например, что бургомистром Рима, колыбели "западного" христианства, тысячелетнего символа так называемой "западной культуры", стал — по свободному выбору — коммунист.

Мы знаем, как обстоят дела в Италии. Там коммунисты чуть было не захватили всю власть. Если дела пойдут так и в дальнейшем, то там может произойти внутренний переворот, и страна уже завтра окажется под коммунизмом. Неужели потомки древних римлян, после 2700 лет существования их государственности, после господства 300 пап и "анти-пап", святейших глав католической церкви, после двадцати одного святейшего собора, после эпохи Возрождения в XIV-XVI столетиях... только лишь под коммунистической властью начнут ожидать "морального перерождения" в "жизни не по лжи"? Да, если следовать принципу, исключающему насилие в борьбе с коммунистической властью, оно так и выходит. Последовательно, так. По отношению к жителям всякой страны, где *уже* водворился коммунизм. Разве мы — поляки, русские, чехи, немцы и т.д. "хуже" (или наоборот: "лучше") итальянцев? Такие же люди, по-возможности избегающие бесполезного кровопролития. Впрочем, мы упомянули: "немцы" ... Вот злободневный пример, ибо поперёк Германии проходит злободневная черта.

Немецкая ГДР, т.е. "Германская Демократическая Республика", где принудительным образом водворён был коммунистический строй, долгое время не была признаваема

"самостоятельным государством", а лишь "зоной советской оккупации". Ещё в 1953 году, когда рабочие Восточного Берлина камнями забросали советские танки, действие их было признано в "Свободном Мире" волеизъявлением немецкого народа, и день 17-го нюня (1953г.) стал национальным праздником в Западной Германии. Но прошло несколько лет; ГДР была признана на Западе, в том числе и Западной Германией, официально: "государством". Национальный "праздник 17-го июня" постарались втихомолку похерить, и ни о каком вооружённом восстании в Восточной Германии не только не может быть речи, но это посчиталось бы „безрассудной выходкой". Хорошо. Но что, если в свою очередь Западная Германия не путём военного захвата извне, а путём внутренне организованного переворота станет вдруг жертвой коммунистической диктатуры? Логически выходит тут то же самое: раз уже *стала,* раз уже оказалась под властью коммунизма — значит, дело завершённое, и думать о каком-либо внутреннем насильственном сопротивлении не приходится. Мы знаем, что в Португалии чуть было такое не случилось. Но это может произойти завтра в Испании, а послезавтра во Франции, где страна коммунистами кишмя кишит.

Нас пугают военной — сухопутной, морской и воздушной — мощью Советского Союза. Я другого мнения. Я считаю Советский Союз наиболее слабой державой. Советский Союз больше других стран мира боится войны, и в этом он прав. Ибо при наличии того процента потенциальных антикоммунистов среди собственных граждан, Коммунистический Блок развалится вдребезги от первого удара и без применения атомной бомбы, если Свободный Мир применит надлежащую политику и пропаганду, т.е. обратную той, которую применил Гитлер в 1941-44 годах. Поэтому Советский Блок не выступит первым. Да ему и нет расчёта выступать до тех пор, пока он подпольным путём, не считающимся открытой войной, овладевает веё новыми странами. Но для завершения окончательной победы ему необходимо установление в мире некоего „Принципа"...

А именно: захваченные коммунизмом страны не смеют уже сопротивляться "ни мечом, ни ножом, ни винтовкой". И это для их же пользы, дабы не втянуть их в кровопролитную

„безрассудную" борьбу. Справедливо сказано: "Не пожелаем ни революции, ни контрреволюции даже врагам!" (Солженицын).* Всякие революции, контрреволюции удавались тысячелетиями, а вот против коммунизма — самого худшего строя в истории человечества — удаться не могут; никогда! Это надо закрепить в умах раз навсегда, *принципиально*. Это, впрочем, находится и в согласии с "борьбой за права человека". И раньше, но особенно на "Сахаровском Слушании" в Копенгагене подчёркнуто: "Amnesty International" и "Комитеты Защиты Прав Человека" защищают исключительно неповинные жертвы диктатуры и террора, но отнюдь не лиц, виновных в замыслах или действиях по свержению диктатуры, или в насильственной борьбе с террором. Как это сказал Сахаров (см. "О стране и мире", стр. 71): "Я являюсь... принципиальным противником насильственных изменений социального строя...Все мы должны набраться терпения и терпимости, но нельзя призывать наших людей к жертвам" (стр. 34). В этом смысле существует множество мудрых назиданий и подкрепляющих их аргументов. Вот, например, только что приехавший на Запад из Москвы диссидент Амальрик, в беседе с корреспондентом парижской польской "Культуры", даёт такой рецепт ("Культура", сентябрь 1976. Стр. 102):

"Польша могла бы играть большую роль на международной арене, если бы этому не препятствовал конфликт между народом и режимом. Правительство чувствует себя неуверенно и ищет крепкой связи с Москвой. А вот в Румынии наоборот: народ беспрекословно подчиняется правительству, и потому Чаушеску может вести относительно независимую от Москвы политику...". Конечно, так оно и есть. С тем лишь добавлением, что румынский коммунизм самый скверный в Советском Блоке! Но если ему беспрекословно подчиняются, выходит и для народа выгода...

Нет, мои соотечественники не соглашаются со мною в том, что первым врагом каждого народа является коммунизм собственного народа. Наоборот! Лондонский "Дзенник Польский" от 6 августа 1976 г. высказывает следующее мнение:

*„Из-Под Глыб", стр. 17.

"Кто может сомневаться в том, что если бы не русские тиски, то и польские коммунисты искали бы единства с кардиналом Вышинским и с народом; но это невозможно под сапогом и обухом России..." — Значит свои коммунисты в душе хороши, поскольку они "польские"; а истинным врагом является лишь "Россия"... Такого же мнения держатся и представители многих других национальностей. Это уж по линии подстрекаемого "национализма"; его-то современный коммунизм сумеет использовать сегодня более успешно, чем "классовую борьбу". Если им умело манипулировать, он рентабелен не только в странах Африки и Азии... Но оставим покамест вопрос национализма, как тактического средства в руках коммунизма.

Спрашивается другое. Спрашивается, при чём тут "Запад"? И на какой именно "Запад" возлагаются надежды? Что он будто бы заинтересован в том, чтобы изгнать из других стран коммунистов (и готов даже за это священное дело проливать свою кровь?!), хотя эти страны, а в том числе и мы сами!... — "набрались терпения и терпимости" по отношению к "своим" коммунистам, и не только не собираемся их прогонять насильственным образом, но к тому же ещё клянёмся перед Богом и миром священной клятвой, что этого делать никогда не будем! Ибо это было бы и глупо, и безрассудно, и даже глубоко преступно ввиду возможного кровопролития. А мы-то проливать кровь, во всяком случае, не намерены. Значит, пусть проливают американцы и другие "западники". (За нас-то?)

У нас — говорят — нет средств для свержения коммунистического строя. Казалось бы, стопроцентная логика. Но, как справедливо отмечает В. Ингул ("Часовой", октябрь 1976): "А между тем, забывается одно: в изменениях хода событий решающее значение имеют не средства, а идеи; к созревшей идее средства к её осуществлению притекают, можно сказать, сами собой, неудержимым потоком и во многих вариациях — выбирай только и не жди...".

Да, мне тоже кажется, что главное — идея, а средства — это потом. И мне ещё кажется, что установление идеологического „принципа": не сопротивляться силой, ни под каким предлогом, "собственной", уже водворённой коммунистической власти — является самым опасным, если не самым страшным принципом,

возвещённым когда либо в мире с 1918 года по сей день, страшным для всего свободного мира. Если он, этот принцип, станет лозунгом людей, даже признанных за "вождей антикоммунизма", он превратится в небывалую победу Международного Коммунизма во всех его не только нынешних, но и будущих захватах.

Иосиф Мацкевич

РОКОВЫЕ ВОЙНЫ РОССИИ

В своем знаменитом сочинении "О праве войны и мира", Гуго Гроций делит войны на справедливые и несправедливые. Сейчас, эта библейско-евангельская методология оставлена. Война признана "уделом человечества", его вечной спутницей и в ней усмотрено нечто мистическое. В древности эту мистику чувствовали острее, чем в наши дни. Китайский трактат Сун-Цзы, написаный две с половиной тысячи лет тому назад, начинается словами: "Война это великое дело для государства, это путь жизни и смерти, это путь существования и гибели". Девятнадцатый и двадцатый века с их неслыханными катастрофами обострили внимание к роковой природе войн. Если осталась еще возможность как-то классифицировать их, то только по принципу разумности и неразумности.

В истории новой Европы наблюдаются две великих страны прямо противоположных друг другу по характеру их войн: — Англия, не начинавшая ни одной войны без соображения строгой ее целесообразности и надобности для государства и — Россия, вступавшая в войны легко, без особых размышлений. Древняя Русь ни в киевские, ни в московские времена не страдала таким легкомыслием. Не видим его и в войнах Петра Великого. Были у него, иногда, просчеты и неудачи чисто военного характера (в 1711 г., на Пруте, чуть не попал в плен к туркам), но в своих походах руководился целями практическими, продиктованными нуждами государства.

Редакция не разделяет столь категорической точки зрения автора. Статья печатается в порядке дискуссии. РЕД.

Совсем другой стиль войн начался после его смерти. Неизвестно, по каким соображениям затевались войны в царствование его племянницы Анны Ивановны. В Крыму и под турецкими крепостями уложено было до 100 тысяч русских солдат, истрачено много миллионов рублей, а мирный договор был таков, что согласно ему России запрещалось иметь военные и торговые суда на Черном море. Азов хоть и уступлен был России, но без укреплений. Они должны были быть срыты. Даже императорский титул русской царицы не был признан Турцией. "Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры, — говорит В. О. Ключевский — но такого постыдно-смешного договора, как белградский 1739 г. ей заключать еще не доводилось".

Оно и не удивительно. Мир заключали не русские дипломаты, а поручено это было иностранцу Вильневу — французскому послу в Константинополе — явному врагу России. За оказанные им услуги он получил вексель в 15 тысяч талеров и Андреевский орден, а его сожительница — бриллиантовый перстень.

Не лучше была внешняя политика императрицы Елизаветы Петровны — дочери Петра Великого. Стараниями французской и австрийской дипломатии ее втянули в Семилетнюю войну совершенно нам ненужную и не касавшуюся России. Русские войска под Куннерсдорфом нанесли Фридриху Второму сокрушительное поражение, но кроме потери нескольких тысяч солдат и огромных расходов, никакой выгоды России от этой войны не было. Да никаких выгод и не искали. То был, как бы, русский подарок Австрии.

По словам графа Кауница, тогдашнего канцлера австрийской империи, "политика России истекает не из действительных ее интересов, а зависит от индивидуального расположения отдельных лиц". В этом и заключался новый стиль русской внешней политики и войн в послепетровские времена. Сегодня приходило на ум послать армию в Пруссию против Фридриха Второго, завтра — в Италию для изгнания оттуда французов, послезавтра приказ: "Донскому и Уральскому казачьим войскам собираться в полки, идти в Индию и завоевать оную". На что нам Индия — никто не знал. Знал только Первый

Консул Франции Наполеон Бонапарт — вдохновитель Павла Первого. Чем- то покорил он сердце русского царя и нашел в нем поклонника своего плана сокрушения Англии, с которой боролся и которую никак не мог уязвить по причине ее островного положения. Уязвимое место усмотрел в английских колониях — в Индии. На нее и убедил Павла направить своих казаков. Сам Павел, чуть не на другой же день задушен был собственными приближенными. Индия не пострадала. Но приказ его навсегда останется свидетельством одной из роковых болезней старой русской государственности. Не лучшее ли это подтверждение слов Кауница об "отдельных лицах"? Галлерея их тянется чуть не через все два последних столетия. Огромная страна шла на поводу у чужой дипломатии, становилась жертвой родственных и дружеских связей царской фамилии и навеянных извне политических фантасмагорий. В своем положении неофита, Россия не имела никаких специальных интересов на Западе и до наступления культурной и экономической зрелости ей надлежало воздерживаться от политической активности, не вмешиваться в европейские распри. Но вопреки всему она как раз усердствовала в этом направлении.

Похоже, что весь одиум безумного приказа о завоевании Индии, Павел Первый передал своим старшим сыновьям, царствовавшим после него — Александру и Николаю. Оба вошли в историю кровопролитными, но ненужными для страны войнами. Вместо накапливания хозяйственных и культурных сил, совершенствования армии, ослабления внутренних противоречий, проведения давно назревших реформ — они безрассудно расходовали энергию империи на разорительные, ничем не оправданные войны.

Безусловно спросят: "Как?.. И Александр Первый, с именем которого связана эпопея борьбы с Наполеоном?". Да, и он. Эпитет "благословенный" и столетняя патриотическая легенда, окружавшая его имя, затруднили исторической науке работу по реставрации подлинного облика этого царя. Самая ненужная, самая кровопролитная, самая разорительная для России из войн 19 века была именно война его с Наполеоном. Ее часто называют "народной". Это верно лишь в том смысле, что народ

вынес ее на своих плечах и освятил своей кровью в боях и походах. Но по замыслу, по ненужности, по пренебрежению к национальным интересам, эта война — одна из самых неоправданных.

Я говорю "война", хотя это были две, если не три войны, но до того тесно связанные между собой и разделенные такими короткими интервалами, что их можно считать за одну. Все мыслящие русские люди охвачены были тревогой, когда в 1805 году она началась. "Никогда не забуду своих горестных предчувствий, — писал впоследствии Карамзин, — когда я страдая в тяжкой болезни, услышал о походе нашего войска... Россия привела в движение все свои силы, чтобы помогать Англии и Вене, т. е. служить им орудием в их злобе на Францию без всякой особенной для себя выгоды.".

Россия в начале XIX века стояла в стороне от потрясавших Европу страстей и событий. Они ее не касались. При наличии ясной политической линии ей не трудно было бы уклониться от всякого вмешательства в тогдашние распри. Конечно, антинаполеоновская коалиция, особенно англичане, всячески обхаживали ее в своих целях, но никто не в силах был бы принудить ее вступить в эту коалицию, не будь у нее самой такого желания. Оставшись зрительницей всего происходящего, она сэкономила бы силы для внутреннего своего развития. Это тем более, что волнения тогдашней Европы не имели к ней никакого касательства. Тем не менее оказалось, что Император Александр I не только жаждал такого вмешательства, но горел желанием сыграть роль в Европе. Ужасные войны, наполняющие его царствование, коренились в личности этого самодержца, в завладевшей им страсти. В жертву ей принесены были сотни тысяч жизней, восемь разоренных губерний и сожженная столица государства. Наполеон в это время был уже императором, готовился ко вторжению в Англию через Ламанш; ни о каком походе в Россию не думал. Сиди она смирно — никто бы ее пальцем не тронул. Но русскому императору не сиделось смирно. Он ищет предлога к открытому разрыву мирных отношений с Францией. В 1804 году происходит расстрел во рву Венсенского замка одного из членов низложенной династии

Бурбонов герцога Энгиенского, схваченного на территории Бадена. Монархическая Европа возмущена. Но больше всех возмущался и громче всех протестовал Александр. Он выслал из Петербурга французского посла Эдувиля и отправил ноту Наполеону, обвиняя его в нарушении неприкосновенности баденской территории. Какое ему было дело до баденской территории и почему именно он счел себя вправе выступить защитником ее чести?

Сейчас, больше чем через полтораста лет, не всякому понятно его желание ссоры с Наполеоном. Не герцог Энгиенский был тому причиной и не русские помещики, заинтересованные, будто бы, в сбыте на английском рынке продуктов своего сельского хозяйства.

Вражда его к Наполеону — явление исключительное, почти единственное в истории. Она встречается, разве что в шекспировских драмах. Это нечто вроде соперничества Тулла Ауфвидия с Кориоланом или принца Генриха с сэром Перси Хотспер.

"Двум звездам не блистать в одной орбите
И принц Уэльский вместе с Гарри Перси
Не могут властвовать в одной стране".

Александр Павлович был человеком непомерного честолюбия. Смолоду завидовал славе Наполеона и втайне мечтал затмить ее своей собственной славой. "Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать". Сестре своей Марии Павловне говорил: "Рано или поздно один из нас должен уйти".

*

Всем известно, чем кончилась война 1804 года. Русско-австрийские войска потерпели полный разгром под Аустерлицем. Русские разбиты были, также, под Фридландом. Австрия и Пруссия капитулировали. Александр остался один и должен был мириться с соперником на условиях достаточно унизительных. Наполеон стал владыкой Европы. Проучив Александра, он превратил его союзников, Пруссию и Австрию, в своих покорных вассалов, дрожавших перед грозным победителем. Александру пришлось смирить свой воинский пыл. Но и после

этого он дал столько доказательств вражды к Наполеону и зародил в нем столько сомнений в своей лойяльности, что французский император решил предупредить опасность с этой стороны путем сокрушения, раз навсегда, северного колосса. Началось знаменитое нашествие его на Москву.

Могло ли оно быть предотвращено? Все ли было сделано для этого императором Александром? Вторжения, конечно, могло не быть, не раздражай Александр своим поведением корсиканца и не вызывай у него подозрений. Конечно, и пруссаки, и австрийцы, и поляки, и все "двунадесять языков", в силу вассальной зависимости, шли с ним вместе. Здесь нет необходимости описывать эту войну, она хорошо всем известна. Гораздо больший интерес для нашей темы представляет ее финал.

В старых учебниках истории, гибель Великой Армии рассматривалась, обычно, как сигнал для восстания всей покоренной Наполеоном Европы. Пруссия, Австрия, все многочисленные княжества и земли поднялись, будто бы, против своего поработителя. Это сплошная легенда. Ни Пруссия, ни Австрия пальцем не пошевелили. Гипноз имени Наполеона был таков, что никто не дерзнул поднять оружия на корсиканского льва, даже смертельно раненого. Три месяца понадобилось императору Александру, чтобы уговорить прусского короля подняться ради собственного освобождения. Хитрую же Австрию удалось привлечь к союзу только через семь с половиной месяцев. Уламывая тех и других, Александр вынужден был приносить им всевозможные жертвы. Европа не решалась на освободительную войну. Даже Англия — заклятый враг Наполеона, настаивала на мире. Но царь, изгнав врага из российских пределов, призывал всех к свержению ига и к походу на Париж. Против этого решительно высказывался сам фельдмаршал Кутузов — главнокомандующий русской армии. — "Наша территория освобождена, а другие пусть сами себя освобождают". Вместе со многими видными соотечественниками он убежден был в том, что окончательное уничтожение Наполеона невыгодно для России. Поход на Париж 1813-14г. был так же не нужен ей, как не нужен поход 1805 г. Но он нужен был Александру. С

исключительным дипломатическим талантом и энергией сколачивал он новую коалицию против Наполеона. На этот раз он был ее душой и руководителем.

*

Внешняя политика Николая I была такая же. При нем, вмешательство в чужие войны — (кому-то помогать, кого-то освобождать) вошло в систему. Зачем-то послали в 1827 г. русский флот к Наварину в помощь английскому и французскому, поддерживавшим греков в их борьбе с Махмудом II. Англичане и французы делали это в своих торговых целях, тогда как у России таких целей не было.

Столь же мало объяснимой была операция 1833 г., когда опять послан был на Босфор русский флот и десять тысяч русских войск в помощь турецкому султану против восставшего на него египетского паши — его вассала. Сам по себе этот демарш не сопровождался военным столкновением и пролитием крови, закончился удачным Ункиар-Искелесским миром, но с какой стати было затевать рискованное предприятие, ничего не обещавшее России, но грозившее ей серьезным конфликтом с Англией и с Францией? Подлинным шедевром николаевской политики было знаменитое подавление Венгерского восстания в 1849 г. Венгерцы населяли чуть не половину Австрийской империи. Отделение их от Австрии наносило ей непоправимый удар и превращало во второстепенное государство. Имперская роль Австрии была бы кончена навсегда, и Россия избавлена была бы от этого коварного союзника, бывшего всегда ее тайным врагом. И не стоило бы это ей ни одного рубля, ни одного солдата. Надо было только спокойно ждать. Венгерцы нашли достаточно собственных сил, чтобы свергнуть австрийское иго. В их лице Россия нашла бы хороших друзей. Но в Фельдмаршальском зале Зимнего Дворца в Петербурге давно повешена и до сих пор, может быть, висит громадная картина в золоченой раме, изображающая капитуляцию венгерской национальной армии и сдачу ее русскому фельдмаршалу Паскевичу при Виллагоше. Разбив австрийцев и уже почувствовав себя свободными, они сокрушены были стотысяч

ной армией Паскевича и вынуждены были вернуться в прежнюю зависимость от Австрии. Никогда столь откровенно и столь недостойно национальные интересы не приносились в жертву отвлеченному монархическому принципу, понятому самым нелепым образом. Враги России не преминули объявить ее "европейским жандармом", и смыть это клеймо было уже невозможно.

Николай Павлович позднее понял ошибку своей услужливости. Лет через пять, в разговоре с графом Ржевусским, сказал: "Самым глупым польским королем был Ян Собесский потому, что освободил Вену от турок, а самый глупый из русских государей — я, потому, что помог австрийцам подавить венгерский мятеж".

Признанная здесь "глупость" была не единственной и не последней. Ее превзошла своими масштабами Крымская война, затеянная с предельным легкомыслием. У Николая Павловича была навязчивая идея — раздел Турции. При этом, он никогда не задавался вопросом: по силам ли это ему? Ни для кого этот вопрос не был более обязательным, чем для русского императора. Его военный флот был несравненно слабее флотов Англии и Франции, а армия могла производить впечатление только своей численностью, шагистикой и природной храбростью русского солдата. Вооружение ее было скудное и отсталое. Еще более отсталым было военное искусство и образованность генералов, в чем ясно убедились французы в битве при Альме.

Всякому прозорливому дипломату того времени ясно было, что "разделить" Турцию без участия, по крайней мере, без согласия великих держав — невозможно. Николай знал, что Англия, Франция и Австрия будут противиться разделу; им не для чего расчленять Турцию. Но на протяжении всего своего царствования он старался навязать им эту идею.

В 1833 г. в Мюнхенгреце спросил князя Меттерниха — "Что вы думаете о турке? Это больной человек, не так ли?". В 1844 г., при посещении Англии, высказался в беседе с лордом Эбердином прямее: — "Турция умирающий человек. Мы можем стремиться сохранить ей жизнь, но это нам не удастся. Она

должна умереть и она умрет". Наконец, вечером 9 января 1853 г., незадолго до войны, появившись на рауте во дворце великой княгини Елены Павловны, император подойдя к английскому послу лорду Сеймуру, завел в присутствии всего дипломатического корпуса разговор на любимую тему: "Турция больной человек... Надо заблаговременно сговориться...". И тут же предложил план раздела. Беседа эта сразу стала известной в Лондоне и в Париже. А в Париже, к тому времени создался климат чрезвычайно неблагоприятный для русского императора. К раздражению, вызванному "турецкой" темой, прибавилась обида, нанесенная Луи Бонапарту, совершившему 2 декабря 1851 г. государственный переворот и оказавшемуся у власти под именем императора Наполеона III. При всех монархических дворах Европы возникли дебаты: — именовать ли его отныне "дорогим братом", как это повелось среди государей, или только "добрым другом"?

Все монархи сошлись на "дорогом брате", один русский царь отказал в "братстве", чем и нажил себе врага. Пруссия и Австрия, сыгравшие провокационную роль в обострении конфликта, тайно подогревали его. Особенной остроты достиг он с возникновением нового мотива — с "ключей от гроба Господня". Кому быть их хранителем? Несмотря на то, что иерархи христианских церквей (папа Пий IX, московский митрополит Филарет) не видели тут никакой причины для соперничества и проявили полное спокойствие, Наполеон III сделал из этого способ ущемления международного престижа Николая. По его представлению, султан отобрал ключи Вифлеемского храма от православных греков и передал латинянам. То был явный вызов русскому царю, покровителю православия. Николай Павлович потребовал от султана восстановления прав православных, но получил отказ. Тогда он ввел войска в Молдавию и Валахию, находившихся под властью султана. Турция объявила ему войну, в которую вступили вскоре Франция, Англия и Австрия. Так началась знаменитая "Крымская" война — такая же нелепая, такая же роковая для русского народа, для русского будущего, как все прежние, подобные ей.

Со смертью Николая I утихла на некоторое время страсть затевать войны необдуманно. Новый царь Александр II занялся наконец, внутренними, давно назревшими реформами. Но даже его царствование не могло обойтись вовсе без войн, хотя и не таких грандиозных, как Крымская. Только в правление Александра III Россия отдохнула от них. И тут оказалось, что достаточно России не хотеть и не провоцировать войны, чтобы ее и не было. Александр III был убежденным ее противником.

*

Пагубные страсти вновь открылись в царствование последнего царя. Если все войны Николая I, как и его покойного брата Александра, имели единственным источником своего возникновения — волю самодержца, то при слабовольном Николае II видную роль стало играть сановное окружение, высшее военное начальство и даже "вневедомственные влияния".

Министр Гирс жаловался графу Витте: "Беда с военными, которые непременно хотят создавать события, вызывающие войну". Не прошло и пяти лет со дня коронации нового царя, как начались разговоры о захвате Босфора. Обручев — глава генерального штаба, хотел захватить Босфор, двигаясь туда на плотах.

Александр III не давал хода столь неуместным темам и разговорам. При Николае II они расцвели. Сам император увлечен был босфорской затеей и дал санкцию на ее осуществление. Дело дошло до того, что Нелидов уже поехал в Константинополь, чтобы сделать нужные приготовления и дать оттуда сигнал. Расстроил все Витте, доказавший абсурдность и вредность замысла. "Спаси нас Бог!" — воскликнул Победоносцев, услышав о безумном проекте. А "вневедомственные влияния" несмотря ни на что росли. Появился Безобразов, сделанный статс-секретарем, начал подбор в государственный аппарат таких же безответственных дельцов, как он сам, и повел свою "дальневосточную политику". Учреждение наместничества на Дальнем Востоке во главе с Алексеевым придало этой политике откровенно авантюрный колониальный характер. Когда немцы захватили Киао-Чао, царское правительство решило

захватить Порт-Артур и Да-Лянь-Ван, не по каким-либо веским соображениям, а единственно по логике: "раз немцы грабят, то и нам надо". Витте, предвидевший роковые последствия такого шага, не скрывал своей тревоги.

Дальневосточная авантюра потребовала создания там русского флота, на постройку которого пришлось отпустить 90 миллионов рублей "вне государственной росписи". Японцы, раздраженные русской агрессией, потребовали отозвания русских воинских сил с Дальнего Востока. Но в Петербурге долгое время не замечали этого требования. Тогда последовало нападение на Порт-Артур и потопление нашего флота. Спровоцированная безответственными авантюристами, при сочувствии и благоволении царя, стоившая России нескольких сотен тысяч бойцов, всего дальневосточного флота, нескольких миллиардов рублей, русско-японская война началась. Преступность властей, доведших до нее государство, сознавалась всей страной. С большим трудом, с потерями и с позором удалось из нее выпутаться.

Но рок, довлевший над всем царствованием Николая II, не осенил прозрением — ни царя, ни его окружения. Мышление их оказалось безнадежно отравленным военным дурманом. Вместо того, чтобы получив жестокий урок, решительно взять курс на уклонение от всяких войн, царь и правительство не мыслили внешней политики иначе, как в виде присоединения к той или иной коалиции великих держав.

Пока Россия покрывала себя позором на Дальнем Востоке, в Европе складывались стороны будущей мировой войны: — Германия, Австрия, к которым тяготела Турция, и в противовес им Англо-Французский блок (Антанта). Та и другая сторона была кровно заинтересована в привлечении на свою сторону России.

В самый разгар русских неудач на Дальнем Востоке, император Николай II, чтобы рассеяться, отправился в Финский залив на своей яхте "Полярная Звезда". Когда он остановился в Бьоркской бухте, туда неожиданно пришла яхта "Гогенцоллерн". Император Вильгельм знал слабую податливую натуру Николая и выбрав удачный момент для свидания,

уговорил его подписать договор, означавший отступление от давно заключенного франко-русского союза и сближение с Германией. Узнав об этом, граф Ламсдорф — министр иностранных дел и некоторые другие министры, пришли в ужас. Поступок царя означал настоящий дипломатический скандал. Обанкротившаяся вследствие войны и нуждавшаяся в деньгах Россия могла получить их только во Франции. Приложены были все усилия, чтобы аннулировать Бьоркский договор. С течением времени это удалось, хотя и означало порчу отношений с Германией. Эпизод этот — лучшее свидетельство того, сколь твердыми принципами руководилась русская внешняя политика.

Встает самый важный вопрос: могла ли Россия не вступать в мировую войну, принесшую ей гибель? В какой то мере — это область гаданий. И все же несмотря на феноменальное легкомыслие вершителей русской внешней политики у нее имелась возможность остаться в стороне от армагедонской битвы народов. Надо было только сбросить со своего корабля балласт, могущий его потопить. Надо было отказаться от давнишней роли покровительницы славян. Южные славяне веками жили вдали от России — в неметчине, в туретчине, никакой особой близости с Россией у них не было. Объединить их с нею территориально и государственно даже мысли не возникало. Когда их насильно исламизировали или католицизировали — православная церковь и царское правительство ничего поделать не могли. История и география сделали славянский вопрос неразрешимым. Отсюда бесполезность и вредность всех русских попыток разрешить его мечем. России это сулило всегда тяжелую войну с западными державами, а то и конфуз, вроде того, что испытали русские в результате заступничества за болгар.

В 1877 году турки учинили невиданную резню в этой части своей империи, не щадя ни женщин, ни детей. Гладстон написал свою знаменитую книгу об этих зверствах, в надежде пробудить совесть цивилизованной Европы, спокойно взиравшей на безчеловечное истребление болгар. Но ни книги, ни речи не помогали. Помогло оружие, поднятое против турок императором Александром II. Но спасенные от гибели русскими войсками,

болгары чуть не на другой же день превратились во врагов России.

Факт этот, хорошо известный деятелям эпохи Николая II, не послужил предостережением и не предотвратил в 1914 году русского заступничества за Сербию, которую Австрия намеревалась анексировать. Это из-за нее Россия объявила мобилизацию, послужившую предлогом для выступления Германии и начала мировой войны. Это и был "путь смерти".

Между тем, не прошло года, как в ставке русского верховного главнокомандующего стало известно, что Сербия, из-за которой успели погибнуть сотни тысяч русских солдат, готова заключить мир и перейти на сторону врагов.*

Этого не случилось, но духом балканских измен и недальновидностью русской дипломатии повеяло ясно. Исторической науке предстоит сказать: какое место, в числе причин погубивших Россию, должно быть отведено ее бессмысленным войнам?

Н. Ульянов

* Об этом сообщали Сазонову Базили и кн. Кудашев — представители министерства иностранных дел в Ставке.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

М. С. ЦЕТЛИНА

В Нью Йорке 22 октября, в глубокой старости, на 94-м году жизни скончалась Мария Самойловна Цетлина. "Новый Журнал" и я лично должны с любовью вспомнить Марию Самойловну, сыгравшую большую роль в жизни журнала. В 1942 г. в Нью Йорке муж М. С. — писатель М. О. Цетлин на свои средства начал издание "Нового Журнала", в чем большую помощь ему оказывала Мария Самойловна. Когда в 1945 г. М. О. скончался, Мария Самойловна продолжала начатое им дело издания свободного русского "толстого" журнала, отдавая этому много сил, средств и времени.

После смерти М. О. редактором журнала стал проф. М. М. Карпович. Но М. М. был крайне переобременен в Гарвардском Университете, где читал два курса лекций и был деканом Славянского Отделения (к тому ж жена его — Татьяна Николаевна была тяжело больна). Поэтому на "Н. Ж." у М. М. почти не оставалось сил и задуманный, как "толстый" трехмесячник, в 1949-м и 1950-м годах "Новый Журнал" вышел только двумя книгами в год. Марию Самойловну это волновало и она искала Михаилу Михайловичу помощь.

В 1950-м году я с женой приехали из Парижа в Нью Йорк и Мария Самойловна вскоре предложила мне войти в редакцию. Я согласился. Мы встретились с М. М. Карповичем и я стал "секретарем редакции", взяв на себя бóльшую часть работы. И с 1951 года журнал снова бесперебойно стал трехмесячником. М. С. оставалась издателем до тех пор пока Фордовский фонд

материально не пришел журналу на помощь. Тогда М. С. стала издавать другой — чисто-литературный — журнал "Опыты".

М. С. родилась в Москве в 1882 году. Окончила университет заграницей, в Берне. Всю свою молодость была связана с партией социалистов-революционеров, была арестована, была и в заключении. Первым браком М. С. была замужем за Н. Д Авксентьевым (в 1917 году – министр Временного Правительства). В 1910 году вышла замуж за писателя и поэта М. О. Цетлина. В 1917 году Цетлины эмигрировали во Францию, в Париж, и здесь оба они играли большую роль в русской парижской культурной жизни. Были очень близки с многими писателями (Бунин, Зайцев, Алданов, Ал. Толстой и др.) и общественно-политическими деятелями (Милюков, Степун, Бунаков-Фондаминский, Зензинов, Руднев и др.) В издании известного русского толстого журнала "Современные Записки" М. С. принимала самое живое участие. Дом Цетлиных в Париже был неким русским литературно-общественным салоном. Многим писателям М. С. помогала, многих поддерживала. Когда Бунин эмигрировал из Одессы в Константинополь и был там в состоянии полуотчаяния, он неожиданно получил от Цетлиных телеграфом въездную визу во Францию и помощь. Многие русские зарубежные писатели могут вспомнить М. С. добрым словом.

После Второй Мировой войны М. С. помогала многим русским "перемещенным лицам", вытаскивая их из Германии в США. При чем для М. С. не было даже вопроса: "власовец", не "власовец", она щедро помогала всем русским, попавшим в беду. Помню, как М. С. вытащила из Германии в США одного хорошего, талантливого человека, к сожалению, во время войны писавшего довольно непривлекательные статьи в русской прогитлеровской печати. Когда он пришел ко мне я за дружеским чаем сказал ему: — "Ну, вот видите, как вас Бог наказал — вытащила-то вас из Германии все-таки Мария Самойловна Цетлина!". — "Уж и не говорите, не говорите, — замахал он руками, — чудесная женщина, просто спасла, и я ей этого никогда не забуду, без ее афитдевита не вырвались бы!".

Мария Самойловна была на редкость человечна, помогая людям, без разделения их на эллинов и иудеев, на известных и неизвестных. Она душевно жила лучшими традициями русской

интеллигенции и русской культуры. Да будет легка ей американская земля! Марию Самойловну многие и многие русские будут помнить за добро, теплоту и человечность.

Роман Гуль

Е. М. МИЦКЕВИЧ

Екатерина Петровна Мицкевич родилась 14 июня 1903 года в Петербурге в семье окружного прокурора Петра Николаевича Якоби и Сусанны Яковлевны ур. Лихачевой. Училась в гимназии кн. Оболенской в Петербурге, и уже в юности обнаружила способности в музыке и поэзии. Классической версификации обучилась у своего отца, напечатавшего ряд трудов о поэзии и собственных произведений в неоклассическом стиле. После революции переселилась с семьей в Ригу, где закончила Лишинскую гимназию. В 1923 году вышла замуж за Николая Адамовича Мицкевича и жила в его имении до начала 2-й мировой войны, в Бальдоне, где и сформировалось ее поэтическое кредо и манера. С оккупацей советскими войсками Латвии, переселилась с мужем, дочерью и сыном в западную Польшу, Познань, а оттуда, к концу войны в Мондзе, Австрия. В 1952 году семья переехала в Коннетикут, США, где Екатерина Петровна жила почти безвыездно до конца жизни, 28 апреля 1976 года, в Нью Хейвене.

В силу разных обстоятельств, поэтический дар у Е. М. получил большее развитие чем музыкальный, живописный или академический. Как поэт она была необычайно плодотворна: в ее архиве около двух тысяч пьес. Однако, Е. М. остро сознавала свою обособленность от главного русла, вернее, наиболее заметных течений современной русской лирики. Будучи поэтом классического канона, почти не касаясь всенароднозлободневных тем, ее мало привлекали и формальные эксперименты; в то же время, многосложная чувствительность сближает ее тематику с поздними модернистами. Однако,

ощущая с ними большую стилистическую рознь, и не разделяя вкусов журналистической поэзии, Е. М. никогда не примыкала ни к каким поэтическим группам, и не искала читателя. Она ни разу не напечатала ни одного стихотворения, никогда не выступала как поэт. Отсутствие контакта с читателем ее удручало, но тем самым усиливало ее желание стоять вне времени.

Интенсивное общение с людьми она находила используя свой музыкальный дар как церковный регент. Еще в Австрии основывала хоры в беженских приходах, в 1950-52 годах руководила архиерейским хором в Зальцбурге, а в Америке помогала в св. Николаевской церкви и организовала и руководила хором, до сердечного заболевания, в новоосновании храме Сретения Господня в г. Стратфорде, Коннетикут.

Эту заметку я хотел бы закончить стихотворением Е. М. впервые здесь печатающимся, первым ее стихотворением в печати вообще. Очень горжусь тем, что я раньше всех публикую этого поэта.

Ты, уходя, забыл свой манускрипт,
Рассеянный Февраль! но дружба между нами:
Я врос в тебя, как в воздух эвкалипт
Ланцетовидными листами.
И мой рифмованный портрет,
Как выжженный на стали кислотою —
Ничто иное, как предмет,
Забытый на столе тобою.

Алексис Раннит, Иельский Университет

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый господин редактор.

Будучи недавним эмигрантом из СССР я хочу с особым удовольствием отметить очень высокий уровень "Нового Журнала", издаваемого под Вашим руководством. Ещё в России мне, бывавшему в кругах инакомыслящих, попадались в руки отдельные книги "Нового Журнала", и каждый раз я испытывал при чтении его удовольствие и гордость за Ваше издание.

Можно без преувеличения сказать, что в данный момент по широте охватываемых проблем, основательности подхода к ним и толерантности "Новый Журнал", является лучшим русским периодическим изданием за рубежом. Тем более отрадно, что при столь высоком научном, критическом и художественном уровне журнала в целом, в нём нередко встречаются особо блестящие литературоведческие и социологические работы на том высоком уровне, которым не могут похвастаться многие журналы.

Можно многое перечислить из материалов, опубликованных в "Новом Журнале", которые -- как с точки зрения качества своего, так и в плане созданной Вами атмосферы доброжелательности и свободной дискуссии -- делают Ваше издание достойным посредником в эстафете поколений, именно благодаря которой остаётся надежда, что русская культура никогда не погибнет, но выживет даже в нелёгких условиях эмиграции. Почти в каждом выпуске "Нового Журнала" обнаруживаешь свежие и интересные вещи. В 122 томе, например, я хочу отметить статью В. Зубова "Киноманы и киноклубы в СССР".

Мне представляется, что искусство историка (я историк по образованию) или социолога (поскольку в этих, как и в других гуманитарных дисциплинах, наличствует некоторый элемент искусства) заключается отчасти в том, чтобы в любом явлении общественной

жизни, сколь бы незначительным оно ни казалось на первый взгляд, суметь уловить и продемонстрировать суть происходящего процесса. Именно таков анализ темы, разбираемой В. Зубовым. Мне доводилось в СССР сталкиваться с описанным им феноменом, на первый взгляд мало чем интересным. Поэтому могу засвидетельствовать, что положение вещей описано им с совершенной точностью.

Ни для кого не новость, что в СССР существует система натуральных (и духовных) привилегий, хоть и в чрезвычайно замаскированном виде, система, ставшая одним из важнейших рычагов сохранения статус кво. Я немало размышлял об этом в научном плане, стараясь проследить механизм действия этой системы в разных сферах общественной жизни. Статья Зубова раскрыла мне совсем новый аспект проблемы, лишний раз прорисовав необычайную сложность и даже двусмысленность сложившейся в СССР ситуации, когда власти начинают самоё западное влияние использовать для обработки психологии населения в своих интересах. Конечно, нет правил без исключения — отдельные немногие люди из числа описанных Зубовым "киноманов" под влиянием просмотренных западных фильмов могут утвердиться в своей неприязни к советской власти, но я убеждён, что максимальная акция, на которую могут отважиться такие юноши — это бегство из страны при удобном случае, но отнюдь не систематическое участие в демократическом движении, которое не только немедленно лишит их возможности и впредь наслаждаться запретным для простых смертных западным кинематографом, но и вообще превратит их в общественных изгоев — мысль, почти неприемлемая для элитарной (или, по Зубову — псевдоэлитарной) психологии, важнейшая цель которой — душевный "комфорт" и сознание собственного превосходства. Разумеется, я не говорю о "сверхисключениях" (теоретически можно допустить, что и видные диссиденты могли до начала активного инакомыслия быть членами обсуждаемых киноклубов), но в оценке "киноклубства" как массового феномена, в раскрытии его социально- психологической сущности выводы Зубова мне представляются бесспорными.

Статья Зубова очень знаменательна и в другом отношении — в ней очередной раз ставится малопонятная, как я убедился, для западного человека, но, возможно, самая актуальная из вообще существующих, проблема тоталитаризма. К сожалению, даже к самой постановке этой проблемы современная наука делает лишь первые методологические

шаги –- я имею в виду постановку её на общем, историко-социо-психологическом, теоретическом уровне. Это понятно: тоталитаризм есть явление, видимо, почти непостижимое только и сугубо интеллектуальным путём; понимание механизма его, вероятно, обязательно должно идти и через психологический опыт. Таким образом, именно представители нынешней эмиграции могут оказаться призванными разобраться в природе этого исторического монстра, а как я заметил вначале, для понимания его становится существенна каждая мелочь, даже –- в определённой историко-психологической конъюнктуре –- такие, казалось бы, невинные вещи, как киномания и киноклубы.

Мне кажется, что чем больше статей такого качества –- пусть даже иногда в чём-то спорных –- появится в "Новом Журнале", тем лучше. Журнал как сейсмограф улавливает малейшие симптомы и ставит точный диагноз новой стадии в развитии исторической и политической болезни, измучившей Россию. Тем больше надежд на выздоровление её когда-нибудь –- пусть даже не при нашей жизни. И мы, и будущие творцы русской –- подлинной и высокой –- культуры –- будем всегда обязаны Вам, уважаемый господин редактор, за Ваше культурное подвижничество и за то, что Вы сберегаете столь беззаветно ту эстафету, без которой погибли бы и надежды, и оптимизм.

Да поможет Вам Бог в Вашей деятельности!

С благодарностью и искренними пожеланиями здоровья и успехов.

В. Рудич, Иельский Университет

Глубокоуважаемый Господин Редактор!

Не откажите в любезности поместить заметку по поводу наставления г. Н. Веселовским редактора "Нового Журнала" Романа Гуля, что, мол, недопустимо называть "хамом" профессионального писателя (НРСлово от 21 сентября).

Я не сомневаюсь, что большинство русских зарубежных читателей разделяют мнение Романа Гуля, что каждый, кто пытается изобразить в карикатурном виде и облить грязью Пушкина, Гоголя или Достоевского, вполне заслуживает эпитета "хам"; и тем более тот, кто сам применяет подобные эпитеты к нашей родине –- "Россия –- сука!" (Заметим; не –- СССР, а –- Россия), как это сделал Андрей Синявский.

Профессия писателя совсем не дает ему иммунитета от эпитетов, неприятных для его апологетов. В русской независимой прессе частенько называли и называют профессиональных поэтов Маяковского и Демьяна Бедного лизоблюдами и хамами (кстати, назвал их хамами и Есенин), и никто еще не протестовал, что эпитету "хам" не место на страницах журналов и газет.

Искренне Ваш
Николай Нефедов

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Дорогой Шимон Шехтер, с каким удовольствием, с каким наслаждением и смакованием я читаю Вашу "Шехтерезаду". Читаю и завидую: с каким безукоризненным ювелирным мастерством это сделано; и жаль, что книжка такая тонкая, что мало; а с другой стороны грустно, что, наверное, далеко не все ее оценят, потому что она не укладывается ни в какие рамки, она сама по себе — как неповторимое произведение литературного искусства, прочувствовать которое в полной мере могут, наверное, лишь такие безнадежно влюбленные в литературу анахронизмы, как Вы, да я немножко. Благодарю Вас за эти часы, когда выключив к черту телевизор, я читал в тиши Вашу "Шехтерезаду". Многое перечитывал дважды. "Дальше нет ничего" перечитал трижды, пытаясь понять, как это Вы сделали, и почему у меня сдавливало горло и забивало дыхание на этих страницах. Спасибо.

Ваш Анатолий Кузнецов, Лондон

БИБЛИОГРАФИЯ

А. П. ФЕДОСЕЕВ. СОЦИАЛИЗМ И ДИКТАТУРА. Сборник статей. Изд. "Посев". Франкфурт. 1973 (286 стр.).

Книга А. П. Федосеева, словно, интеллектуальным лазером взрезает все основные сферы советской жизни: экономику, промышленность, сельское хозяйство, медицину, науку, строительство, быт населения, условия жизни партийно-бюрократических верхов, военный комплекс.

Идя за автором читатель воочию убеждается, как ошибочность социалистической идеи примата государства над жизнью людей (государственной собственности на средства производства, государственного планирования, государственного контроля над духовной и культурной жизнью) фатально приводит к разрушению всех сторон жизни. Эта же основная предпосылка с другой стороны "приводит к социальному отбору властолюбивых подлецов в управители" (стр. 21-22), к тому, что "порядочные люди просто не могут работать в социалистическом аппарате власти" (стр. 153).

Затрагивая всю совокупность наиболее жизненно важных проблем внутренней жизни СССР, А. П. Федосеев с убедительностью доказывает, что несмотря на неостановимый развал во всех областях, маскируемый усилением эксплуатации населения, "очковтирательством, возведённым в ранг государственной системы" (стр. 163), и прибылями от экономических договоров с демократическими странами Запада, всякие надежды на "конвергенцию, на возможность либерализации и т. д. являются... бессмысленными" (стр. 182), ибо для советских правителей всё это означало бы — собственными руками подписать свой смертный приговор. "Система принципально не может быть

либерализована: либерализация, это путь к её гибели. Можно заставлять волка есть вместо мяса сено, но кончится это тем, что волк либо сдохнет, либо съест кормящего его" (стр. 221). Как бы в роли такого "кормящего" не оказались в конечном итоге благодушные сторонники детанта! Надеяться на постепенное видоизменение советского режима под влиянием политики детанта с предполагаемой им интенсификацией экономических связей — не только нелепо, но и опасно — вот тезис А. П. Федосеева, обращенный к слишком озабоченным экономической выгодой и потому политически недальновидным американским промышленникам, финансистам и политикам. "Американцы, продавая СССР, например, обувь, не подозревают, что продают, по сути дела, стратегические товары. О заводах грузовых автомобилей или тракторов говорить уже и не приходится. Через несколько месяцев они могут превратиться в ракетные и танковые заводы" (стр. 183).

По всей книге разбросаны ценнейшие и описанные с исчерпывающей конкретностью факты, иллюстрирующие выводы автора относительно сущности советской системы. Среди них много реалистического абсурда и трагических курьёзов. Например, мы узнаём, что "промышленность стальных изделий не выпускает "экономичных" профилей... которые весят меньше и облегчают конструкции... Почему? Потому что план этим предприятиям даётся в тоннах, т.е. не в тех единицах, какие нужны в данном случае потребителям. Им нужны литры. Госплан, однако, продолжает 'гнать всё в тоннах' " (стр. 49-50). Или: "Ежегодно миллионы горожан в добровольно-принудительном порядке выезжают в колхозы и совхозы на уборку урожая. Предприятия посылают на уборку и остро необходимый им самим транспорт с шоферами. Сама по себе организация этого дела... отвратительна, а использование людей, посланных на уборку, ещё хуже. Неэффективность таких действий очевидна любому.." (стр. 83-84). Также А. П. Федосеев опровергает миф, завербовавший себе на Западе много верующих, так называемой, "бесплатной медицинской помощи в СССР", фактологически обосновывая мысль, что "все, кто в состоянии, предпочитают ею не пользоваться" (стр. 107). Подобный идиотизм и антигуманизм, мало понятный на Западе, пророс всю ткань советской жизни и хозяйства. И об этом необходимо говорить демократическому миру.

Много внимания уделено в книге попыткам правящей советской

касты укрепить собственную власть путём социальной изоляции страны. "...Управители СССР, как любые управители тюрьмы (особенно такой огромной), примут все меры для максимальной изоляции своих заключённых как от внешнего мира, так и друг от друга." (стр. 187). А. П. Федосеев приводит 16 способов такой изоляции, находящихся в распоряжении советских властей. Эта классификация стратегий изоляции очень ценна, расширяя наши знания о приёмах тоталитарного управления.

Хочется сказать о важном акценте, сделанном А. П. Федосеевым в книге, об акценте, становящемся своевременным предостережением всему Западному миру. "Мечта о завоевании мира любыми средствами, безусловно, остаётся в умах главных управителей СССР, хотя, конечно, вслух об этом никто не скажет" (стр. 129). Федосеев заостряет наше внимание на том, что вся жизнь огромной страны стала придатком к функционированию военного ведомства. "Культ партии, вождя, культ советской армии, вооружённой до зубов всей существующей военной техникой, раздувается невероятно. В сущности, от всего блеска социализма остались только чудовищный военно-промышленный комплекс, колоссальная армия, грозные демонстрации военной техники" (стр. 221-222). Западные государства должны осознать опасность тотальной советской агрессии и быть готовы встретить её подготовленными.

В. Зубов

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ.
Вюрцбург 1975, 367 стр.

Литературоведы, склонные к статистике, могли бы подсчитать все стихотворные цитаты в поэзии Георгия Иванова. Их много, очень много. Чаще всего он заимствует стихи и образы у Лермонтова и Блока. Немало и других: народная ухающая Дубинушка или вариант эмигрантского романса: Замело тебя снегом, Россия... Замело тебя, счастье, снегами... Но только очень наивный читатель назовет Георгия Иванова эклектиком. Чужой материал у него всегда переработан, переосмыслен.

Без Лермонтова и Блока не было бы Георгия Иванова, но может быть без него уже нет и этих двух главных его вдохновителей. Лермонтов готов был над многим иронизировать, но не над звездами,

звуками небес. Блока тоже мучил бес иронии, но в слышимую им *музыку будущего* он продолжал верить даже когда она "ушла из мира", канула во тьме революции.

Георгию Иванову сияли лермонтовские звезды и для него звучала блоковская музыка, но его тьма чернее тьмы Лермонтова и Блока: не знали они, не ведали георгие-ивановского мрака в мировой пустоте. Только он мог так сказать:

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

После Георгия Иванова хорошо перечитывать стихи Лермонтова и Третий том Блока. Их поэзия как-то четче, напряженнее переживается на черном фоне стихов Георгия Иванова (эмигрантского периода). Лермонтов и даже Блок не догадывались, какая гибель грозит не только красоте, но и самому бытию, всему тому, что они символически называли звездами или музыкой. Но: "чем ночь черней, тем звезды ярче" — как лермонтовские звезды, так и блоковские, сверкающие и в мире Георгия Иванова. Правда, Блок предвещал "холод и мрак грядущих дней", пережил апокалипсис русской революции и (после "Двенадцати") потерял волю к жизни, почти замолк, но и он не знал о небытии то, что знал Георгий Иванов.

Кто же Георгий Иванов? — Ничевок (была в России такая секта). Или крайний нигилист? Даже циник? Да, есть в его поэзии и нигилизм, и цинизм, а также и вызов: дескать, пропадай моя телега все четыре колеса! Но есть и другое — предельное отчаяние. Есть и лирическая сила-страсть.

У Георгия Иванова "ночной опыт", который знал верующий Крестовый поэт Испании — Хуан де ла Крус. Знал его и неверующий Шарль Бодлер. Если Хуану в ночи приоткрывался Бог, а кощунствующему Бодлеру только изредка мерещился, то Георгий Иванов и не взывал к Нему из глубины. Но его великое отчаяние метафизично и где-то "граничит" с приближением к Богу.

Отрицания Георгия Иванова жгучие, страстные. Отрицательное электричество в его стихах — по силе напряжения — равно положительному.... Его *минусы* напоминают о том, что есть и должны быть *плюсы*. Он часто упивался небытием, но явно стремился не к небытию, а к недоступному ему, но желанному полному бытию. Кое-что

открывалось Георгию Иванову в антиномиях. Вот как он издевался над поэзией:

Поэзия: искусственная поза,
Условное сиянье звездных чар...

И он же писал:

Стихи и звезды остаются,
А остальное — всё равно.

Сколько раз он говорил о гибели и стихов, и звезд, но всё же именно они *остаются* для него единственной, хотя и обреченной реальностью.

В поэзии Георгия Иванова немало ностальгии. Всё снился ему любимый Петербург, снились вечера "в пышном доме графа Зубова". Сиял в прошлом счастливый Тринадцатый год, когда он воспевал Лоррена и Ватто, фарфор и гравюры, лебедей и голубков. Но никак нельзя сказать, что Георигий Иванов жил прошлым. Он жил настоящим, пусть и очень убогим настоящим в эмигрантском быту. К тому же, вспоминая Неву на Сене он лучше, яснее, *окончательнее* видел золотое минувшее в черном свете сегодняшнего дня. А отчужденность, неприкаянность знали почти все художники и многие ученые, и тема одиночества одна из главных тем всей современной западной литературы.

Прекрасен Петербург в юношеских стихах Георгия Иванова, но может быть, он еще прекрасней хотя бы в этой протокольной лирике (эмигрантского периода):

Ветер с Невы. Леденеющий март.
Площадь. Дворец. Часовые. Штандарт.

В оживающей полуподпольной России любители стихов иногда говорят: их было четверо (больших поэтов, родившихся в конце прошлого века).... Все они погодки. В скобках отмечаю их года рождения: Анна Ахматова (1889), Борис Пастернак (1890), Осип Мандельштам (1891), Марина Цветаева (1892). Я бы сказал: их было пятеро. Пятый Георгий Иванов, родившийся в 1894 г. (умер в 1958 г.).

По разнообразию образов, по космическому изобилию самый богатый из них — Пастернак. Всех стремительнее, динамичнее рвущаяся, взрывающаяся Цветаева. Величава скупая на слова, страстная, но и горестная Ахматова. По-моему ни у кого из русских поэтов после Пушкина не было такой щедрой благодати, как у Мандельштама — нового Псалмопевца. А сила Георгия Иванова в его ощущении небытия, тьмы, в которой все еще так ярко сияют звезды, так волшебно поет, звучит

музыка. Из жара он бросает в холод, который в наше время пронзительнее чуть ли не всех холодов других эпох.

Поэзия этих пяти предопределила два последующих поколения русских поэтов. Среди них немало даровитых оригинальных лириков, но если и не у всех, то у многих как-то меньше электричества, меньше витальности, меньше поэтического "аппетита" и в утверждениях, и в отрицаниях.

Некоторые дружественные Георгию Иванову критики (но не Р. Б. Гуль) иногда стараются его гладко причесать -- смягчают его "негации". Незачем так стараться. Повторяю, минусы в искусстве по силе напряжения, упоения, равны плюсам.

Вот одно из самых "нигилистических" стихотворений Георгия Иванова:

Листья падали, падали, падали
И никто им не мог помешать...
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать.
И неслось светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном успении
Отвратительный вечный покой.

Хорошего мало! Есть и кощунство. Но эти жуткие стихи странным образом бодрят, повышают жизненный тонус, требуют не вечного покоя, а чего же? Может быть вечного *беспокоя*... который приоткрывался Св. Григорию Нисскому в ином мире.

Вообще же, поэты не спасают, редко умудряют, но пробуждают от нашей обывательской спячки, тормошат, нудят, а почему именно, зачем, они сами едва ли знают. Таким *будильником* был и Георгий Иванов -- большой поэт.

Это собрание стихотворений включает все его книги стихов, а также "Посмертный дневник". Некоторые ранние стихи, напр., в "Памятнике славы" едва ли удачны, но и их нужно знать для обозрения пути Георгия Иванова в поэзии. Очень основательны, ценны примечания редакторов -- профессоров В.С. Сечкарева и М.А. Дальтон. Надеемся, что эта книга дойдет и до России, где Георгия Иванова еще мало знают.

Так, Н.Я. Мандельштам судила о нем (несправедливо) только по книге воспоминаний "Петербургские зимы", а не по стихам.

Юрий Иваск

БОРИС НАРЦИССОВ. "ШАХМАТЫ". Стихи. 1975.

Борис Нарциссов занимает в зарубежной поэзии особое, ему по праву принадлежащее, место. Он пишет, как в старину говорили, "кровью сердца", по необходимости высказать себя, а сказать ему есть что, и то, что он говорит, совсем непохоже на то, что говорят другие современные поэты. Все у него умно, но и мучительно прочувствовано. Пожалуй — если уж необходимо сравнивать поэтов — он ближе к Иннокентию Анненскому.

Читая "Шахматы" я не раз вспоминала строки Анненского: Что люк в ту смрадную дыру /Захлопнут не совсем/ (цитирую по памяти).

Конечно, Борис Нарциссов не подражает Анненскому, ни тематически, ни ритмически. Но у него с ним какая-то тайная связь. У него тоже "люк в ту смрадную дыру" захлопнут не совсем, и оттуда беспрестанно выползают "они", страшные и отвратительные, крылатые, "в одеяниях серых до пят" упыри, "костлявые, белые тени".

Мы со всеми ними и с "размахаями", отсутствующими в "Шахматах", давно знакомы по прежним четырем сборникам Бориса Нарциссова. О них он говорит так убедительно, что в них нельзя не верить:

Упыри-то они разновидны,
А сидят они, может, во мне...

— чувствуешь, что это правда, что они действительно сидят в его подсознании, заставляя его испытывать самые невероятные желания, вроде: (Разделю себе скальпелем голову/ Серо-розовый мозг извлеку...).

Стихи о "них" самое замечательное и ценное в "Шахматах". Даже более значительное и ценное, чем написанный совсем в другом ключе цикл "Эстония", в котором много оригинальных и свежих образов. Хотелось бы многое привести из них, но ограничусь этими:

Совершенно жемчужный свет,
Совершенно стеклянная тишь...
. . . . . .
Это северный сон в серебре...

Следует отметить мастерство и строгость Б. Нарциссова в безошибочном выборе слов. Он знает, где нужно оборвать и поставить точку, что так редко свойственно поэтам за рубежом и особенно некоторым в СССР, растекающимся безудержными стихотворными потоками, хотя такая болтливость ничего кроме утомления и скуки у читателя не вызывает.

Тематика "Шахмат" разнообразна. В них много стихов, посвященных модной теме сближения математики и поэзии. Признаюсь, что такие стихи мне, с моей полной неосведомленностью в высшей математике, не очень доступны. Зато меня вполне очаровал Кот, заболевший по собственной вине оттого, что

В ранний час по утру,
По сыру, по мокру
По дорожке с песком
Ходит Кот босиком.

Интересен астрономический цикл "Планеты и Знаки". Особенно остро-современно стихотворение, посвященное луне, которое могло быть написано только в наши дни:

Навеки на луне осталась метка –-
Шаги людей по первозданной пыли....

Отдана в "Шахматах" и дань ретро-авангардной поэзии. Ведь Б. Нарциссов принадлежит к плеяде наших поэтов новаторов, чему свидетельство эти строфы:

До кофейного цвета морёный,
И повсюду тот же узор:
Терракота и тёмно-зеленый
И таких же цветов ковер.

Но с глазами совсем свиноватыми,
И во весь пузатый объем,
Носороги вошли виноватыми
Лицемордами в этот дом.

Но и в этом отделе, озаглавленном in somnis, Б. Нарциссов снова возвращается к своей основной теме ужасов созданного им темного мира:

А на камне /зачем он тут брошен?/
Голый мальчик один сидит.

Он слепой. И рот перекошен.
Он оставлен. Брошен. Забыт.

В заключение укажу на прекрасные переводы с эстонского стихов Алексиса Раннита. Дар переводчика — редкий дар. Читая переводы "Из Алексиса Раннита" забываешь, что это не оригинал, настолько в этих стихах явственно слышится слегка торжественный, классически-спокойный голос А. Раннита, совсем непохожий на голос Б. Нарциссова.

Ирина Одоевцева

ВИКТОР СКОРНЯКОВ. ДВЕРЬ С ФОКУСАМИ. Нью-Йорк. Амиздат. 1976, 96 стр.

Сборник новелл Виктора Скорнякова "Дверь с фокусами" состоит из двух неравных частей. В первой части автор поместил лирико-реалистические новеллы под общим заглавием "Правдоподобные истории". Новеллы второй, меньшей части под общим заглавием "Неправдоподобные истории", напомнят читателю сатирическую научно-фантастическую повесть "Остров безмятежных", опубликованную автором ранее.

В "Правдоподобных историях" читатель найдет обще-человеческие темы, такие как внезапная потеря близких людей, неприспособленность человека в изменившемся мире, беспомощность старости и др. Действие в новеллах этой части обычно происходит в обстановке Нью-Йорка, а иногда на фоне Второй мировой войны или послевоенного времени в Европе. Герои (или анти-герои) Скорнякова чаще всего Ди-Пи или недавно ставшие американцами русские эмигранты. Отдельные характерные черты его героев переходят из новеллы в новеллу. Одинаково интеллигентны, чутки и наблюдательны студент в "Панне Ирене", Василий Иванович в "Счастливчике", Миронушка в "Мистере Питере" и отчасти шахматоман Воронков в "Рабах шахматной королевы". Драматический конфликт часто подчеркивается анекдотичностью структуры и иронией.

Вторая, научно-фантастическая часть сборника, по художественному методу и отчасти по темам отличается от новелл первой части. Действие здесь переносится в конец двадцатого, начало двадцать первого столетия. Соответственно времени и повествование ведется от

имени вымышленного д-ра Нострадамовича, а конфликт строится в основном на столкновении человека с замысловатыми электронными изобретениями будущего. При чем конфликт усложняется политической мотивировкой. Сатира здесь чаще приходит на смену иронии первой части, хотя отдельные новеллы перекликаются своим тоном с новеллами первой части. "Электронная утешительница", например, читается, как остроумная современная пародия на чеховскую "Смерть чиновника".

Свои новеллы автор строит строго и экономно, соединяя в них традиции русской и американской новелл. Особенно характерным для него является отчетливо-иронический поворот событий в ходе повествования и быстрая неожиданная развязка.

Ек. Филипс

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Хроника защиты прав в СССР. 23, Сентябрь. Изд "Хроника". Нью-Йорк. 1976 (80 стр.)

Валерий Перелешин. Ариэль. 9-я книга стихов. "Посев". Франкфурт. 1976 (179 стр.)

Н. Коржавин. Времена. Стихи. Избранное. "Посев". Франкфурт. 1976

Илья Зильберберг. Необходимый разговор с Солженицыным. Англия. 1976 (188 стр.)

Записки русской Академической группы в США. Том X. Юбилейный. Нью Йорк. 1976 (314 стр.)

Зарубежная Русь. Редактор А. А. Соллогуб. Июль. 1976 (96 стр.)

Л. Чуковская. Записки об А. Ахматовой Т. 1. ИМКА-Пресс. Париж. 1976

С. Булгаков. Тихие думы. Статьи. ИМКА-Пресс. Париж. 1976.

Ф. Тютчев. Политические статьи. ИМКА-Пресс. Париж. 1976

К. Чуковский. Книга об А. Блоке. ИМКА-Пресс. Париж. 1976.

A. Rannit. Donum Estonicum, Poems in translation. The Elizabeth Press. New Rochelle. 1976

Ethnocide of Ukrainians in the USSR. Edited by O. Saciuk and B. Yasen. Smoloskyp. Baltimore. 1976

ИСПРАВЛЕНИЕ

В кн. 124 в статье А. Суконика "Урок Бахтина" на стр. 112-й пятая строка сверху должна читаться: "Не случайно Кожинов и Палиевский наряду со структурализмом бранят 'модернизм' ".

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛИ КНИГИ

РОМАНА ГУЛЯ:

«ОДВУКОНЬ»

Советская и эмигрантская литература.

Нью Йорк. 1973 (322 стр.) Цена 6 долларов

«АЗЕФ»

Исторический роман.

Издание 4-е исправленное

Нью Йорк. 1974 (319 стр.) Цена 6 долларов

«ДЗЕРЖИНСКИЙ»

(Начало террора)

Издание 2-е исправленное

Нью Йорк. 1974 (160 стр.) Цена 4 доллара

«БАКУНИН»

Историческая хроника

Изд. 3-е. Нью Йорк, 1974 (208 стр.) Цена 6 долларов

«КОНЬ РЫЖИЙ»

Автобиография, 2-е издание

Нью Йорк. 1975 (288 стр.) 11 фотографий. Цена 6 долл.

«СОЛЖЕНИЦЫН»

Статьи

Нью Йорк. 1976, (96 стр.) Цена 4 долл.

«КОТОВСКИЙ»

Анархист-Маршал

Изд. 2-е. Нью Йорк. 1976. (66 стр.) Цена 2 долл. 50 ц.

Все эти книги можно заказывать в редакции
«НОВОГО ЖУРНАЛА»
и во всех русских книжных магазинах.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ, Л. РЖЕВСКОГО

■

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

■

В 1977 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1977 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня